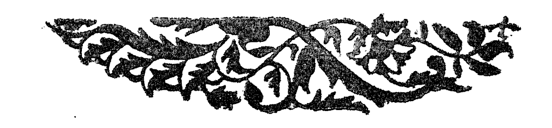

ГОСЛИТИЗДАТ



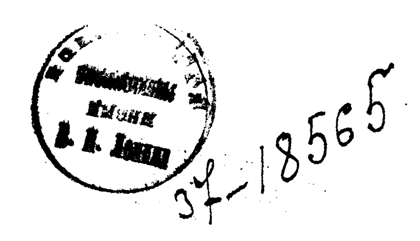
ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Перевод с грузинского
Елены Гогоберидзе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1937



ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ
(1837—1907)

В продолжение многих веков Грузия имела оживленное экономическое и культурное общение с христианским и мусульманским Востоком. Грузинская молодежь ездила учиться науке и «житейской мудрости» в сирийских монастырях, в византийских школах и академиях, у арабских медиков, математиков и астрономов. Падение багдадского халифата, особенно взятие Константинополя турками в 1453 году отрицательно повлияли на дальнейшее развитие грузинской культуры.

Страна оказалась оторванной от мировых торговых путей. Она постепенно замкнулась в узкие национальные границы. Интерес к науке и искусствам ослаб, школы закрылись, монастыри и семьи крупных феодалов стали почти единственными хранителями старых культурных традиций. Правда, Иран попрежнему продолжал оказывать влияние на грузинскую культуру. Это влияние проявилось особенно сильно в области художественной литературы и живописи, но благодаря религиозному антагонизму и бесконечным военным столкновениям экономическое и культурное общение между Ираном и Грузией не

было прочным и постоянным. Грузинские писатели из династии Багратидов и высших феодальных кругов продолжали переводить иранских классиков, в особенности Фирдоуси и Низами Гянджеви, но они старались выхолостить из «Лейлы и Меджнуна», «Юсуфа и Зулейхи», «Семи красавиц» и других произведений всю мусульманскую идеологию и суфийскую мораль.

Уже с XVI столетия Грузия стала искать путей политического и культурного сближения с Россией. Но вначале, благодаря территориальной отдаленности, эти попытки носили эпизодический характер. Только во второй половине XVIII столетия, при Ираклии II, молодые люди из высших аристократических семей стали ездить в Петербург учиться не только военному делу, но и гуманитарным наукам. Вернувшись на родину, лучшие представители этой молодежи основали первый придворный театр в Тбилиси. Переводами Расина, Фенелона, Монтескье, Вольтера, Сумарокова и других они внесли свежую струю в грузинскую художественную литературу. Но основательно реформировать ее им все-таки не удалось. Во-первых, кадры грузинской интеллигенции были слишком малочисленны и средства пропаганды слишком слабы: периодических изданий не существовало, типографская база отсутствовала, книги переписывались от руки, как и в глубокую старину. Во-вторых, европейская и русская художественная и научно-философская мысль XVIII столетия не могла быть понятной народу, застывшему в узких рамах феодального строя и не создавшему национальной буржуазии; теология и схоластическая философия продолжали неограниченно господствовать в немногочисленных монастырских школах и семинариях.

Подлинные реформаторы грузинской литературы

пришли гораздо позже. Это были люди «бури и натиска», грузинские шестидесятники, «тергдалеули» (в буквальном переводе — «выпившие Терек»), как прозвали их литературные противники из старого, консервативного поколения. Это были молодые люди, пересекшие бурные и мутные воды Терека, уже не ездившие на юг учиться в манганской академии у Михаила Пселла и Иоанна Италика или переводить Фахр-эд-Дина Гургани и Низами Гянджеви. Они направлялись на север, чтобы слушать лекции Костомарова, Пыпина, Кавелина, Стасюлевича или читать статьи Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Вождем и застрельщиком этих «тергдалеули», этих своеобразных грузинских западников (или, точнее говоря, северо-западников), обновивших и художественную литературу и социально-политическое мышление в Грузии, был Илья Чавчавадзе.

Но этот друг и ценитель русской радикальной интеллигенции, этот потрясатель основ дореформенной Грузии, так же неистово атаковавший крепостное право, этот поэт-мыслитель, посвятивший Парижской коммуне на другой же день после ее падения глубоко продуманные и прочувствованные стихи, по социальному происхождению не был разночинцем. Правда, он происходил не из особенно состоятельной княжеской фамилии, выдвинувшейся только в XVII столетии. Но в числе его однофамильцев находился такой выдающийся деятель, как дипломатический представитель Ираклия II, «полномочный министр и резидент» при петербургском дворе Гарсеван Чавчавадзе, подписавший вместе с Потемкиным в Георгиевске известный русско-грузинский трактат 1783 года. Сын Гарсевана, «грузинский Анакреон» — Александр Чавчавадзе — был крестником Екатерины II и тестем Грибоедова, поклонником Вольтера и Саади, последним крупным предста-

вителем иранской тенденции в грузинской лирике и одним из первых переводчиков русских и французских поэтов. Он дважды, в 1812 и 1832 годах, принимал участие в заговоре грузинского дворянства против русской власти, но жизнь все-таки закончил генерал-майором русской службы.

Родился Илья Чавчавадзе 27 октября 1837 года в селении Кварели в Кахетии, в провинции, известной не только своей прекрасной природой, виноградниками и гранатовыми садами, но и вековыми культурно-национальными традициями. Между прочим, там до наших дней сохранились развалины академии, основанной в Икалто в начале XII века философом и теологом Арсением Икалтоели. Отец поэта был офицером нижегородского драгунского полка, неплохо знавшим русский язык. Мать получила традиционное домашнее воспитание. Она хорошо была знакома не только с библией, но и со светской грузинской литературой. Она преподала сыну первые уроки грамоты, развила в нем художественный вкус чтением старых грузинских поэм и рассказов. Что же касается интереса к богатому грузинскому фольклору, который Илья Чавчавадзе сохранил на всю свою жизнь, то его в нем могла возбудить окружающая крестьянская среда. В маленьком автобиографическом очерке он сам рассказывает, что он целые дни проводил в играх с крестьянскими детьми. Между прочим, он бегал вместе с ними к деревенскому архидиакону, очевидно, к прототипу священника из «Рассказа нищего». Тот рассказывал детям агиографические легенды и трагические эпизоды из истории Грузии. Один такой эпизод из эпохи нашествия монголов поэт позднее использовал для своей исторической поэмы «Дмитрий-самопожертвователь».

После окончания тбилисской гимназии в 1857 го-

ду Чавчавадзе четыре года провел в Петербурге как студент юридического факультета, но университетского курса не закончил, так как оказался замешанным в студенческих волнениях 1861 года. Годы, проведенные Ильей Чавчавадзе на севере, были годами умственного созревания и нравственного оформления поэта, годами, когда, говоря его же словами из «Записок проезжего»: «в уме и в сердце... завязывается завязь жизни... та самая завязь, из которой, быть может, разовьется прекрасная, рдеющая виноградная кисть, а может быть и пустоцвет». Университетские товарищи Чавчавадзе в своих воспоминаниях рисуют его несколько замкнутым, молчаливым, насмешливым. Еще задолго до того, потеряв родителей, он был принужден ограничить до минимума свои потребности, вел спартанский образ жизни. Он увлекался национально-революционными идеями, мечтал уехать в Италию и записаться в добровольческий отряд Гарибальди. Он очень много читал, не только в области художественной литературы, но и по экономическим и политическим наукам. Его избранными авторами являлись не только Шиллер, Байрон, Вальтер Скотт, но и Белинский. Недаром впоследствии противники обвиняли Илью Чавчавадзе, что он выходит на арену вооруженным вместо щита томами произведений Белинского.

Многие из лучших лирических стихотворений Ильи Чавчавадзе и его поэма «Како-разбойник» датированы годами его пребывания на чужбине — в Петербурге и Павловске. Между прочим, его увлечению сестрой композитора Чайковского мы обязаны двумя его лирическими шедеврами. Там же, в Петербурге, он обдумал свои крупнейшие беллетристические произведения — «Рассказ нищего» и «И это человек?» («Кациа-адамиани»), которые считаются исходными вехами современной грузинской

художественной прозы. Окончательный же вариант этих рассказов был создан уже после возвращения автора в Тбилиси, в 1862—1863 годах.

«Как встречусь я с родиной, и как она встретит меня? Что нового услышит от меня моя страна, и что она скажет мне? Кто знает, быть может, родина отвернется от меня,— от того, кто был пересажен на чужую почву и созрел на ней?» Эти слова, взятые из «Записок проезжего», выражают тревогу, которую не мог не чувствовать молодой Илья Чавчавадзе, усвоивший в России непримиримый реформаторский дух, но не видящий на родине, в крепостнической Грузии, более или менее значительного социального слоя, на который он мог бы опереться в предстоящей борьбе. Поколение «тергдалеули» было вначале небольшою интеллигентской группою. Позднее к Илье Чавчавадзе примкнули Акакий Церетели, Нико Николадзе, Георгий Церетели и другие.

Буржуазия в Грузии находилась в середине XIX века в зародышевом состоянии. Крестьянство было еще мало сознательно политически. Свой протест оно выражало или в стихийных восстаниях, или же в индивидуальном возмущении, в терроре против помещиков, в уходе в лес на разбой и так далее. Такими индивидуальными протестантами являются, между прочим, и герои первых художественных произведений Ильи Чавчавадзе, его Како и Закро из «Како-разбойника», Габро из «Рассказа нищего». Дворянство в массе было еще более косно, чем в России. Благодаря его сопротивлению крестьянская реформа в Грузии запоздала на целых три года и была проведена в еще более урезанном виде: были сохранены институты так называемых «временно обязанных» крестьян и хизанства, просуществовавшие почти вплоть до Октябрьской революции. Если ко всему этому добавить самый тяжелый национальный гнет,

станет понятным, какое исключительное мужество нужно было проявить в защите своих освободительных идей Илье Чавчавадзе и его соратникам из поколения «тергдалеули».

По возвращении на родину первые свои статьи Илье Чавчавадзе пришлось напечатать в единственном тогда грузинском журнале «Цискари» («Рассвет»). Они вызвали возмущение во всем консервативно-клерикальном лагере. Чавчавадзе выступил против «китайской философии» застоя, против освященных традиций авторитетов литературы, против книжного церковного стиля, он выступил в защиту идей прогресса, за обновление литературного языка и приближение его к народной разговорной речи, за упрощение орфографии и так далее. Первые стычки между старым и новым поколением происходили как будто из-за грузинской ижицы, но за этими стычками скрывались глубокие сословные интересы. Это стало ясно, когда Илья Чавчавадзе и его соратники выступили на дворянских собраниях за более радикальное раскрепощение крестьянства, за безвозмездное наделение его землею. За это они чуть не поплатились жизнью.

Так как после первых же литературных выступлений сотрудничество Ильи Чавчавадзе в консервативном «Цискари» стало невозможным, он в 1863 году основал свой собственный орган «Сакартвелос Моамбе» («Грузинский вестник»). Этот журнал просуществовал только один год, но Илья Чавчавадзе успел в нем, кроме статей и ряда лирических стихотворений, напечатать в целом или отрывках свои рассказы «И это человек?» и «Рассказ нищего», поэмы «Призрак» и «Како-разбойник». Для характеристики направления этого журнала достаточно отметить, что там печатались переводы произведений Виктора Гюго, Прудона, Бастиа, Белинского, Добро-

любова и других. В обширной статье, предпосланной первому номеру журнала, руководитель наметил в общих чертах широкую национальную программу. Эта программа предполагала обновление старой, феодально-крепостнической Грузии, ее сближение с передовыми европейскими странами. Программа базировалась на вере в бесконечный прогресс человечества, во всемогущество разума и науки. Правда, из-за тяжелых цензурных условий все это было выражено в довольно туманных, абстрактных выражениях. Из-за тех же цензурных условий в журнале не могли быть напечатаны «Записки проезжего», где устами простого проводника-мохевца, между прочим, высказывалось требование, чтобы грузинский народ сохранил национальную самобытность, чтобы он сам управлял собою. «Записки проезжего» в печати впервые появились почти десять лет спустя, и то в урезанном виде.

«И это человек?» представляет собою злую сатиру на деградирующее, лишавшееся социальной почвы грузинское дворянство. В образах Луарсаба и Дареджан Таткаридзе Илья Чавчавадзе создал национальные типы, которые для грузинской литературы имеют такое же значение, какое для русской имеют некоторые типы Гоголя, Салтыкова-Щедрина или Гончарова. «Рассказ нищего» и «Како-разбойник» представляют собою дань романтизму со стороны писателя, остающегося реалистом по своим основным тенденциям. Оба эти произведения оказали огромное влияние на всю последующую грузинскую литературу. Типы Датико, Габро, Тамро, Како несколько раз более или менее удачно варьировались у эпигонов и учеников Ильи Чавчавадзе.

Но едва ли не самым важным из ранних произведений Ильи Чавчавадзе для ознакомления с идеологией автора является историко-философская

поэма «Призрак». Здесь автор обнаруживает основательное знание, с одной стороны, грузинских исторических хроник, с другой стороны, утопического социализма. На фоне мастерски очерченного, величественного пейзажа, образец которого он дал еще в начале «Како-разбойника», автор рисует мрачную картину морального упадка современной ему Грузии, нравственной анархии, охватившей господствующие слои общества, эгоизма, цинизма, продажности власть имущих, фаталистической покорности судьбе и безразличия со стороны угнетенного народа. Старая столица Грузии Мцхета, бывшая цитаделью национальной самостоятельности, ныне превратилась в притон духанщиков; ее величественные дворцы разрушены, священные руины служат для загона скота. Но возрождение Грузии близко, оно связано с основной проблемой «нашего победоносного века» — с проблемой обновления всего человечества, раскрепощения угнетенного большинства, наступления царства труда. «Не выдержит дряхлый мир разрушительной и обновляющей бури, не выдержит грабитель борьбы, начатой за истину и справедливость, и возрожденный мир снова расцветет на обновленных началах... И в этом обновленном человечестве грузин, оставшийся верным своей родине, снова гордо подымет голову, а народы могучего Кавказа, упирающегося в небесный свод, проникнутся одними и теми же мыслями и стремлениями».

В 1863 году Илья Чавчавадзе женился. К концу этого же года он прекратил издание своего журнала. Тяжелые материальные условия заставили его поступить на службу по судебному ведомству. Вынужденный десятилетний перерыв в творческой работе (с 1864 по 1874 год) он провел в провинции в качестве мирового посредника и мирового судьи. Это время он использовал для более близкого ознаком-

ления с условиями жизни пореформенной деревни. Из его произведений, написанных во второй половине литературной деятельности («Вдова из дома Отарова», «У виселицы» и другие), видно, насколько он обогатил свой лексикон чисто народными словами и выражениями; его крестьянские типы становятся в общем менее схематичными, они ближе к действительности, чем несколько идеализированные крестьянские персонажи из «Рассказа нищего» и «Како-разбойника».

Но, как видно из переписки Ильи Чавчавадзе с друзьями, он очень тяготился государственною службой, а на свое пребывание в провинции смотрел, почти как на ссылку. С другой стороны, его друзья старались снова вернуть его к литературной и общественной работе. «Все, что у нас было молодого, энергичного, мечтающего о новых порядках и новой жизни, признало то честное знамя будущего, которое мужественно держал в руках Илья Чавчавадзе,— говорил другой крупный грузинский шестидесятник, бывший сотрудник герценовского «Колокола» Н. Николадзе.— Моим первым шагом было собрать приверженцев тогдашнего нового поколения и убедить их подняться в Душети, чтобы взять оттуда И. Чавчавадзе, вернуть его к грузинской литературе и поставить во главе грузинских общественных дел. С этой целью в 1871—1873 годах мы, любители грузинской литературы и культуры, по крайней мере пять раз целою толпою ездили в Душети».

Но еще во время пребывания в провинции Илье Чавчавадзе пришлось дать последний крупный бой представителям старого, консервативного лагеря. В форме едких загадок-эпиграмм он выступил против таких видных главарей этого лагеря, какими были крупный грузинский поэт, военный и государственный деятель князь Григорий Орбелиани, граф Ло-

рис-Меликов — впоследствии известный министр внутренних дел Александра II и автор неосуществившегося проекта конституции, историк Платон Иселиани, сенатор князь Багратион-Мухранский — автор вышедшей на французском и русском языках брошюры «О существе национальной индивидуальности», где он доказывал, что мелкие нации должны быть поглощены крупными, что этого требуют не только законы эволюции, но и интересы прогресса. («Лишь право сильного раб свято почитает», — сказал по поводу этой брошюры И. Чавчавадзе.) Со стороны старого поколения перчатку поднял Гр. Орбелиани, который в длинном полемическом стихотворении «Ответ сыновьям» обвинял Чавчавадзе и других «тергдалеули» в отсутствии чувства благодарности к отцам — героям Карса и Дагестана, в искажении языка, в отсутствии нравственности, в ложном патриотизме и ложном либерализме, в безбожии и т. д. Этот поэтический турнир закончился новою отповедью со стороны Ильи Чавчавадзе: «Да, мы были в России, но оттуда не привезли знания искусств, столь дорогих вашему сердцу; мы не научились измерять человеческое достоинство и нравственность чинами и орденами, мы ханжество и пресмыкание не считаем высшею добродетелью; нам дороги интересы миллионных масс, а не праздного меньшинства; мы не безбожники, только наш бог есть бог равенства и братства, а не угодничества и низкопоклонства, бог трудящихся и угнетенных, а не фарисеев и двурушников; не мы, а вы убили богатый грузинский язык; из робости вы остерегаетесь употреблять его дома и в обществе, мы же сняли с него накинутый вами саван и снова вдохнули в него живую душу».

Обосновавшись в 1874 году в Тбилиси, Илья Чавчавадзе прежде всего принялся за организацию

крупного национального финансового учреждения — грузинского земельного банка, который впоследствии сыграл очень большую роль в экономической и культурной жизни страны. Достаточно указать, что из ежегодных доходов этого банка, достигавших довольно крупных сумм, субсидировались грузинские национальные школы, музеи и почти все общественно-культурные организации. В продолжение тридцати лет И. Чавчавадзе неизменно переизбирался директором земельного банка и таким образом был принужден значительную долю своей энергии посвятить деятельности, которая как будто должна была быть чужда его первоначальным наклонностям и интересам. Но как человек исключительной воли и разносторонности он во второй половине своей жизни проявил необыкновенную активность и стал работать в самых различных областях общественной жизни.

Вместе с Н. Николадзе, Г. Церетели, С. Месхи и другими Илья Чавчавадзе считается основоположником грузинской прессы. В продолжение почти четверти столетия он руководил одним из главных органов грузинской общественной мысли — сначала журналом, а потом ежедневной газетой «Ивериа»,— вокруг которого собрал наиболее талантливых публицистов, исследователей и художников слова. Он значительно упростил грузинскую орфографию и установил нормы современного литературного грузинского языка, очистив его от архаизмов, руссицизмов и иранизмов и приблизив к разговорной народной речи. В периодических изданиях он работал как публицист, литературный критик, переводчик, исследователь грузинской истории, обозреватель внешнеполитической жизни. По его инициативе были основаны или под его руководством работали наиболее значительные грузинские национально-культурные ор-

ганизации: общество распространения грамотности, драматическое общество и другие. За год до смерти он был избран от грузинского дворянства в Государственный совет, где вместе с М. М. Ковалевским составил левую группу и готовил проект закона об отмене смертной казни.

Сравнительно менее интенсивной стала с семидесятых годов деятельность Ильи Чавчавадзе в области художественного слова. Кроме рассказов «Вдова из дома Отарова» и «У виселицы», он за этот период написал несколько лирических стихотворений, великолепную сатирическую «Историю Грузии XIX века» в стихах, историческую поэму »Димитрий-самопожертвователь» и философскую поэму «Отшельник», на основе народной легенды, которая по теме несколько напоминает искушение св. Антония. В этой поэме, которая многими считается вершиной художественного творчества Ильи Чавчавадзе, хотя она страдает некоторою абстрактностью и схематизмом, поэт выступает поборником туманистической морали против аскетического эгоизма, поборником реалистического утверждения жизни против христианского спиритуализма. Отшельник, уединявшийся в одинокой пещере, высеченной на склоне Казбека, и достигший на пути умерщвления плоти такого совершенства, что на подобие средневековых аскетов имеет чудесные видения, все-таки оказывается побежденным зовом жизни, обаянием женской красоты, которая в бурную ночь в его келью проникает в образе молодой пастушки.

Многочисленные противники Ильи Чавчавадзе из более молодого поколения впоследствии нередко упрекали его в оппортунизме, неувязке между делом и словом, национальной нетерпимости, замене юношеских идеалов борца-реформатора деляческими взглядами обуржуазившегося банкира. Теперь, когда

страсти улеглись, мы, накануне столетия со дня рождения Ильи Чавчавадзе, можем беспристрастнее судить о нем. Нельзя не признать, что он до конца жизни оставался монолитной фигурой, что он проявил редкое упорство в защите своих основных социальных и национальных идей, что он никогда не изменял своему гуманистическому мировоззрению. Правда, с годами он безусловно эволюционировал вправо, постепенно двигаясь от политического радикализма и филантропически окрашенного утопического социализма к умеренному демократизму. Что же касается национализма Ильи Чавчавадзе — его нельзя оценить по достоинству, если не вспомнить, что при царском режиме революционный и демократический национализм являлся средством самозащиты маленьких угнетенных народов, что в частности Илье Чавчавадзе и его соратникам приходилось вести борьбу в неравных условиях против реакционных публицистов вроде Каткова, цинично предлагавшего грузинам перенести свои национальные знамена в цирк, против кавказских попечителей вроде Яновского, изгонявшего грузинский язык даже из программы начальных школ, против тбилисских экзархов, проклинавших с высоты амвона грузинский народ. В своей нашумевшей научно-полемической работе «Армянские ученые и вопиющие камни» Илья Чавчавадзе яростно нападал на армянских шовинистов, отрицающих будущее грузинского народа или же искажающих его историю. Но он с величайшим уважением отзывался о самом армянском народе. Он говорил о совпадении национальных интересов, о переплетении исторических судеб армян и грузин. «Мы отлично знаем, что прежнее бессилие Грузии началось с того несчастного дня, когда пала Армения — этот наш оплот, стена со стороны юга. Мы оберегали армян со стороны севера, а они нас — со стороны юга...

Хотя после падения Армении мы выдержали почти семь веков борьбы с врагами в тысячу раз сильнее нас, но всю историческую жизнь загубили на замыкание южных стен».

Во втором периоде своей деятельности Илья Чавчавадзе стал мечтать об установлении гармонии классов, о подчинении сословных интересов грузинского дворянства и крестьянства «общенациональным» интересам. В своих публицистических статьях он часто возвращался к этой идее, а художественно он ее отобразил в рассказе «Вдова из дома Отарова». Но писатель был достаточно умен и достаточно наблюдателен для того, чтобы понимать, что грузинское дворянство и грузинское крестьянство были скроены из совершенно разного материала, что они представляли два совершенно чуждых друг другу мира, что они даже одни и те же застольные песни пели разно и мосты между ними были разрушены окончательно. В одной маленькой статье, в которой он подвел итоги научным достижениям и техническому прогрессу XIX столетия, он спрашивает: «А более ли счастлив современный человек? — Не думаю. Современный человек лучше одевается, ест и пьет, но до счастья еще далеко. Сегодня между бедным и богатым, между сильным и слабым лежит более глубокая пропасть, чем существовала когда-нибудь между ними, и уничтожение этого мучительного недуга XIX столетие завещало грядущему веку... Самое славное достижение XIX столетия — это то, что оно, между прочим, дало твердое основание тому гуманистическому учению, которое человека считает человеком, на какой сословной ступени бы он ни стоял, достойным одинакового сострадания и уважения. Правда, истоки этого учения нужно искать в далеком прошлом, но только XIX столетие усилило, расширило и научно обосновало его... Уничтожение неравномерного рас-

пределения имущества и доходов, уничтожение всякого классового господства и, если возможно, и всякого классового различия — вот идеал социального строя, выдвинутый XIX столетием».

Но осуществление разумного и справедливого социального строя Илья Чавчавадзе мыслил, конечно, не как революционер-социалист, а как гуманист-реформатор. «Частная собственность, справедливо или несправедливо, еще долго будет в большом почете»,— писал он в одной из своих последних полемических статей. Он любил повторять слова Бэкона, что прогресс человечества есть не что иное, как постепенное отодвигание границ невозможного. И он верил, что благодаря пропрессу разума и техники человечество достигнет такого совершенства, когда в области социальных отношений станет легко осуществимым то, что нам сегодня кажется чистою утопиею.

Хотя в меньшей степени, чем некоторые его современники из лагеря националистов-романтиков, но и он все-таки идеализировал историческое прошлое Грузии. Между прочим, он думал, что социальные противоречия пои феодальном строе были менее обострены, чем в XIX веке. Но в противоположность грузинским монархистам и ультрапатриотам он в прошлом Грузии искал не историю царей и вельмож, а историю масс, и в одном письме к своему другу, драматургу Д. Эриставиi, он выражал свое возмущение, что старые грузинские хроники дают мало сведений о судьбах простого народа.

Он считался опасным врагом как блестящий полемист и как остроумный оратор. В пылу борьбы он не всегда бывал справедлив к своим противникам. Он любил азартные игры. Может быть, он находил в них отдых после интенсивного умственного труда. Как страстный дуэлянт он несколько раз стоял перед барьером. И в исторических деятелях и в современ-

никах он больше всего ценил непреклонность характера. Противники обвиняли его в сектантстве и в диктаторских поползновениях. Он, действительно, любил окружать себя людьми, которые беспрекословно подчинялись его воле.

Погиб Илья Чавчавадзе в 1907 году при до сих пор невыясненных обстоятельствах во время поездки из Тбилиси в свое имение Сагурамо.

Геронти Кикодзе

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



ЗАПИСКИ ПРОЕЗЖЕГО

От Владикавказа до Тифлиса



I

Ровно в шесть часов утра немытый и нечесанный русский ямщик подал почтовый возок к подъезду гостиницы, в которой я остановился прошлой ночью. Дело было во Владикавказе.

Удивительно! Как прекрасно тупое лицо этого ямщика на картинах русских художников,— этого самого ямщика с толстой шеей, ленивой, распущенной повадкой и какими-то скотскими, не человеческими движениями! Насколько хорош портрет, настолько — даже вдвойне — отвратительна действительность! Но говорят: «и дым отечества нам сладок и приятен». Насчет сладости дыма я ничего не имею вам доложить, относительно же его приятности замечу только, что дым особенно приятен тогда, когда от него из глаз льются слезы.

Снарядившись в путь, то есть кинув в возок единственный мой однокарманный кожаный хурджин [1] величиною с небольшой узелок, я возвратил-

---

[1] Хурджин — переметная сумка, обычно из ковровой ткани.

ся, чтобы попрощаться с недавним моим знакомцем, французом.

— Кто изобрел этот экипаж? — спросил меня француз, указывая пальцем на почтовый возок, на котором неуклюже дремал еще не очухавшийся от сна ямщик.

— Русские,— ответил я.

— Да, пожалуй, ни один народ не станет его у них оспаривать! Сочувствую вам, ведь ваши мозги неизбежно превратятся в болтушку, а внутренности собьются комом.

— Что поделаешь? Вся Россия так ездит. Что же может случиться со мной?

— Недалеко же она уехала! Счастливого вам пути! А я, по правде говоря, ни за что не рискнул бы проехаться в этом экипаже! Прощайте. Если случай сведет нас когда-нибудь, прошу не забывать, что мы знакомы.

С этими словами он протянул мне на прощанье руку и пожал мою так крепко, как это делают только европейцы.

Я уселся в возок.

Ямщик бросил на меня хмурый взгляд, затем подобрал вожжи, зачмокал на тощих лошадей и взмахнул кнутом. Тощие лошаденки и ухом не повели.

— Ну, чо-орт, трогай, что ли! — прикрикнул он на лошадей, снова подергал вожжами и затопал ногами.

Будьте благонадежны: лошади даже не пошевельнулись!

Мой приятель-француз надрывался от хохота, наблюдая из окна за происходящим. Чему радовался этот глупец?

— Вся Россия так ездит? Ха-ха-ха! — смеялся он.— Вот так ездит! Кому же за нею угнаться?

Хотя мне нечему было радоваться, но засмеялся и я.

Ямщик угрюмо обратил на меня свои воловьи глаза, косясь, точно сердитое животное. Затем, напружив толстую шею, он снова повернулся к лошадям и раза два стегнул их кнутом. Лошади, поняв, что исхода нет, ответили на полученные удары дружным брыканием и, сдвинувшись, в конце концов, с места, пустились тряской рысцой.

И пошло! Бестолково звякали надорванные колокольцы, возок прыгал по камням, меня кидало из стороны в сторону...

II

Так расстался я с Владикавказом и двинулся навстречу моей родине. Мост через Терек я миновал, не только не испив воды Терека, но даже не взглянув на него. Я боялся, как бы во мне не заподозрили одного из тех, кто пил воду Терека[1]. Люди, испившие воды Терека, как-то не нравятся нашим грузинам, не по вкусу им. И для сего имеются у них вполне достаточные основания: первое, они не нравятся потому, что испившие воды Терека суть и в самом деле пившие из Терека; второе... потому, потому, что они, и во-вторых, люди, испившие воды Терека; третье... потому... потому... потому, что они, и в-третьих,— испившие воды Терека. Поди и опровергни каким-нибудь доводом столь разумные доводы нашего распадающегося грузинского общества!

Ах, этот погибельный Терек! И двуличен же он, оказывается! Гляди, как притих! Стоило ему повернуться спиною к нам и лицом к России, стоило только вступить в луга и долины, как его богатырский голос тотчас же оборвался. Тут, у Владикавказа, наш неистовый Терек уже не тот, о котором сказал поэт:

[1] См. комментарий в конце книги, стр. 385.

Терек мчится, Терек ревет,
Скалы ему вторят [1].

Тут он так кроток, так тих, словно его высекли или дали ему высокий чин. Возможно, однако, что он затихает здесь потому, что вокруг него уже не толпятся свитою вторящие ему скалы, из чьих

...Скалистых сердец
Туманы темные надвинулись,
И гневно миру
Грозят потопом[2].

Мир глухой! Чего нас кружишь и кого куда забросишь! [3]

Но, так или иначе, горе тебе, мой Терек! Ты, брат мой, перенимаешь, подобно некоторым людям, нравы той страны, в которую приходишь. А как не вспомнить с сожалением твои громовые раскаты, твой мощный гул, твои смятение и тревогу, твою нескончаемую борьбу со скалами и пропастями, борьбу, как бы говорящую о том, что твоим гигантским страстям тесно на узком ложе? Много примечательного в тебе, в твоем могучем, непреклонном течении, непокорный наш Терек! Здесь же ты приглушен, словно сраженный, обессиленный лев. И жалко тебя, и грешно тебе!

Был уже полдень, когда я приехал на станцию Ларси [4]. До Ларси мне на долю не выпало особых радостей, кроме одной,— чем ближе я подъезжал к моей стране, тем больше красок, напоминающих мне родину, в окружающей меня природе, тем больше тревоги и волнения — в Тереке.

[1] Стихи Григория Орбелиани (1804—1883), знаменитого грузинского поэта-романтика.

[2] Последующие строки того же стихотворения.

[3] Из поэмы Шота Руставели «Носящий тигрову шкуру». Перевод Г. Цагарели. См. примечание в конце книги, стр. 396.

[4] Ларси (Ларс) — станция на Военно-грузинской дороге.

Я вошел в пустую станционную комнату. Захотелось чаю, и я приказал поставить самовар какому-то безногому солдату, оказавшемуся станционным сторожем. В ожидании самовара я прилег на деревянную тахту и предался раздумью.

Четыре года прожил я в России и не видел родины. Четыре года!.. Поймешь ли ты, читатель, какими четырьмя годами были эти четыре года? Во-первых, они — целая вечность для того, кто провел их вдали от своей страны. Во-вторых, эти четыре года были фундаментом жизни, первоисточником жизни, волоском, который судьба, точно мост, перекинула между светом и тьмою [1]. Но не для всякого! Только для тех, кто поехал в Россию, чтобы образовать свой ум, привести в движение мозг и сердце, дать им толчок. Это те четыре года, когда в уме и в сердце юноши завязывается завязь жизни. Это та самая завязь, из которой, быть может, разовьется прекрасная, рдеющая виноградная кисть, а может быть и пустоцвет [2]. О вы, золотые мои четыре года! Благо тому, под чьей ногою не подломился перекинутый вами мостик; благо тому, кто плодотворно использовал вас...

III

Едва я покинул Владикавказ и едва повеяло на меня дуновением моей страны, как сердце мое забилось совсем по-иному. Тряска прыгающего по камням возка отвлекала меня от самых значительных мыслей. Но теперь, когда я в станционной комнате растянулся на тахте так, как это делали мои деды и

[1] См. примечание в конце книги, стр. 395.

[2] Вместо пустоцвета у автора — «собачий виноград»; так по-грузински называется Sobanum nigrum — черный паслен.

прадеды, теперь — дай бог милости и вам! — я полностью отдался своим думам, сосредоточив наконец на них все свое внимание. Роем обступило меня все то, что я покинул на своей прекрасной, убранной, точно невеста, родине, все, что я видел, испытал, пережил и узнал. И разом, набегая одна на другую, встали перед моим сознанием противоречивые, пестрые мысли. Они так стремительно сменяли друг друга, что я не мог ни на секунду остановиться ни на одной из них; одним словом, в мозгу моем произошла полная революция: те мысли, что лежали на дне, всплыли на поверхность, а те, что были на поверхности, опустились на дно. Да не испугает тебя слово «революция», читатель! Революция — путь к успокоению. Так и все в мире: вино должно раньше перебродить, помутнеть, и, только отстоявшись, оно приобретает прозрачность.

Я пребывал в этом состоянии, когда вдруг одна мысль пронзила меня молнией от головы до пят. За первой последовала вторая, за второй — третья, пока, наконец, они не слились в единую связную цепь.

«Как встречусь я с родиной, и как она встретит меня? — подумал я. — Что нового услышит от меня моя страна, и что она скажет мне? Кто знает, быть может, родина отвернется от меня, — от того, кто был пересажен на чужую почву и созрел на ней? А может, не отвернется и примет, поскольку во мне все же осталась закваска моей страны? И как мне быть, если страна моя откроется мне, поведает о своих тревогах, горестях, радостях, надеждах или о своей безнадежности, а я, позабывший ее язык, не пойму ее речи, ее слов? Может случиться и так, что она примет меня и прижмет к груди, как родное дитя, и станет жадно меня слушать. Найду ли я тогда в себе силы сказать родное, близкое ей слово и этим словом озарить павшую духом надеждой воскресения, безутешную — утешить, плачу-

щей — утереть слезы, труженице — облегчить ее труд и соединить те искорки, что тлеют и не могут не тлеть в каждом человеке. Хватит ли у меня сил? Хватит ли сил произнести внятное ей слово?»

Я пришел к тому, что моя родина примет меня и признает, потому что я плоть от плоти ее и кровь от крови ее. Я пойму язык ее и речи, ибо сын родины своей слушает родную речь не только ушами, но и сердцем, которому внятно и молчание. Моя речь не останется непонятой, потому что матери всегда понятна речь рожденного ею. Но ведь все, что я говорю, относится к словам, а суть — в деле.

«А если страна твоя потребует от тебя дела, что сделаешь ты тогда?» — спросил я себя и примолк. Я почувствовал, что этот вопрос разорвал упомянутую выше многоцветную вязь моих дум.

— В самом деле, что же мне делать? — вслух спросил я себя.

— Пожалуйте чаю откушать, — ответил мне станционный сторож, который в эту самую минуту принес самовар и подал его на стол.

— Чаю?

— А разве вы не для того самовар заказывали? — спросил глупый сторож и вышел.

Но не прошло и нескольких минут, как дверь снова открылась, и в нее просунулась голова какого-то офицера. Выражение его лица свидетельствовало о том, что он коротко знаком с вином и водкою. На вид ему было лет тридцать. По всему было видно, что он отнюдь не проезжий.

— Разрешите представиться, — сказал он по-русски. — Честь имею, подпоручик N., стою тут же, в Ларси, командую ротой.

— Очень рад, — ответил я, встал и пожал протянутую мне руку.

— Откуда изволите ехать?

— Из Петербурга.

— Очень приятно! Единственное мое развлечение в этом гиблом, первобытном местечке — это встречи с проезжающими из просвещенной страны. Всякий одаренный разумом человек обязан перед богом и человечеством общаться с просвещенными людьми, дабы сознание его не притуплялось. Очень рад! Беседа питает ум...

Проговорив это, он снова протянул мне руку, и я еще раз пожал ее.

— Кто же вы изволите быть по роду деятельности? — спросил он меня.

— Служу в приказчиках у одного купца, армянина.

— В приказчиках...— повторил он и презрительно скривил рот.

— Так точно, сударь.

Услышав это, мой новый знакомый тотчас же принял вельможный вид, приосанился и резко изменил разговор, начатый было в почтительных тонах.

— Так откуда вы е-е-едете? — удивленно и даже насмешливо переспросил он меня.

— Из Петербурга.

— Хм! — усмехнулся офицер.— Из Петербурга. Это хорошо, удостоились лицезреть Петербург. Петербург превосходный город,— сказал он и развязно уселся на стул.— Петербург... О, Петербург большой город! Петербург огромный город! Уж никак не похож на ваш паршивый городишко! Разве ваш Тифлис — город? Плюнешь в одном конце — попадешь в другой... То ли дело Петербург!.. Вы же видели, что такое Петербург!.. Сердце России! Правда, до сей поры вся Россия думала, будто Москва — ее сердце, но я избавил Россию от этого глупого заблуждения: разрешите доложить, я — писатель. Позвольте представиться. Вы не смотрите на меня так! Это я доказал, что сердце Рос-

сии — Петербург. А вам Излеровский сад приходилось видеть?

Слушал я этого офицера и думал про себя: не спятил ли он с ума? Однако, кроме этих безумных речей, не замечалось никаких других признаков сумасшествия.

— Так видели вы Излеровский сад или не видели? — переспросил он.

— Как же вам удалось доказать, что сердце России — Петербург? — спросил я, не отвечая на последний вопрос.

— Нет, вы мне сначала скажите: вы Излеровский сад видели? У вас, у туземцев, нет привычки к ученым разговорам, поэтому вы все прыгаете с предмета на предмет. Складно, последовательно рассуждать не умеете! Происходит это, конечно, от непросвещенности... Вы, пожалуй, даже не знаете, что такое цивилизация, ассоциация, аргументация, интеллигенция, кассация и филология?.. Но ничего, это явление преходящее! Образуетесь и вы... Слава богу, чтобы просветить вас, из России шлют множество офицеров и чиновников... Нет, вы мне, однако, скажите сначала: Излеровский сад вы видели или нет? Если не видели, значит, не видели и Петербурга!

— Видел.

— Видели? Значит, вступили в ряды просвещенных людей. Очень рад, очень рад! Излеровский сад! Какой сад, а?! Вот уж поистине рай, населенный феями. Вам известно, что такое фея? Слово это ученое, можно и не знать его. Если перевести на простой язык, — в саду этом полно женщин, а глаза у них так искры и мечут. Хочешь одну, другую — протяни только руку. Все это от просвещения! А ваши женщины чуть завидят мужчину — прячутся... Нет, Петербург... Большой город, весьма просвещенный город, а Излеровский сад — венец

просвещения, такой сад, что...— Тут ученый офицер причмокнул и поцеловал кончики пальцев.— Надеюсь, самовар для вас подан?

— Надежда вас не обманула.

— Надеюсь, вы как человек, прибывший из просвещенной страны, угостите меня чаем?

— Не обману и этой надежды.

— Есть, конечно, и ром?

— Насчет этого — прошу прощения.

— Это плохо. Вы грузин или армянин?

— Грузин.

— Очень приятно, что грузин. Хотя наш Лермонтов и говорит: «бежали робкие грузины», но грузины все же лучше этих армяшек. Папиросы есть, конечно?

— Есть.

— Полагаю, угостите?

— Извольте, с превеликим удовольствием!

— В таком случае, налейте чаю, а потом поговорим по-ученому. Вам, конечно, затруднительно будет понять ученый разговор, но я буду переводить вам время от времени некоторые ученые слова на простой язык и тем облегчу вам понимание ученой речи.

Я налил чаю и поставил перед ним стакан. Отхлебнув, он задымил папироскою и начал:

— Страна ваша, говоря по-ученому, непросвещенная страна. То есть, говоря попросту, без всякого просвещения. Вы поняли?

— Превосходно понял.

— Я же сказал, что разъясню вам ученые слова. Значит, мы начнем с того, что страна ваша — непросвещенная страна, то есть без всякого просвещения. Чай, как будто, московский?

— Нет, купил в Ставрополе.

— Не важно! Значит, как я уже сказал, мы начнем с того, что страна ваша — непросвещенная

страна. Это надо понимать так, что страна ваша — темная страна. Понятно?

— Да, совершенно ясно.

— Ну, а раз мы начали с того, что в стране вашей нет просвещения, то надо раньше всего объяснить, что есть просвещение. Я объясню вам это на примере. Представьте себе темную комнату. Представили или нет?

— Представил.

— Нет, у вас, может, какое-нибудь окно незакрытым осталось, закройте-ка и его.

— Закрыл,— сказал я, подавляя смех.

— Очень хорошо! Если закрыли и это окно, опустите занавески.

— Опустил.

— Занавески опустили — в комнате стало темно. Вы уже ничего не видите. Вдруг вносят свечу — в комнате стало светло. Так и с просвещением. По совести, папиросы не скверные. Петербургские, верно?

— Нет, купил во Владикавказе.

— Не важно! Вы поняли теперь значение просвещения?

— Прекрасно понял.

— Теперь, когда я объяснил вам значение просвещения, я хотел бы узнать от вас следующее: как обстоят у вас дела с цивилизацией?

— Ничего не могу вам на этот счет доложить. Я давно не был у себя на родине.

— Это ничего, я сейчас точно определю, как обстоят с нею дела. Генералы у вас, у грузин, как будто, имеются?

— Человек двадцать, вероятно, наберется.

— Как, двадцать? О-о, это не шуточное дело,— торжественно произнес наш офицер.— Двадцать! Народу всего с горсточку, а генералов — двадцать. Да, государь мой, цивилизация у вас, оказывается, основательная. Да вы понимаете? Двадцать генера-

лов! Просто не верится. А может быть, вы причислили к генералам, говоря ученым языком, и действительных статских советников, говоря по-простецки, статских генералов, или, выражаясь еще проще, генералов без эполет, или совсем уж просто: безусых генералов не зачислили ли вы в настоящие генералы? Очевидно, так оно и есть.

— Нет, уверяю вас,— поклялся я,— я вам докладываю только о настоящих генералах.

— Двадцать настоящих генералов! Честь и слава Руси православной! Где ни ступит ногою — всюду цивилизацию утверждает. Сколько всего лет, как русские пришли сюда?

— Лет семьдесят будет.

— По два генерала на каждое семилетие? Не малое дело, не малая цивилизация! И какие генералы! Настоящие генералы! Если, с божьей помощью, цивилизация пойдет у вас такими шагами и дальше, то через семьдесят лет у вас прибавится еще двадцать генералов, значит, всего их будет сорок. Великое дело, я не подозревал этого! Да и откуда мне знать? Едва три года прошло, как я попал в эту страну... Сказать вам правду, у меня и времени не было свободного, чтобы с точки зрения науки заняться вашей страной. Я занялся тут другим делом. Нелегкое дело, громадного искусства требует. Многое исследовал, перечитал всякие истории и все свое время убил на эти ученые занятия. Но жертва моя не пропадет даром, потомки помянут мое имя!

— Что же вы такое сделали?

— Что я сделал? Шутка сказать! Вот что, сударь. В России отобрали у помещиков крепостных. Остался помещик без слуг. Попал он в наемные руки — что хотят с ним, то и делают. Пошла на весь мир разруха, стали наемные руки все из дому тянуть. Стал я вникать, как заботливый сын, более

душою, в эту скорбь отчизны моей. И сказал: надо спасти отчизну! И, слава богу, спас! Я придумал нечто такое, отчего слуге впредь уже неповадно будет воровать в доме. Некий простейший случай надоумил меня найти лекарство. Попался мне денщик — преловкий вор, ни куска сахару в сахарнице не оставлял. Судил я да рядил, как помочь делу. Придумал запирать шкатулку, да то забуду ее запереть, то ключ на столе оставлю, и, как ни уйду из дому, все денщик сахар тащит. В конце концов взял я, поймал двух мух, посадил их в сахарницу, закрыл крышку, а на ключ не запер. Вы, верно, спросите меня — для чего? Для того, что когда денщик вознамерится снова утащить сахар, то придется ему сахарницу открыть. А как только он ее откроет, — мухи сейчас же и вылетят. В свое время возвратясь домой, я заглядываю в шкатулку и, не найдя мух, устанавливаю, что кто-то поднимал крышку от шкатулки. Кто же мог ее тронуть, как не мой денщик? С тех пор, как я это придумал, денщику уже не удается красть у меня сахар. И вот, я каждое утро, напившись чаю, ловлю мух по комнате. Изловив, сажаю их в шкатулку с сахаром и весь день живу без забот: знаю, что никто не обокрадет. Что же, нравится вам мое изобретение? Дешевое и бесподобное средство против воровства! И годится оно во всех случаях, когда приходится держать что-нибудь дома в шкатулках. Я еще никому не говорил о своем изобретении, но я так полюбил вашу страну, что сообщаю о нем вам и прошу вас передать его также вашим непросвещенным помещикам. Вот только с покражей водки я пока ничего не могу поделать. Пробовал я было сажать мух и в бутылку с водкой, да тонут проклятые — губа у них не дура! Но я уж по этому случаю что-нибудь да изобрету... Нет, как вам нравится моя изобретательность? Вот еще французы — мастера до всяких хитрых штучек, да до-

рого покупать их машины! А мое изобретение гроша ломаного не стоит. Ну, что стоит поймать двух мух и посадить их в коробку? Пустяки! А представьте себе, какие последствия будут от изобретенного мною средства? Когда все узнают о моем изобретении, пожалуй, мух даже покупать придется. Так, значит, появится в мире еще один предмет купли-продажи: гуляя в один прекрасный день по родному городу, вы вдруг увидите магазин мух. Не худо ведь? Скольким голодным мухи дадут кусок хлеба! А что муха теперь? — Ничего! Какой от нее прок? — Никакого! Вот как много дают государству плоды усилий и трудов ученого и умного человека! Я не собирался ехать сюда, но меня долго просили. Я полагал: если господом дан мне какой-нибудь талант, я должен употребить его на пользу своим же соотечественникам, но ведь эти вновь завоеванные края еще больше нашего нуждаются в просвещении. Здесь нужны просвещенные люди. Погодите немного, что тут будет! О своем изобретении я вам уже рассказал, завтра кто-нибудь, подобный мне, придумает нечто новое. А то объявится еще и такой человек, что устроит в вашем городе Излеровский сад: ученый человек все может. Вот и окажется, что просвещение перекочует из Петербурга сюда. И тогда — сами увидите — в один прекрасный день будет устроено гуляние в Излеровском саду, и в саду этом смело появятся ваши женщины. Захочешь — одной скажи «шени чириме» [1], захочешь — другой, они перечить не станут. Вот тогда народ и дождется своего рая, а рай, говоря простым языком... Но как же это сказать — рай и в просторечии рай... Вы понимаете?

— Да, превосходно!

---

[1] Непереводимое ласковое обращение. Дословно: «твое горе мне».

IV

В тот же вечер я поднялся к Степанцминда[1]. Вечер был так прекрасен, что я остался там на ночь, чтобы насытить взор прекрасным зрелищем. О, Грузия!

Где лучший в мире уголок,
Где Грузия другая?[2]

Я вышел из дому и взглянул на ледник, возвышающийся прямо против Степанцминда,— его зовут Казбек-горой. Как величественна эта гора! Вот кто может сказать: небо мне — шапка, а земля — каламани[3]. Вся белая, четко вырисовывалась она на небесной лазури. Ни единое, хотя бы с кулачок величиною, облачко не закрывало ни ее высокого чела, ни льдами серебрящейся головы. Звезда, единственная и очень яркая, неподвижно сверкала над нею, словно оцепенев от изумления при виде величавых черт ледника. Мкинвари![4] Он величав, безмолвен и спокоен, но холоден и бел. Облик его приводит меня в изумление и не трогает, повергает в холод и не согревает. Одним словом, это ледник. Мкинвари во всем его величии — потрясает, но любить его нельзя. К чему же мне тогда его величие? Мирская суета, мирские бури и вихри, мирские невзгоды и радости не отразятся на его высоком челе, ни один его нерв не дрогнет из-за них. Хотя подножьем ему служит земля, а голова упирается в небо, но он, неприступный, стоит в стороне. Не

---

[1] Степанцминда — селение на Военно-грузинской дороге, переименованное в станцию Казбек по имени князя-владельца.

[2] Стихи поэта Гр. Орбелиани.

[3] Каламани — крестьянская обувь из цельной, невыделанной кожи, похожая на лапти.

[4] Мкинвари — дословно «ледник»; грузинское название горы Казбек.

люблю я ни такой высоты, ни стояния в стороне, ни такой неприступности. Да благословит бог все тот же безудержный, безумный, шальной, неистовый, непокорный, мутный Терек!

Вырываясь из самого сердца черной скалы, он мчится и ревет, исторгая рев из всего, что окружает его. Я люблю мощное рокотание Терека, его неистовую борьбу, негодующий ропот и смятение. Терек — это образ пробуждающейся человеческой жизни, это образ, волнующий и достойный признания: в его мутных водах пепел скорбей всей страны. А Мкинвари — великолепный образ вечности и самоупоенного величия; он холоден, как вечность, и безмолвен, как это самоупоение. Нет, не люблю я Мкинвари еще и потому, что он неприступно высок! А краеугольный камень мирского счастья кладется всегда снизу, у земли, от земли начинается кладка всякого здания, и нигде никто не начинал строить сверху. Вот почему мне, сыну своей страны, милее образ Терека, и я люблю его больше.

Нет, Мкинвари я не люблю: его холод обжигает, от белизны его стареешь. Да, он высок. Но на что мне его высота, если мне ее не достичь, а ей не снизойти до меня? Нет, не люблю я Мкинвари! Мкинвари напоминает мне великого Гёте, а Терек — буйного, неистового Байрона. Благо тебе, Терек! Ты прекрасен неугомонностью своей. Остановись хоть на короткое мгновение — и ты станешь зловонной трясиной, и твой угрожающий гул обратится в лягушиное кваканье. Движение и только движение, мой Терек, дарует миру жизнь и силу!..

Л

Стемнело. Я был так погружен в созерцание Мкинвари и Терека, так увлечен своими размышлениями, что и не заметил, как ускользнуло время,

как солнце простилось с миром и, отдав ему свое тепло, зашло за горы. Спустилась ночь, не видно ни зги, умолк шум мирской, мир стал безмолвен.

Спустилась ночь, и я не знаю, что было бы со мною, если бы не надежда, что снова придет рассвет. Разве иначе стоило бы жить? Люблю, природа, твой распорядок, благодаря которому исход каждой ночи — рассвет.

Настала ночь, но я все еще под открытым небом и упорно, настороженно прислушиваюсь к рокоту безудержного течения Терека. Все смолкло; ты один не умолкаешь. Терек! Поверьте, мне внятна неумолчная жалоба Терека среди этого безмолвного мира. Бывают в жизни мгновения одиночества, когда все в тебе становится как бы внятным природе, а природа как бы полностью раскрывает себя перед тобою. Поэтому ты и можешь сказать, что даже в одиночестве никогда не остаешься один — ты, двуногая тварь, именуемая человеком. И в эту ночь я чувствовал, что между моими мыслями и жалобой Терека существовала какая-то тайная связь, некое гармоническое единство. Бьется мое сердце, и дрожит рука. Отчего? Подождем, пусть время ответит на этот вопрос...

Настала ночь. Замер шорох человеческих шагов, замер могучий людской гомон, не слышно ропота усталых забот и стремлений. Уснуло страдание мира, и нет ни единой человеческой души вокруг! О, как пуст без человека этот до краев полный мир! Нет, возьмите эту темную, спокойную ночь с ее снами и видениями и дайте мне ясный и непокойный день с его страданием, томлением, борьбой, суетой и тревогой! О, темная ночь, я ненавижу тебя! Если бы тебя не существовало в мире, думается мне, в мире не было бы доброй половины человеческих бед... Это твои явления изначала потрясли ужасом человеческое сознание и сделали его боязливым. Испу-

ганное, оно не может с тех пор найти своего пути,— и вот борется человек, но и доныне нет даже одного на тысячу, чье бы испуганное сознание победило трепет ужаса, — вот в чем причина бедствий человечества! О, темная ночь, я ненавижу тебя! Кто скажет, сколько злобных врагов человека таятся сейчас под твоим покровом? Кто знает, сколько кузнецов — палачей человечества — за пологом, которым ты только что заслонила мой взгляд, куют цепи, сковывающие человеческую судьбу? Ты, ночь, их пособница в этом ремесле, имя которому обман! — Благодаря твоим чарам испуганное человеческое сознание не видит его и принимает несчастье за счастье. Ты час шабаша ведьм, возглашающих здравицу тьме! Отступись от меня, порочная! о, явись мне, светлый день!

VI

На станции я узнал, что почта в горах очень ненадежна, так как на остановках часто недостает лошадей. Мне посоветовали нанять верховую лошадь до Пассанаури [1] и тем же способом, меняя лошадей, передвигаться дальше. Совет этот показался мне разумным. Я уснул с мыслью, что завтра найму верхового коня и так перевалю через горы.

Рассвело. Как ты хороша, утренняя заря! Как прекрасен мир, умытый утренней росою! Мне думалось, что в такое утро должна утихнуть вся земная скорбь, но Терек все же ревет и бьется. Видно, земная скорбь не утихает никогда...

Рассвело, и мир зазвучал человеческими голосами. День снова отдался своим неутомимым заботам.

---

[1] Пассанаури (Пассанаур) — селение и станция на Военно-грузинской дороге у слияния Белой и Черной Арагвы.

Как хорош человек в час своего пробуждения! Но еще лучше тот, кто не спит, тот, кто и во сне скорбит сердцем о мирской недоле. Моя прекрасная страна, есть ли такие люди у тебя? Я буду их искать и, если найду, преклонюсь перед ними.

Я вышел из станционного дома, и мне повстречался какой-то мохевец[1]. Я нанял у него лошадь и уговорился, что он сам верхом проводит меня. Я не только потом не пожалел, но был чрезвычайно доволен тем, что дела мои устроились таким образом. Мой мохевец оказался весьма примечательным человеком. Он был уже не молод, с проседью. Впоследствии выяснилось, что мохевец превосходно разбирается в делах той маленькой страны, которую судьба очертила вокруг него и сделала ареной событий его незатейливой жизни.

Мы сели на лошадей и покинули селение Степанцминда. В последний раз взглянул я на Мкинвари. Он как-то высокомерно хмурился со своей высоты. И это зрелище омрачило мне ясное в то утро сознание. Сердце вновь стало колотиться, руки задрожали. Я отвел полный ненависти взгляд от великолепия Мкинвари и еще почтительнее простился с неистово бьющимся у его подножья Тереком.

Стоило посмотреть на моего мохевца. Крупный, рослый, он ехал на крохотной горной лошадке, почти всю дорогу смешно трусившей волчьей рысцой. Мой горец так удобно расположился в широком седле, надвинув на глаза косматую шапку, так молчаливо, беспечно и безмятежно колыхался рослым телом в такт рысце своего коня, так блаженно, с таким спокойствием дымил своей трубкой, что думалось: вряд ли найдется еще где-нибудь на свете

[1] Мохевец (мохевцы) — от «хеви» — ущелье; грузинское горское племя, живущее в верховьях Терека и прилегающих ущельях.

человек в таком светло-беззаботном расположении духа.

— Как звать тебя, брат? — спросил я.

— Лелт Гуния зовут, — ответил он.

— Ты откуда?

— Откуда? Из Гайботни. Тут же в горах, на обрыве, что над самым Тереком.

— Грузин или осетин?

— Зачем осетин? Грузин я, мохевец!

— Хорошие здесь у вас места...

— Недурные, подстать нашей недоле.

— Такая вода, такой воздух — настоящее счастье.

— Хм, — мохевец усмехнулся.

— Чему смеешься?

— Смешному смеюсь. Пустой желудок этим не насытишь!

— Здесь, верно, бывают хорошие урожаи?

— Отчего им не бывать? Земля не гонджаи[1], мало ее, двух дгиури[2] на человека не придется. Тесно живем.

— Вам много поможет эта большая дорога.

— Какая польза от дороги? Она для тех хороша, у кого есть, что продать, есть добытое, заработанное.

— А вы на заработки не ходите?

— Отчего не ходить? Ходим!

— Раз ходите, значит, и деньги зарабатываете.

— Зарабатываем. Но не держатся они в кармане; мохевец, горец — добыча торгаша-армянина: дома не ест, не пьет, все заработанное оставляет в духане.

---

[1] Гонджаи — плохая, худая (по-мохевски).

[2] Дгиури — старинная мера земли; единицей измерения служил участок, обрабатываемый одним плугом за один день; дгиури равно приблизительно одной трети десятины.

— Выходит, что в долине лучше? Там люди сытнее живут.

— Кто знает? И там свое горе, свои беды! Места гиблые, сырые. Люди там: ни краски, ни здоровья. Здесь — здоровые. Создавший небо поделил: там сытость, тут здоровье.

— Какой же край лучше, здоровый или сытый?

— Оба вместе. Один без другого — мир гонджаи.

— А если бы выбирать пришлось?

— Из двух? На выбор? По мне крутые скалы лучше, здоровее. Сын Адама и травой продержится, сыт будет. А что поделаешь с хворью?

Как раз в эту минуту у моего горца неожиданно лопнуло веревочное стремя, он не удержался и съехал набок. Затем поправился в седле, соскочил с лошади и стал налаживать стремя.

— Беда — оседланный конь, — воскликнул мохевец, улыбаясь. — Благословен конь, как он есть: перекинул ногу и сидишь.

Я не стал ждать мохевца и поехал вперед.

III

— Скажи мне, бога ради, — обратился я к догнавшему меня мохевцу, — что это за монастырь стоит против Степанцминда?

— На том берегу Терека?

— Да.

— Да пребудет милость ее над твоими живыми, да дарует она прощение мертвым, — это церковь святой троицы, в ней в старину убежище было, укрывали сокровища и совет народный...

— Какое убежище? Какой совет?

— Грузинские цари укрывали в ней в лихие вре-

мена сокровища, много раз переносили из Мцхета казну, чтобы сокрыть ее [1].

— А что же такое совет?

— Совет? Келья здесь есть, где судьи суд творили. Все тяжкие дела, что случались в Хеви, там решались.

— Ты можешь мне сказать, как происходил этот совет, какими он делами занимался?

— Отчего не могу? Объясню, что знаю. Случалось, подымутся в народе большие споры, заварятся большие дела, время больших выборов придет; созывали тогда здесь народный сход, выбирали судьями мудрых старцев, известных своим умом, и сажали их в церковь судить. И то, что те судьи решат и скажут именем святой троицы и по испрошенной у господа благодати,— этого никто не мог переступить или нарушить.

— Тебе случалось бывать на таком совете?

— Да разве я застал? Это про старину так говорится.

— Почему же теперь всего этого нет?

— Теперь?

Задумался мой мохевец и ничего не ответил. Спустя короткое время он сам обратился ко мне с вопросом:

— Ты из каких краев?

— Грузин, разве не видно?

— Как увидишь? Платье не грузинское: оделся, как русский.

— Разве грузина можно распознать только по платью?

— На то и одежда, чтобы на-глаз распознать.

— А язык, разговор?

---

[1] Речь идет о древней грузинской церкви Цминда-Самеба (св. троицы), расположенной на вершине горы Квенет-Мта, неподалеку от Казбека. Город Мцхета у слияния Куры с Арагвой до VI века был столицей Грузии,

— По-грузински многие говорят: и армянин, и осетин, и татарин, всякие народы.

— Мало ли кто носит грузинское платье?

— Грузинское платье на грузине особый вид имеет. А грузин в русской одежде — чужой.

— Что одежда? В грузине сердце должно быть грузинское!

— Правильно говоришь. Да кто увидит сердце? Сердце — внутри, незримо, одежда — снаружи, зрима.

— Хотя я и по-русски одет, а сердцем я грузин, поверь мне.

— Возможно.

Не знаю, поверил ли мне мой мохевец, или не поверил. Как бы там ни было, после этого между нами завязалась следующая беседа:

— Ты не ответил мне на то, что я раньше спросил, — снова начал я. — Я спросил тебя, почему теперь не собираются люди на совет в церкви св. троицы?

— Теперь? Где народный дух, его единство? Мы под русскими! Ныне все к худу, все упразднили. Внизу, у троицы, есть деревня Гергети. Тамошние люди поклялись царям стеречь церковь. За то цари даровали всей деревне свободу, грамоту пожаловали детям их и внукам. И поныне каждую ночь из Гергети по-трое ходят сторожить. Стерегут гергетцы по своей клятве церковь. А свободу русские отменили, не вняли русские грамоте царей. Гергетцы сейчас, как и все, повинности несут. Не стало старых прав, перевелись и советы у троицы, что судили по благодати господней.

— Значит, прежний порядок и время были лучше?

— Разве не так?

— Чем же они были лучше?

— В старину, худо ли, хорошо ли, мы сами себе принадлежали, на себя опирались, — вот чем было

лучше! В старину был народ, как народ, сердце, как сердце, мужчина, как мужчина, женщина, как женщина. В старину? Друг другу опорою, друг другу помощью были! В старину? Оберегали сирот и вдов, в доме чорту, за домом вражьей силе противостояли, не брали себе того, что дано в удел служителям господа и владетеля, прикрывали друг друга от дерзкого врага, жалели упавших, утешали плачущих, страдали о человеке и были едины. Теперь распалось единство народное, завелись блуд, зависть, одолела корысть, не стало единодушия, чаще вражда и раздоры. Кто нынче позаботится о сиротах и вдовах, кто возвратит радость плачущему, кто поднимет упавшего? Люди нынче перестали быть людьми, а те, что есть,— себялюбивые и завистливые, только о себе и заботятся. Ослабел народ, сломался, упал, стал боязливым! Поругано имя грузина, грузинские обычаи и порядки! В старину все по-нашему было. Испоганился, оскудел мир. Чего стоит теперь наша жизнь? За пищу и питье — плати, за лес — плати, за дорогу — плати, за молитву и благословение — плати, за суд и расправу — плати! Что же остается злосчастному мохевцу?

— Зато ведь настали спокойные времена.

— На что сдался нам пустой покой на пустой желудок? Что такое покой? Кинжал без употребления ржавеет, в стоячей воде заводятся лягушки, черви и гады. А в беспокойном, текучем Тереке водятся калмахи [1]. На что покой человеку, пока он жив? И вражды ли надо бояться, пока народ жив? Пустого покоя хватит и в могиле!

— Да ведь враг теснил вас, грабил, разорял ваши семьи?

— А теперь нас еще злее грабит заимодавец-армянин, и дома наши разоряет не меньше! Бывало, в

[1] Калмахи — форель.

старину натешишься с врагом щитом и шашкой, отобьешься от него. А что поделаешь с торговцем-армянином? От него не отобьешься, не станешь с ним биться. Раньше, схватившись с врагом, равный против равного, добудешь себе, бывало, славное имя, а от армянина — какая слава для важи[1]? В старину — ты прав — был враг, но бывала и большая награда для верных воинов: жаловали землю, даровали свободу. Вон, над Тереком виднеется нерукотворная крепость. Твердыня Арши зовут ее...

— То есть как, нерукотворная?

— По божьей воле неприступна, нерушима.

— Что же ты хотел о ней рассказать?

— Напало на нее как-то в старые времена кахетинское воинство. Стали биться и завладели крепостью. Хеви пришло в смятение — решили просить помощи у владетеля. Он не мог дать помощи. Не видя спасения, народ опечалился. Кахетинцы перебили много хевских юношей, ворвались в крепость, повергли знамена. Жил, говорят, в ту пору некий мудрый старик-мохевец. И была у него дочь — девушка красоты невиданной. Надумал этот мохевец споить кахетинское войско. Привез вина и послал его в крепость. Дочери же своей, невиданной солнцем красе, наказал быть вместо виночерпия. Жаждали вина кахетинцы, загляделись на прекрасную девушку, дались в обман и упились вином. Девушка отворила крепостные ворота и дала знать мохевцам о том, как впало в обман кахетинское войско. Собрались мохевцы, незаметно пробрались в крепость, кликнули боевой клич и перебили упившихся кахетинцев. Так мохевцы воротили себе крепость. Дали знать обо всем эристави Арагвы[2]. Он, по милости

[1] Важа — мужчина, муж.

[2] Эристави (дословно — «глава народа») — феодальный властитель. Резиденциями Арагвских эриставов были города Душет и Ананур на Военно-грузинской дороге.

своей, отдал ту крепость отцу девушки в награду и грамоту дал.

— И, это геройство, доблесть?

— Не так разве? Это — умное геройство: где сила не берет, берет хитрость!

— К чему ты рассказал эту историю об избиении кахетинцев?

— Теперь все мы, грузины, братья. Про кахетинцев я рассказал не по злобе. Я хотел объяснить тебе, что в старину служили люди, жертвуя головой, зато и одаривали их, и награждали много. Мы славным именем, храбростью добывали себе пропитание, человек не пропадал задарма. Теперь же из-за обманов, вражды, раздоров, клятвопреступлений и предательств мы едва перебиваемся.

VIII

Я не стану входить в обсуждение того, прав или не прав мой мохевец. Мое ли это дело? Я ведь, как путник, мимоходом вспоминаю то, что услыхал от него.

Задачей моей было сохранить оттенки его мыслей и тон его речей. Если это удалось, — задача моя выполнена.

Многое еще рассказал мне мой мохевец, но не все его рассказы стоит печатать, во избежание всякого рода случайностей... Скажу только, что своими словами он приоткрыл мне рану своего сердца.

Я угадал, мой мохевец, каким жалом ты ужален! «Мы принадлежали самим себе», — сказал ты. Я услышал, но едва донеслось это до меня, как какая-то внезапная боль пробежала от мозга до сердца; там, в сердце, вырыла себе могилу и схоронилась. Доколе же суждено этой боли оставаться в моем сердце, доколе? Ах, доколе, доколе? Любимый мой край, земля моя, дай мне ответ!

1861 г.

РАССКАЗ НИЩЕГО



Что делать хорошему игроку в нарды,
Если во-время шаши не выпадет?[1]

I

Я что называется, страстный любитель охоты. Люблю, усевшись под деревом в глухом, дремучем лесу, с замиранием сердца поджидать выслеженного зверя. Есть нечто бесконечно приятное в этом увлекательном занятии. Если угодно, могу согласиться и с тем, что охота — занятие греховное: всякая тварь есть создание божье, у всех тварей равные права на жизнь в этой необъятной вселенной. Но что поделаешь? Недаром священное писание учит нас, что первой кровью, пролитой на безгрешной земле, была человеческая кровь и что она была пролита человеком. Люди кровожадны, а я ведь человек.

Не раз приходилось мне видеть затравленного гончими оленя. Смотрел я на него, и всякий раз его вольная красота покоряла мое сознание. Закинув

[1] Нарды — восточная игра. Игроки кидают кости и согласно выпавшему числу очков передвигают шашки на особой доске. Шаши — шесть, наиболее выигрышное число очков.

ветвистые рога, стремительно несется он, красивый, гордый, а за ним заливается лаем преследующая его собака. Спасается бедняга от собаки и натыкается на человека, в таких случаях еще более безжалостного и коварного, чем собака. Насторожившийся охотник издали слышит бег оленя; слышит — и от крайнего нетерпения растет и ширится его кровожадное сердце. Но вот олень уже на расстоянии ружейного выстрела, сквозь кустарник и листву деревьев уже виднеется его печальная, обеспокоенная морда. Собака настигает его. Олень, выкинув вперед ногу, стрелою перелетает через кусты. И думается ему: вот промчится он мимо и обретет в любимом лесу свою полную опасностей свободу. Но нет,— я свищу. Взгляните, как тревожно он замер, каким непередаваемо красивым движением закинул голову, сколько ужаса и безнадежности в растерянно-блуждающем взгляде его печальных глаз, в том, как насторожены его уши, в том, как он жадно втягивает расширенными ноздрями воздух, стараясь учуять запах противника. Он так красив, так изящен, и наряду с изяществом в нем столько обаятельной гордости, что кажется, он собрал все дары, какими его наградила природа, чтобы своей прелестью и красотою смягчить невидимого врага. Однако, человек не так мягкосердечен, чтобы поддаться на это. Втянув воздух и почуяв человеческий дух, олень решает бежать, но вот прянул выстрел, и за мгновенье до того полный жизни, свободный олень падает на луг, тот самый луг, на лоне которого он впервые открыл глаза, чтобы приветствовать мир, и в последний раз смежил их, чтобы проститься с ним навеки. Луг был его колыбелью, и он же, в конце концов, стал его могилой.

Надо видеть, как кротко, как безропотно умирает этот гордый вольный зверь, но в полных слез глазах его я всегда читал: «Ты — мой убийца! Мир

велик и обширен. Что́ тебе тот клочок земли, который нужен был мне, невинному и кроткому, в этом необъятном мире?»

Пока земля впитывает в себя пролитую кровь, у меня щемит сердце от этой мысли, но вот кровь уже впиталась, и я вспоминаю о том, что и сами мы, владыки жизни, венцы творенья, сами мы не хотим уступить друг другу такого же клочка земли. Стоит мне только подумать о том, что каждая пядь земли, которую попирает человеческая нога, впитала в себя пригоршни человеческой же крови,— сердце мое успокаивается, и я говорю, чувствуя себя оправданным:

— И то благо, бессловесная моя тварь, что ты погибаешь там же, где родилась! Мы, люди, часто лишены и этого утешения.

II

Верстах в пятнадцати от нашей деревни, пониже ее, расположены были прекрасные места для охоты. Да и не только там. Повсюду в нашей благословенной стране, над которою, как говорят крестьяне, бог Иисус Христос вытряхнул щедрую свою ризу,— повсюду есть хорошие места. Какой только зверь ни водится здесь: и стройный олень, и дикий степенный кабан, и сметливый медведь! А птиц и не перечесть! Но я особенно любил места, о которых только что упомянул — пониже нашей деревни. Я хорошо знал эти места, исходил их вдоль и поперек. Я высмотрел и выследил, где водится дичь. Бывало, я уходил туда на два или на три дня; как стемнеет, возвращался в маленькую деревушку, где жил мой кум, почтенный крестьянин. Тут проводил я ночь, а наутро, когда чуть сизо-голубым становилось рассветное небо, спускался в долину охотиться,

Два месяца не бывал я в тех местах, и мне захотелось навестить их. Однажды, в прекрасное летнее утро, я взял двустволку, кликнул собаку и тронулся в путь.

У околицы той деревни, в которой жил мой кум, там, где у самого края проезжей дороги начинаются изгороди, стоял, нависая над входом, старый, пристроенный к хлеву саманник[1]. Вокруг саманника не видать было никаких следов человеческого жилья. Он принадлежал какой-то семье, не то вымершей до единого человека, не то выселившейся из тех мест. Саманник был покинут на произвол судьбы и забыт так же, как забыт был его хозяин. Стоял он у самой дороги, и поэтому мне часто приходилось проходить мимо него. Но когда бы я ни проходил,— вверх ли, вниз ли,— мне ни разу не повстречалось там ни души. Попадалась разве только исхудалая крестьянская лошадь с облезлой спиной. Обычно она пощипывала полувыжженную траву возле самого саманника, потому что у нее не было сил уйти куда-нибудь подальше. Однако, на этот раз, проходя мимо, я с изумлением увидел какого-то человека. Он лежал у входа в хлев. Мало того, спускаясь утром вниз, я снова кинул взгляд на саманник: человек лежал на том же месте. Вечером, в час, когда сумрак еще не победил дня, возвращаясь домой, я вновь увидел незнакомца. Он лежал все в том же положении. Я удивился тем более, что кроме него там не было видно ни души. Решил обязательно сегодня же ночью расспросить кума, кто этот пришелец и откуда. Кум на мои вопросы ответил:

— Как вам сказать, шени чириме? Кто он и откуда — никто здесь не знает. Нищий какой-то, без-

---

[1] С а м а н н и к — плетеный сарай, хранилище самана, мякины.

домный и безродный. Забрел и приютился здесь, вот уже второй месяц пошел. Хворый он.

— И он совсем, совсем одинок?

— Не знаю, шени чириме. При нем тут нет никого близкого.

— Кто же его кормит?

— Мир. Много народу проходит по этой дороге. Кто сверху, кто снизу: всегда найдется среди прохожих добрый человек, подсунет ему ломоть-другой хлеба. Большего он и не спрашивает, одним хлебом обходится.

— Он, видно, не здешний?

— Что вы! Конечно, не здешний. Был бы здешний,— нашлось бы кому ходить за ним!

— Тебе приходилось говорить с этим человеком?

— Как же, приходилось!

— И он ничего не рассказал про себя?

— Нет. А как складно говорит, бедняга!

— Может быть, ты его просто ни о чем не спрашивал?

— Как не спрашивать — спрашивал! А он мне вот что однажды сказал: «На что тебе знать, кто я и откуда? Покинутый человек, позабытый. Взгляни на меня, брат: что видишь, то и есть». Больше он о себе ничего не сказал, и я с тех пор не спрашивал. Думается мне, он скрывается.

Меня все это поразило. Человек я по природе любознательный, и вам нетрудно себе представить, как взволновали меня не очень вразумительные речи моего кума, возбудив желание узнать, что это за человек и какова его судьба. «Зачем понадобилось ему скрываться?» — думал я. Я решил во что бы то ни стало выпытать у самого нищего, кто он и откуда.

Однажды после охоты я возвращался к куму с пустыми руками, утомленный бесплодным шатанием. Солнце стояло еще высоко, был час, когда гонят

с тока волов. Я увидел этого злополучного человека, он попрежнему лежал все на том же месте. Меня снова разобрало любопытство, и я решил: как бы там ни было — подойду, авось удастся заставить его рассказать что-нибудь о себе. Кстати, я немного устал, и до кумова дома оставалось еще порядочно. А не выйдет разговор,— так хоть усталые ноги отойдут. Я подошел, сказал:

— Здравствуйте!

— Да продлит господь твои дни! — ответил он слабым, надтреснутым голосом и, видимо, приняв меня за князя, приподнялся, чтобы выразить свое почтение.

Это усилие далось ему, очевидно, нелегко. Казалось, ему стало больно, так страдальчески сжались его брови, такая гримаса исказила его лицо. Он был до крайности истощен болезнями. Желтое лицо его с темными, как тклапи [1], пятнами отекло, как это бывает у больных водянкою. Волосы на голове и седая борода сбились комьями от грязи, как будто их никогда в жизни не касались ни вода, ни гребень. Он кутался в лохмотья солдатской шинели; несчастный лежал на дырявой лезгинской бурке. Возле него стоял кувшин с отбитым носиком, рядом валялись торба из грубой русской рогожи и довольно длинный посох — верный и надежный спутник всякого нищего.

Видимо, жестокая жизнь беспощадно трепала его, но было в нем нечто, указывавшее на то, что житейские ураганы еще не сломили мощи его духа. Умные, утомленные глаза смотрели на мир печально и сурово, однако, во взгляде нищего чувствовалась сила и стойкость. По глазам его можно было угадать, что их обладатель прошел через огненные испы-

---

[1] Тклапи — высушенный тонкими пластами кизиловый или сливовый сок, темно-коричневого цвета.

тания, что не раз его настигала непогода, но ни огню, ни непогоде не удалось убить в нем всего, что они могли убить. Он представлял собою зрелище отвратительное и — я добавил бы — жалкое, но не смею: этому противоречило гордое выражение его глаз. Его огромные, страшно распухшие ноги торчали из-под шинели, из открытых ран струился гной. При виде всего этого я отвернулся, так мне стало противно.

— Что, противен я тебе, добрый человек? — печально и глухо спросил меня нищий, но в его голосе мне почудилось осуждение. Я взглянул снова: по его лицу скользнула не то горестная, не то ненавидящая, укоризненная улыбка. Мне стало стыдно, я опустил голову, не выдержав сурового выражения его глаз. Я чувствовал, что лицо мое пылает от стыда за то малодушие, с каким я принял смелый, открытый вопрос этого человека. Я не ответил ни слова, да и что мог я сказать?

— Да, ты прав, — продолжал бедняга таким тоном, точно ему стало меня жалко и он хотел меня же успокоить. — Ты прав. Заживо точат меня черви. Я и сам себе противен. Что уж о тебе говорить!..

Мое малодушное сердце все еще не могло успокоиться, хотя, казалось, он сам готов оправдать мою неловкость. Но какое же это было оправдание? Сердце мое смутилось еще пуще, в эту минуту я поистине ненавидел себя. Да что тут объяснять! Передо мною лежал человек, — полуживой, покинутый всем миром, лишенный надежды и утешения. Ему так нужны были сердечная забота и ласковое слово, а я, точно зверь, с презрением отвернулся от него. Тут не могло быть оправдания! Мне следовало встать и, попросив прощения, искупить свое скотское поведение. Вот единственное, что могло бы оправдать меня, но у меня не хватило душевных сил совершить этот честный поступок. Слаб человек, ах, как слаб!

— Вот уже четыре месяца, как я в таком состоянии,— начал он снова.— Одолела меня болезнь, вот до чего довела! Так, без крова, без близких, пропадаю я под этой провалившейся крышей. Во всем мире нет никого, ни единой души, кто бы оплакал меня. Смерть позабыла обо мне, как позабыли и люди. Жду, а она не идет. Видно, такая же добрая, как и они: прячется, когда ты в нужде!.. Так пусть не идет... Господь сохранил мне еще довольно сил, и я снесу судьбу мою до конца, до могильной двери... Все это так, но... куда меня занесло, где я умираю...

Мир глухой! Чего нас кружишь и кого куда забросишь!
Как и я, рыдает каждый, кто доверился тебе.
Ямою подстерегая, смертного нежданно скосишь,
Но господь не забывает в жертву отданных судьбе[1].

Правильно сказано, шени чириме! Мир отверг меня и лишил меня крова, но широк покров господень!

Говоря это, нищий поднял глаза к небу.

А я,— легко представить себе, до чего я был поражен этими словами Руставели в устах едва прикрытого лохмотьями нищего. Слава гению человека, чьи слова даруют утешение вплоть до гробовой доски даже таким потерявшим последнюю надежду! Мир великому духу твоему, бессмертный Руставели!

«Что же это? — сказал я про себя.— Этот человек был, видимо, совсем не тем, чем он представляется сейчас?»

Любопытство мое перешло все пределы, да и сам нищий не обрывал беседы со мною, и я стал уже надеяться, что узнаю что-либо о нем. Я хотел задать ему вопрос, но удержался. Вихрь воспоминаний, видимо, поднял в нем былую скорбь. Я предпочел обождать, дать развеяться этим скорбным тучам и лишь потом спросить его: кто он, откуда?

---

[1] Из поэмы Шота Руставели «Носящий тигрову шкуру» (перевод Г. Цагарели).

Немного спустя нищий снова обернулся ко мне и долго пристально глядел на меня своими черными глазами. Мне показалось, что выражение лица его изменилось. Теперь бы и вступить с ним в беседу, но я придумывал, придумывал, с чего бы начать,— и ничего не мог придумать. Так всегда бывает, будь оно неладно! Теряешь и силу и находчивость именно тогда, когда они более всего необходимы! Наконец я решился: начну! Что будет, то и будет,— пускай даже выйдет какая-нибудь неловкость!

— Ты, братец,— участливо сказал я,— верно, не здешний. Иначе не остался бы ты здесь совсем один, без близких.

— Верно изволили заметить,— ответил он.— Я не здешний, родина моя далеко отсюда, но и на родине мне тоже пришлось бы умирать бесприютным, потому что и там, как и здесь, у меня никого не осталось.

— Давно ты в этих краях?

— Довольно давно, батоно[1]. Нынешней осенью, если доведется дожить, исполнится пять лет. Да, уже пять лет прошло с того дня, как меня заставили навсегда распроститься с родной землей. Если бы я и простил,— бог все же спросит с того, кто оказал мне эту услугу.

— Как это навсегда распроститься? Разве тебя изгнали?

— Ответить на это — все равно, что рассказать всю свою жизнь.

— И расскажи. Что же в этом дурного?

— Нет, я не говорю, что дурно, но все же мне не хотелось бы никому рассказывать о своей жизни,— ответил он таким тоном, что у меня появилась твердая надежда добиться от него подробностей, хотя бы ценою некоторых усилий.

---

[1] Батони — господин, сударь. Батоно — звательный падеж.

— Почему не хотелось бы? Боишься чего-нибудь?

— Чего мне бояться? — усмехнулся нищий.

— За чем же дело стало? Расскажи, ради бога! — взмолился я, еще не веря в удачу.— В первый же раз, когда я тебя увидел, я почувствовал к тебе расположение, хотя...

— Хотя что?

— Ничего... Я хотел сказать, хотя мне показалось, что ты человек, обойденный судьбою,— закончил я иначе, чем думал.— Расскажи же, кто ты, не отказывай мне, исполни мое сердечное желание!

— Кто я? — сказал он и запнулся, как будто ему все же не хотелось говорить...

III

— Правду сказать,— начал снова нищий,— я бы ни за что не открылся тебе, если б не чувствовал, что близок мой конец. Дни мои сочтены, я знаю. Хоть и трудно мне говорить, но что поделаешь? В сердце вновь ожили минувшие дела,— стоит ли их теперь скрывать? Да и, кроме того, мне уже нечего бояться, даже если бы ты и выдал меня. В ту пору, когда я решил скрываться, жизнь и для меня еще не была лишена сладости. Во мне жила надежда — так или иначе, трудом или пбтом добыть себе кусок хлеба и кое-как скоротать посланные мне судьбою дни. Но теперь, когда жизнь стала горькой, как желчь, когда с течением времени я утратил даже эту последнюю сиротливую, как и сам я, надежду, мне уже не о чем беспокоиться! Я расскажу тебе обо всем, что было со мной, и пусть рассказ мой зачтется богом, как исповедь. Если в чем я грешен и не успел покаяться,— да простит он меня! Был я когда-то разбойником... За мою голову обещали георгиевский крест, но, как видишь, продажная пуля до сих пор не настигла меня. Правда, был я в свое время лов-

ким, стройным молодцом, сил хватало на все, но господу ведомо, какой же я разбойник? Разбойнику нужно такое сердце, что зарежет ребенка у матери на коленях, а рука и не дрогнет. Я не такой: еще в детстве раскрылось мое сердце, еще в юности меня озарил свет, какого не знали другие; по-иному, чем у других, согрелось мое сердце, но судьба предала меня... Не пощадили и люди... И вот мне пришлось стать разбойником...

— Я не кахетинец,— продолжал он после недолгого раздумья.— Я, кажется, сказал уже тебе, что мой край далеко отсюда, и — горе! — мне не придется до конца моих дней увидеть ту землю и утолить жажду ее водою. Все дни своей юности, с семи лет до двадцати, провел я в доме своих господ. Только бог на небе да я на земле знаем, как усердно нес я свое ярмо. Меня сразу же приставили к барчуку, ровеснику моему — Датико. Как хорош был Датико в детстве! Никто в господском доме не смел обижать меня. Не смели, потому что Датико привязался ко мне. Сами знать изволите, как бывает с единственными сыновьями. Датико был очень капризным, балованным ребенком. Из-за малейшей причиненной мне обиды он подымал целую бурю. Сказать правду, и я очень привязался к своему маленькому господину. Привык и он ко мне, так что в конце концов привязанность моя к нему обратилась в любовь. Отроческое сердце, шени чириме, похоже на ранний цветок: взглянет на него солнце,— оно и распустится, не ведая того, что настоящая весна еще далеко, что на него еще может налететь зимняя стужа и убить его. Откуда мне было это знать?

Впервые в доме господина отогрелось мое сердце, но то же самое тепло и сгубило меня. Домой меня совсем не тянуло. Там, помимо всего, ждала меня такая злая, жестокая мачеха, что при одном воспо-

минании о ней меня начинало знобить, точно в припадке августовской лихорадки. А в господском доме меня баловали, как барчонка. Датико любил меня, и я любил его. Как мог я, глупый, знать в ту пору, что любовь между людьми высшего и низшего сословия — несбыточный сон? Разве я знал, что никогда нельзя между помещиком и рабом перекинуть мост любви? Так уж устроен мир, что неравным никогда не итти в паре! О, если бы я это подозревал, клянусь, я бы пропитал желчью свое сердце и погасил в нем любовь к Датико! Но как мог я тогда знать это?

Когда молодому господину и слуге его исполнилось по четырнадцати лет, старый господин решил отправить Датико в город[1] учиться. Само собою разумеется, было решено, что и я поеду с ним. Когда отец мой узнал об этом, он явился к господину с просьбой оставить меня дома. Сам, верно, знаешь,— четырнадцатилетний мальчик в крестьянском хозяйстве — клад для семьи. Если мальчик сколько-нибудь расторопный, он в этом возрасте снимает с крестьянской семьи чуть не половину забот. Да и, кроме того, был я у отца единственным ребенком от первой жены, и, думается, отцу было трудно и жалко отпускать меня так далеко. Старый господин был человек очень мягкий, сердечный. Он и Датико не хотел разлучать со мной и отца жалел. Он ласково обратился ко мне и сказал:

— Габрушки![2] Если не хочешь ехать с Датико, оставайся дома с отцом, я тебя не неволю. Знаю, Датико огорчится, но что поделаешь: сын принадлежит отцу.

Вот какой добрый был этот чудесный человек! Ведь сын раба принадлежит не отцу, а господину, но такое уж было у него сердце.

---

[1] Город — употребляется в Грузии как имя собственное города Тбилиси.

[2] Габрушки — ласкательное от имен Габриел.

Я вспыхнул, мне показалось, что господин мой готов поддержать отца. А что если, мне на беду, меня оставят дома? Они оба не знали, что я предпочел бы умереть с Датико, чем век жить с мачехой. У меня болезненно сжалось сердце, на глаза навернулись слезы. И я подумал: «Вот ведь прогневался на меня бог! Снова я попаду в когти этой ведьме!» Но Датико сам избавил меня от беды. С самого детства был он властным и своевольным ребенком; бывало, вздумается ему что-нибудь, так скорее умрет, а сделает по-своему. Видя, что я молчу, он обернулся к старому господину и смело сказал:

— Если Габрушки не поедет со мною в город, я тоже не поеду.

Затвердил свое юноша, и сколько ни просили его, как ни умоляли, он все стоял на своем. Что было делать старому господину? Не хотелось ему обижать отца, но он знал нрав своего сына. Увидав в конце концов, что иного выхода нет, он предпочел огорчить моего отца и сказал со свойственной ему мягкостью:

— Видишь, мой Дато, Датико так привязался к твоему сыну, что ему трудно с ним расстаться. Пусть едут вместе! Хорошо, когда господин и его слуга с ранних лет привязаны друг к другу: для слуги господин, с которым он рос,— надежная опора. Не мешай же им, ради бога, пусть любят друг друга.

Отцу моему, видимо, не очень понравился ответ господина; он угрюмо покачал головой и ушел до того раздосадованный и обиженный, что даже не простился со мною, когда я уезжал в город. Признаюсь тебе в своем жестокосердии,— я тогда почти ничего не почувствовал, но зато впоследствии мне пришлось сильно каяться. Отца мне так и не довелось больше увидеть: в том же году дни его пресеклись, и я остался один-одинешенек на свете, круглым сиротою, без отцовского благословения, без близких

родственников. В этом необъятном мире у меня оставался лишь один Датико. На него я перенес всю любовь одинокого сердца.

Приехали в город. Нас поселили у бедной пожилой вдовы, кумы старого господина. Был у нее когда-то сын, но и этот единственный сын показался судьбе слишком щедрым даром, и она отняла его у несчастной вдовы. Ее домик о двух комнатах стоял на берегу Куры. Присмотревшись как следует, я подумал:

«Вряд ли мы здесь будем сыты».

Когда я сказал это Датико, он засмеялся и ответил, что вдове будут платить в год двенадцать тумани[1] да еще в придачу дадут вина и хлеба, сколько понадобится. Зачем же ей держать нас впроголодь? И нужно сказать правду, эта благословенная старуха заботилась о нас, точно о родных детях.

Датико каждое утро отправлялся в школу, приходил обедать, после обеда уходил еще раз и домой возвращался, когда уже звонили к вечерне. Беднягу нарядили в русскую одежду. Вначале она показалась ему до того противной, что он как-то даже расплакался при мне. Но, вы знаете, человеческая натура со всем легко свыкается. Привык и Датико. У меня дела было немного. Выпроводив Датико в школу, я подметал комнату, а потом весь день сидел сложа руки. Лишь изредка, бывало, старуха пошлет меня на базар за зеленью. Все остальное она покупала сама. Покончив с делами, я выходил на улицу, садился на камень и подолгу глазел на прохожих, как это делают все праздные люди. Нашу улицу пересекал переулочек. Тут же стояла небольшая церковь; пониже ее, ближе к нам, на самом перекрестке возвышался огромный дом с большими воротами, принадлежавший какому-то армянину. Мне часто

[1] Тумани — десять рублей.

попадался там на глаза подросток-имеретин[1]. Обычно он выходил по вечерам, усаживался в воротах на пороге и усердно читал какую-то рукописную книгу. Я все удивлялся: слуга, а вот книгу читает! Был я в ту пору глуп и думал, что книга — только княжеское дело, а между тем, оказывается, она к лицу даже таким несчастным людям, как мы.

Однажды в воскресный день Датико куда-то ушел и до вечера не заглянул домой. Не прошло и двух-трех месяцев после нашего приезда, как Датико стал что-то очень часто отлучаться из дому и не возвращался иной раз до самых петухов. Видимо, учение в ту пору ему уже надоело.

Как я вам уже сказал, было воскресенье. Делать дома мне было нечего, и я вышел на улицу. В нашей церкви шла обедня. Юноша-имеретин уже сидел на обычном месте с книгою в руках. Я примостился на камне на противоположной стороне улицы и стал наблюдать. Мальчик читал, не отрываясь: то вдруг засмеется, то вновь с серьезным лицом уставится в раскрытую на коленях книгу. Я не утерпел, подошел к нему, поздоровался. Он мне, конечно, ответил.

— Как тебя звать, братец? — спросил он.

— Габриел. А тебя? — спросил я в свою очередь.

— Глахука.

— Ты откуда?

— Рачинец[2] я... а ты?

Назвал и я родные места.

— Ты рачинец? Верно, в слугах у кого-нибудь? — добавил я.

— Да, служу у армянина. А ты?

— Я? А я у сына моего господина.

---

[1] Имеретин — уроженец Имеретии (Западная Грузия).

[2] Рача — горный район Западной Грузии в верховьях р. Рион.

— Тот молодой, что мимо нас ходит? Ты при нем?

— Да.

— Ты давно в городе?

— Порядочно. А ты?

— Около двух лет.

— И я уже с год, как здесь, почему же я раньше тебя не видел?

— Меня не было в городе. Мой ага[1] ездил в Кахетию, и я вместе с ним. Только недавно приехали,— и двух месяцев не будет.

— Верно поэтому... Что это у тебя? — спросил я, указывая на книгу.

— Сказки, братец. Нет у меня работы, так я этим развлекаюсь.

— А ну, почитай, я послушаю,— попросил я.

Добрый человек исполнил мою просьбу, стал читать, да так, что, прости господи, зависть взяла меня. Но не в этом дело: прислушался я, и вдруг то, что он читал, показалось мне знакомым, словно я уже где-то раньше все это слышал. Он перевернул страницу и стал читать о другом. И точно,— все это я слышал в своей деревне. Не знаю почему, но сердце мое забилось от радости.

— Вот проклятье! — воскликнул я.— Как попала сюда наша крестьянская сказка?

Да, это была наша простая деревенская сказка. Мальчик-имеретин в ответ на мое восклицание тихо засмеялся.

— И в самом деле, мой Габриел,— сказал Глахука,— ты знаешь, что такое книга? Книга может любую весть из вашей деревни в город перенести, или в деревне про город рассказать... Вот она какая! Люди бог знает как далеко друг от друга,— а с ее помощью переведаться могут...

— Все это правда,— сказал я ему.— Но... Наша

---

[1] Ага — господин по-тюркски.

сказка! Вот наваждение! В книгу записана! А ну-ка, прочти еще!

И добрый мальчик прочел сказку еще раз. Что долго рассказывать? Я страстно полюбил эту книгу: никогда и ничего в жизни не желал я так сильно, как в этот день я желал научиться читать. Завидовал я,— не скрою от тебя убожества души своей — завидовал, что тот так бойко читает, тогда как я нескладно шатаюсь без дела. Наконец, не имея сил подавить свое желание, я бросился к Глахука и стал просить его:

— Ради бога, окажи милость, выучи меня грамоте! Мне, сироте, отплатить тебе нечем, но бог велик и всемогущ!

Подумайте, ведь я дни напролет проводил в бездельи! Если бы я знал грамоту, если бы я в ту пору мог прочесть эти сказки,— тогда бы и собака на судьбу мою не залаяла! [1]

— Ты, правда, хочешь учиться, по-настоящему хочешь?— спросил Глахука.

— Еще спрашиваешь! По-настоящему? Ты только, будь милостив, выучи меня. Я хоть умру, да выучусь! — ответил я исступленно.

— Если так,— за малым остановка.

— Ты, видно, славный мальчик! — радостно вскричал я.

— Ты не думай, что я сам тебя учить буду. Мне не лень, но ведь знаешь, братец, у меня свободного времени нет. Я найду тебе хорошего учителя.

Услышав это, я побледнел. Так бывает с павлином: он радостен и горд собою до тех пор, пока, опустив глаза, не увидит собственные свои черные лапки, и тогда печально поникают его крылья. Мое окрыленное сердце разом утратило весь свой пыл.

---

[1] Смысл выражения — «был бы я счастлив, все было б мне ни по чем».

— Эх, братец,— сказал я с горечью. — Ошибся я и в тебе! Учителю корма хорошие нужны, а у меня ломаного гроша нет, нечем глаз закрыть. Вижу, напрасно я так разгорелся...

Он рассмеялся и сказал:

— Вот ты какой скорый! Вспыхнул, как порох! Разве и сам я, милый, не знаю, что у таких, как мы с тобою, не водится денег для учителей? Я найду учителя, который тебя и даром поучит.

— Ты утешаешь меня, что ли? — возразил я недоверчиво.

— Можешь поверить, говорю правду!

— Правду?

— Ну да. Добуду тебе человека, который отнесется к тебе, как брат родной.

— Вот как! Да это, видно, святой какой-то,— сказал я.

— Ты не ошибся, он и в самом деле служитель бога. Он и меня грамоте выучил.

— Нет, погоди, как так служитель божий? Он что — священник?

— Ну да. Ты вот говоришь — деньги. Не то, что деньги,— он со свечою ищет таких, как ты, жадных до ученья, чтобы учить их грамоте. А если кто не хочет, он до тех пор долбит, до тех пор уговаривает, пока у того волею-неволею не явится охота. Меня он тоже как-то здесь на улице увидел — да будет благословен тот день, он был для меня счастливым днем... Стал этот священник меня расспрашивать: откуда ты, чем тут занимаешься? Я обо всем рассказал. Да что долго говорить — он так приворожил мое сердце ласковыми словами, так привязал к себе, что и я, наконец, стал учиться грамоте. Да и не я один! С десяток мальчиков нашего околотка ходят к нему учиться. А денег он не берет ни гроша,— и с тебя тоже не возьмет. Однажды, получив жалованье, я подумал отдать ему два руб-

ля, так он хоть и не рассердился на меня, но огорчился очень.

— У тебя есть отец?— спросил он.

— Нет, шени чириме.

— А мать?

— Есть.

— Кто ее кормит?

— Я, шени чириме. Кроме меня, у нее никого нет.

— Вот и сохрани эти деньги для матери,— приказал он со свойственной ему теплотой.— Разве лишние они у тебя, что мне отдаешь?

— Матери я послал, что ей следует,— а эти для вас оставил, чтоб помянули меня в молитвах своих.

— Молитва не покупается на деньги и не продается.

— Вы сердитесь на меня, шени чириме?

— Нет, я говорю тебе правду.

— Так научите же, что мне с ними делать?

— Спрячь их для себя. Если тебе не нужны,— отдай тому, кто беднее меня и тебя. Там, в конце вашей улицы, живет бедная семья, этим людям не на что купить себе хлеба, а мы с тобой каждый день сыты.

Это было сказано так, что, поверишь ли, я сейчас же оставил его, разыскал ту семью и отдал отложенные два рубля. Вот какой это чудесный человек! Хотя бы у самого что-нибудь было, а то ведь ничего за душою нет, едва со дня на день перебивается. Рассказать тебе про его жизнь,— ты и не поверишь, какой он. Ни одно доброе дело в нашем околотке не делается без участия его благодатной руки. Если я стал человеком, так это он сделал — да вознаградит его господь! Недаром же говорится, что долги таких, как мы с тобою, платит сам бог. Да вот и он сам,— добавил Глахука, указывая на церковь.

Обедня кончилась. Женщины в белых платках

заполнили улицу, а мужчины — вы знаете наши обычаи — кучками толпились в ограде, возле паперти, и, как всегда, шумно беседовали. В толпе появился высокий молодой священник.

— Это он? — спросил я Глахука, не отводя глаз от священника.

— Ну да, он. Пойдем, брат, попросим благословения.

IV

Он встал и, не дожидаясь моего ответа, пошел к церкви. Я последовал за ним. Подошли. Священник стоял среди толпы, люди, точно мухи, роились вокруг него. С иными он разговаривал, и те ему приветливо отвечали. Иные задевали его шуткой, и он тотчас же отзывался шуткой же, и надо было слышать, каким сердечно-дружным хохотом разражался тогда народ. А были и такие, что молча, восторженно глядели на него; казалось, они верят, что из уст его польется золото, и боятся, как бы оно не пролилось мимо их рук. Много добра должен был посеять тот, вокруг кого с такой любовью теснится народ. Это и есть настоящий человек, шени чириме, он с достоинством носит шапку на голове [1]. Хороший человек вроде медом помазан — и стар и млад вьется вокруг него. Не много таких людей земля носит.

Как истомленный жаждой мечтает о воде, так я жаждал услышать его слова. Я вытягивал шею, чтобы разглядеть его и разобрать то, что он говорил. Перед ним, понурившись, стоял какой-то мальчик.

— Все это хорошо, но почему же ты перестал

---

[1] Ходить без шапки считалось в старину знаком бесчестья. См. примечание в конце книги, стр. 396.

ходить ко мне? — спросил священник. — Надоело тебе грамоте учиться, проказник ты этакий?

— Да нет, — ответил мальчик. — Отец не пускает.

Священника как будто передернуло.

— Отчего не пускает?

— Говорит, довольно и того, чему научился.

— Отец твой здесь?

— Вон сидит.

— А ну-ка, позови его!

Мальчик волчком сорвался с места и побежал за отцом.

— Смотрите-ка, какой он, этот Петре... — проговорил священник про себя и задумался.

— Такой уж есть. «Злая собака и сама не ест и другим не дает», — крикнул кто-то. Все засмеялись. Улыбнулся было и священник, но быстро сдержался.

— Ни отец, ни дед не учились. Для чего же ему сына учить? — сказал кто-то. — Человек он упрямый, такому привычное горе милее непривычной радости.

— Насчет таких людей и сказано: умный почитает наставника, глупца мутит от него, — воскликнул кто-то.

И долго бы еще они перебрасывались шутками, если бы в эту минуту не подошел сам Петре.

— Скажи, кацо[1], правда ли, что ты запрещаешь сыну твоему учиться? — молвил священник.

— Правда. Не его это дело! Не взлететь перепелу на дерево, шени чириме, не судила ему судьба этой чести, — смело возразил Петре.

— То есть, как это — не судила судьба?

— Да так, шени чириме. Наше дело крестьянское. День да ночь — все в поту да на работе из-за хлеба насущного. Так уж судил господь: «в поте лица до-

[1] Кацо — звательный падеж от каци — человек, — распространенное в Грузии обращение: «человече!»

бывайте хлеб свой». Веление господа легло тяжестью на одни наши плечи, вот мы и тянем. Разве книга наше дело? Не насытит она наших голодных животов. Наша книга — земля, будь она благословенна! Когда она, точно ковер, зазеленеет всходами,— вот тогда по ним мы и читаем свою судьбу. Наше перо — плуг, не знающий устали, а чернила — пот, что струится из нашего нутра. Омочив плуг в этом поту, раскрываем мы щедрое сердце земли и кидаем в нее семена. А как настанет время, приходим к ней снова, и благословенная земля никогда не устает, не оскудевает силами до того, чтобы не вернуть нам хотя бы вдвойне отданного ей на сохранение. Недаром «матерью» зовут землю, она поит нас своими сосцами, мы радуемся ей денно и нощно, она нам и горе и радость, шени квнесаме[1]! Книга — дело прекрасное... Кто этого не понимает? Много еще прекрасных вещей на свете, но нам до них не дотянуться рукою. Осмелюсь сказать, шени чириме, первая наша забота,— чтобы животы не были пустыми. Это главная наша боль и забота.

— Правильно говорит! — зашумели в толпе те самые люди, которые за несколько мгновений до этого зло смеялись над Петре.

— А как же иначе? — приободрился Петре, почувствовав, что народ поддерживает его.— Мы весь свой век гнем спины, как скотина какая-нибудь. Разве можем мы когда-нибудь поднять голову? Только и знаем, что в землю глядим, как будто в ней зарыто наше счастье и как будто мы все только и ищем его. Где уж тут думать о книге!

— Я понимаю, Петре, что у тебя на душе. Ты человек разумный,— печально сказал священник.— И горе твое мне близко. Ты предпочитаешь книге плуг, потому что сегодня плуг тебя кормит.

---

[1] Ласковое обращение, дословно — «твой стон мне».

— Правильно говорить изволите, шени чириме,— ответил Петре.

— Но теперь скажи мне вот что: если бы ты не знал, что железо становится мягче от огня, как бы ты выковал лемех для плуга или топор, которым рубишь дерево для того же плуга? Если бы ты не знал, как смастерить плуг, чем пахал бы ты землю? Если бы ты не знал, какую землю и как надо пахать, глубоко ли опускать лемех, или полегче, что бы ты стал делать?

— Врагу моему не пожелаю того, что случилось бы тогда со мною!

— Откуда же ты все это знаешь?

— Как откуда? От дедов, шени чириме. Были глаза — я видел, были уши — слышал, была охота — догадывался, была память — оставалось в сознании.

— Все то, что ты видел, слышал, о чем догадывался, и то, что оставалось в сознании,— все это вместе взятое ты бы как назвал?

Петре задумался, как бы затрудняясь ответом, потом нерешительно сказал:

— Почем мне знать, шени чириме, как это называется...

— А все-таки?

— Все это — опыт мой, пережитое, знание мое, шени чириме.

— И это знание кормит тебя?

— О чем говорить, шени квнесаме? Сам хорошо знаешь: не будь его,— хоть в воду!

— Теперь скажи мне еще одно: сколько на свете людей, у которых знаний больше, чем у тебя?

— Откуда мне знать это? Пожалуй, их больше, чем у меня волос на голове: лучше лучшего всегда найдется.

— Разве не было бы лучше, если бы опыт и знания этих знающих людей приложить к твоим? Разве

не легче бы тебе было живот свой насытить, разве не меньше бы ты поту пролил и жатва твоя не стала бы богаче?

— Дай бог тебе столько милости, как хорошо это было бы, да ведь беда в том, что мне до них ни глазом не дотянуться, ни ухом. Знаешь, как говорится: «откуда да куда, святой Саба» [1]. Где мне их искать на необъятной нашей земле, чтобы расспросить о том, что мне нужно?

— А что ты скажешь, если я покажу тебе нечто такое, что, по желанию твоему, передаст тебе все, что лучшие люди в мире делать умеют, опыт умных людей, их знания,— одним словом, если я сделаю так, чтобы ты издалека мог поговорить с умным человеком, что ты тогда скажешь?

— А то, что сказал бы весь мир: это колдовство.

— Такой колдун и есть книга.

Когда эти слова дошли до моего сознания, сказать вам по правде,— сам не знаю почему, дрожь прошла у меня по телу. И не только со мною это случилось, но и со всеми: лица у людей просияли, словно их озарило солнцем. Попавший впросак Петре стоял, не шевелясь. Глаза его были широко раскрыты. Казалось, у него кружится голова. Долго стоял бы он в таком оцепенении, если б его не пробудил голос священника.

— Ну, как по-твоему: может книга тебе в чем-нибудь помочь или не может?

— Разреши мне,— сказал растроганный Петре,— поцеловать твои колени. Губам моим не раз приходилось прикасаться к чужим коленям, но ни единого разу — к коленям такого человека, как ты.

Священник остановил Петре. Тогда Петре поднял

[1] Присловье, употребляемое в разговоре, когда хотят показать невозможность дойти куда-либо, добраться до чего-либо.

на него честные свои глаза и, радостно просветлев, воскликнул:

— Благословенны золотые твои уста! Я был слеп, когда давеча говорил с тобой. Чуть было не согрешил перед сыном, а теперь я прозрел от благой твоей вести. Отец, который мешает своему сыну учиться, да еще у такого праведного человека, как ты,— враг своему ребенку. Пусть перепелу не дано взлететь на дерево, если судьба не судила ему такой чести, но сын мой должен знать грамоту, шени чириме. Дай мне руку, шени квнесаме! Дай мне поцеловать ее!

Петре в умилении хотел припасть к руке священника, однако, тот благословил его, но руки не протянул.

— Запомни этот день, сын,— сказал Петре.— Для нас с тобою этот день — солнечный день.

Священник был взволнован. Мне показалось, будто в его глазах блеснули слезы. Он вдруг отвел взгляд от растроганного Петре и от его сына, стоявшего перед ним с опущенной головой, как бы не желая, чтобы они видели, какой доброты исполнено его сердце. Обернувшись, священник заметил какого-то старика и сказал ему:

— Закария, постыдился бы, кацо! С братом не можешь ужиться, с родным братом... Что скажут люди, когда узнают об этом? Стыдно ведь, стыдно. У тебя на голове ни единого черного волоска, а ты что делаешь?

— Как мне быть, шени чириме? —ответил старик, немного смутившись.— Конечно, нехорошо это, да уж очень он упрямый да вздорный. Бог свидетель, я не виноват.

— Не лги, грешно. Стыд! Ты же бездетный старый человек. Если тебе перед людьми не стыдно, так бог-то ведь все видит...

— Тяжело мне, сил нет. Да не постигнет меня

гнев твой,— до того он меня извел, житья от него нет. Не говоря уже о том, что я ведь старший брат.

— Знать ничего не знаю! Оба вы виновны перед богом и людьми. Братья, а враждуете... Говорю тебе и брату твоему перед всем народом: если вы впредь не станете жить во взаимном согласии и уважении,— я вас не велю пускать в церковь!

Сказав это, священник собрался уходить домой. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как наткнулся на Глахука.

— А, Глахука! Здравствуй, милый! — улыбнулся священник.— Что поделываешь, как живешь?

— Твоими молитвами, шени чириме, твоими благословениями! — ответил Глахука.

Священник положил руку ему на плечо, обнял и увел с собою. Много неожиданного видел я в тот день, но это поразило меня больше всего. Ну, что собою представлял Глахука? Слуга и только,— а все же священник не побрезговал и обнял его. Как ни был я юн в ту пору, но такое смирение, такая скромность покорили мое сердце.

— Ты что пропадаешь, почему тебя не видно? — спросил священник Глахука.

— И полутора месяцев нет, как я приехал,— ответил Глахука.— Мы с агой были в Кахетии.

— Что же ты, бичо [1], ни разу не навестил меня? Мы с тобою дружили когда-то, не говоря уже о другом, хлеб-соль водили, одним воздухом дышали...

— Клянусь вашей милостью, нет у меня ни минуты свободной. Приходится смотреть за всем этим огромным домом, за всем скарбом. Кроме меня, у аги никого не осталось, всех рассчитали, а то разве я не пришел бы к вам? Кто у меня дороже и лучше вас?

— Это, конечно, важнее, чем меня навещать, мой

---

[1] Бичи — мальчик, малый. Бичо — звательный падеж.

Глаха! Будь и впредь усерден в трудах своих, будь прилежным и верным, чтобы заслужить благоволение и бога и людей. Мы должны исполнять то, за что беремся. Хлеб только тогда сладок, когда добыт по-хорошему, по-человечески. А со мною разговаривать, братец, не так уж важно: на свете не найдется человека, который дал бы тебе столько радости, сколько дает исполнение долга.

Беседуя так, они миновали переулок и свернули за угол. Оттого ли, что он услыхал мои шаги, или от чего-нибудь другого,— не знаю, но он взглянул на меня и, увидев, что я иду следом, спросил:

— Ты, братец, не ко мне ли?

— Нет, шени чириме, я иду за Глаха.

— А я подумал, что у тебя ко мне дело,— сказал он и пошел дальше, продолжая обнимать Глаха за плечи.

Я отстал. Глахука стал ему что-то рассказывать. Я был на таком расстоянии, что ничего уже не мог разобрать. Во время рассказа Глахука священник остановился и раза два ласково взглянул на меня. Я тотчас же понял, что разговор идет обо мне, и, сказать правду, сердце забилось так, как будто от этого разговора зависела моя судьба. Священник махнул мне рукою. Я сорвал шапку с головы и так, с непокрытой головой, вытянулся перед ним, точно солдат перед командиром. Он взял шапку в руки и надел ее мне на голову. В эту минуту я заглянул ему в лицо. Как вам передать, чтó я увидел? Милостью, бесконечною милостью были полны его задумчивые глаза! Каким добром, какою благостью должно быть исполнено человеческое сердце, чтобы оно так отражалось в глазах! Лицо этого человека показалось мне подобным лику иконы, быть может оттого, что я был так заранее настроен,— не знаю... Но оно до сих пор запечатлено в моем сердце точь в точь таким, каким я его увидел. Священник был

высок и строен, его худощавое лицо казалось несколько бледным. Оно было чуть-чуть тронуто печалью, отличающей людей, познавших горе и болеющих за ближних своих. Он казался совсем молодым, черная короткая борода не успела еще отрасти. Лицо его и весь его облик были таковы, что сердце с первого же взгляда тянулось к нему, как подсолнечник тянется к солнцу.

— Учиться, брат, хочешь? — приветливо обратился он ко мне.— Если задумал это, так отчего не сказал сразу, когда я давеча окликнул тебя? Почему утаил от меня свое желание? Ты, видно, скрытный! Ты же знал от Глахука, что я учу грамоте таких хороших ребят, как ты.

При этом он улыбнулся, погладил меня по щеке и покачал головою, продолжая улыбаться. Я потупился от смущения и не находил слов для ответа.

— Ты отчего опустил голову? Только животные глядят вниз, в землю, людям следует смотреть в небо. Ты словно стесняешься меня... А ну-ка взгляни, я ведь такой же человек, как и ты.

Он взял меня за подбородок, приподнял мое лицо и добавил:

— Без шуток, если тебе хочется учиться, отныне я — твой учитель, а ты — мой ученик. Что ты на это скажешь?

— Что мне говорить, шени чириме, я могу только благодарить вас,— едва посмел я выговорить.

— Ну, поблагодарить успеешь позже. Как тебя зовут?

— Габриел.

— Так вот, Габриел, как справишься дома, скажи Глахука, он проводит тебя ко мне. Но смотри, как бы не пострадали твои дела ни дома, ни вне его,— надо чтобы ученье не мешало твоей домашней работе.

— Домашняя работа! Пускай даже и не доделаю ее, не ради же чего-нибудь дурного!

— Я этого, брат, не говорю. Но все же лучше, чтобы и шашлык не сгорел, и вертел уцелел. Худо, если из-за одного дела страдает другое. Ты ведь крепостной?

— Да, я крепостной.

Священник хмуро покачал головою, словно огорчился чем-то.

— Пусть так, все равно мы с тобою — люди, дети одного господа,— произнес он немного спустя.— Приходи ко мне, я живу тут, поблизости. Ты только учись усердно. Ни о книге, ни о чем другом не заботься,— все у тебя будет. На вид ты такой молодчина, что через два-три месяца, пожалуй, поспоришь с Глахука.

Я рассмеялся.

— Чему смеешься? Не верится? Человек, если захочет, гору сдвинет, слышал?

— Разве такие люди, как я, горами двигают, шени чириме?

— Почем ты знаешь, что ты не такой? Искра божья, брат мой, во всех нас живет, дух божий, брат мой, на всех нас почил!

— Дай бог, чтобы так было! Я и сам этого хочу.

— Вот тебе майдан, а вот и мяч [1], попробуем, попытка — залог удачи.

— Я не отказываюсь, попробую, пускай хоть задавит меня эта гора!

Когда я произнес это, он заглянул мне прямо в глаза; казалось, мои слова тронули его. Потом лицо его прояснилось, и он сказал:

---

[1] Майдан — площадь. Смысл выражения: все в твоей власти, ничто тебе не препятствует. См. примечание в конце книги, стр. 395.

— Ты так думаешь? Нет, такого крепкого, сильного, как ты, ничто не задавит, а если и придавит,— ты все равно встанешь на ноги. Я же сразу сказал тебе, что ты хороший мальчик. Я вижу, мы с тобой подружимся, мой Габриел!

Вы не поверите, если я вам скажу, но меня точно подкосило от этих слов, мне захотелось припасть к его ногам.

Я бы так и сделал, но едва я успел стать на одно колено, как священник быстро взял меня за плечи, с силою приподнял и поставил, точно гвоздь, прямо перед собой.

Затем он сказал мне не без досады:

— Никогда впредь этого не делай, это грех!..

Глупец, разве мог я в ту пору в должной мере оценить этого человека! Когда мой господин кидал мне за обедом дынную корку, меня тотчас толкали в спину, и я спешил приложиться к его коленям,— а этот человек готов стать другом сироты, безродного и бездомного, он не брезгует дружбой с рабом, которого господин может в любую минуту обменять на дворовую собаку! Как было не упасть перед ним на колени? Я помню, как старый мой господин,— он был ведь хороший человек,— получал все же удовольствие, когда я целовал ему колени. Я думал, что и священнику это будет приятно, но он не только огорчился, но тут же и простил мне, глупому.

В ту пору такие поступки священника меня поражали, теперь я его понимаю. Хороший человек находит награду в собственной совести. Откуда мне было знать об этом в то время? Горе мне, что судьба все-таки задавила меня, меня, гордого мальчика, в сердце которого он разбудил бодрость и надежду. И вот у меня не стало сил подняться. Не то,— почем знать? Может быть, из меня бы тоже вышел настоящий человек.

Сердце мое вспыхнуло, точно порох, голова горела, я почувствовал странный прилив сил и восторженно вскрикнул:

— Ты служишь богу, а я буду служить тебе! В этом моя благодарность, иначе — как я отплачу тебе?

— Он воздаст,— священник указал на небо,— он глядит сейчас на нас обоих оттуда...

— И записывает в сердце своем добрые твои дела,— сказал я, перебивая его.

И снова мои слова, видимо, поразили его, он с удивлением взглянул на Глахука, а Глахука таращился на нас, раскрыв рот.

— У тебя огненное сердце,— помолчав, сказал священник.— Послушай, сегодня я нужен тебе, а завтра или послезавтра — ты понадобишься мне. Так создан мир. Придет время, и мы с тобой сочтемся; ты ведь слыхал: гора с горою не сходятся, а человек с человеком сходятся. Так ведь, Глахука?

— Да, это правда,— сказал Глахука.

Я усмехнулся.

— Понимаю. Ты, батоно, утешаешь меня. Разве может такой человек, как я, помочь такому, как ты? Что могло бы с тобою случиться?

— Не бывает, думаешь? Что такое чека? Палочка, только и всего, ее даже не видно в огромной арбе, а без нее арбу не запряжешь. Так и во всем, брат: и малые и великие — все мы можем, не сегодня, так завтра, понадобиться друг другу. Ничего, говоришь, не могу? Не можешь быть хорошим человеком? Куда же ты после этого годишься! Поверь мне, было бы только желание, а случай всегда найдется. Вот, скажем, ты выучишься грамоте,— а я уверен, что ты выучишься скоро,— найди тогда такого же хорошего мальчика, как ты сам, и выучи его. Вот и погасишь этим свой долг, как будто я его выучил, как будто я сделал добро ему. Могу ли

я мечтать о чем-нибудь бо́льшем, как не о том, чтобы такие хорошие люди, как ты, поминали меня в своих молитвах? Так будет, мой Габриел! Разве ты таким образом не уплатишь мне свой долг? И как еще уплатишь! Хоть бы все так выплачивали! Ничего, говоришь, не могу? Господь дал тебе разум, сердце. Упражняй их, пока теплится в тебе жизнь. Разум осветит твой путь, сердце согреет его. Кто бы ни был человек,— господин или крепостной, я ли, ты ли,— в сердце каждого из нас горит зажженный богом огонь. Благодаря этому огню и ты, и я, и другие способны иной раз свершить дела, которым, быть может, будет дивиться мир. Важно ли то, что сегодня я и ты — маленькие люди? Быть может, завтра по-иному повернется судьба — почем знать, кто будет впереди, кто позади? Мы должны совершить все, что в наших силах, этого требуют от нас и бог и люди...

Он долго еще говорил со мною, он сказал мне многое, но память изменила мне, всего не припомню.

Одно знаю: слова его заставили меня сильно призадуматься, и с тех пор — явись передо мною хоть сам ангел смерти — я не опустил бы перед ним глаз. А раньше я стеснялся даже людей.

— Сколько раз я бывал у него,— сказал мне Глахука, когда священник ушел,— он никогда мне не говорил ничего такого.

— Всё от судьбы, брат,— ответил я.

— Нет, брат, не в судьбе дело.

— В чем же?

— Это бог сделал, это он создал тебя таким...

Никак не пойму, почему он мне так сказал. Сказав же, повернулся и ушел.

Пошел и я к дому, раздумывая о том, что случилось.

V

На следующее утро, едва я покончил со своими делами, меня, конечно, потянуло к священнику. Расспросив Глахука о том, где он живет, я отправился к нему один. Я открыл низенькую дверь, выходившую на улицу. В крытой галлерее на деревянной тахте сидело шесть или семь мальчиков. Наш священник сидел среди них с непокрытой головою. Одних он учил читать, другие писали. Тут же рядом, у маленького камина, какая-то старушка возилась с горшками. Увидев меня, священник улыбнулся.

— А, Габриел, здравствуй! — тотчас же сказал он мне.

Я поклонился и подошел под благословение.

— Ты, брат, держишь слово, — добавил он.

— По милости твоей, по наставлениям твоим, шени чириме, — ответил я.

— Будто?

— Не знаю почему, но я уже не тот, каким был, пока не знал тебя.

— Ты льстишь мне?

— Пусть я умру, если Габриел оттолкнет твое сердце лестью!

— Скажи мне, ради бога, сколько тебе лет? — спросил он меня, меняя почему-то разговор.

— Кажется, четырнадцать, пятнадцатый...

— Четырнадцать, пятнадцатый, — протянул он, точно усомнившись, и внимательно взглянул мне в глаза.

— Почему ты спросил меня об этом, шени чириме?

— Да так... Сказать правду, подумал, что ты старше...— ответил он мне так неуверенно, с такими паузами, словно оборвал речь на полуслове, чего-то не договаривая.

— Вот, мать,— священник быстро обернулся к старухе, — я рассказывал тебе вчера о Габриеле, — это он и есть: ему оказывается четырнадцать лет... пятнадцатый.

Старуха взглянула на меня и сказала:

— Дай бог ему вырасти на гордость родителям.

Я не стану рассказывать о том, как учился грамоте: и без того моя история затянулась, боюсь, вам надоест ее слушать. Скажу лишь одно: он обращался с нами так, как иной отец не обращается с родными детьми.

Он быстро обучил меня грамоте. Три или четыре месяца спустя я не только умел читать, но даже заучил наизусть несколько молитв и помню их до сих пор.

Прошло еще немного времени, и он отделил меня от других учеников, сказав мне при этом:

— Ты, мой Габриел, оказался соколом. Придется нам с тобою по-другому учиться. Остальные ученики, как малые ребята, плетутся, а ты бежишь вперед. С нынешнего дня они будут ходить, как и раньше, по утрам, а ты приходи ко мне вечером. Придешь,— сядем за книгу. Вдвоем бодрее учиться, будем мы с тобою подгонять друг друга.

Священнику я очень нравился. Он хвалил меня за внимание и сметку.

— Знаю,— добавлял он обычно,— ты не загордишься, ты умный юноша, потому я и говорю тебе все это в глаза.

Время шло, я уже хорошо читал и не худо справлялся с письмом.

Однажды, когда я окончил чтение и написал настолько хорошо, что заслужил похвалу, он усадил меня рядом и повел со мною беседу. Он и раньше беседовал со мною, убедившись предварительно в том, что мои домашние дела от этого не страдают. Я задавал ему вопросы, разговаривал с ним, — так

бывает, вы знаете, с людьми, преодолевшими свою робость,— и уж не знаю почему, может быть потому, что ему нравились мои вопросы и ответы, он сказал мне в этот раз:

— Мой Габриел, я подарю тебе прекрасную книгу.

Он встал, открыл маленький стенной шкап и вынул какую-то печатную книгу.

— Вот, брат, книга эта — сокровищница грузинского сердца. На нашем родном языке не существует ничего, что было бы выше этой книги. Ты ведь слышал о царице Тамаре?

— Как не слышать, благочестивая, говорят, была...

— Благочестивая? Полно! Если родина наша расправила свои плечи, то случилось это в ее царствование. Если солнце когда-нибудь озаряло и согревало Грузию, так это было в ее время. Если рука грузина когда-нибудь доказала свою твердость, сердце — свою верность и стойкость, а слово — свою силу, то все это случилось в ту пору, когда матерью Грузии была благословенная царица Тамара! Она была мать, мы ее дети... То было, брат, время, когда мы гордились тем, что мы грузины. Недаром сказано в этой книге:

Льву величьем равен львенок, будь то самка иль самец [1].

Женщина была она, да славится ее имя! И стала она столпом отчизны нашей.

— Книгу эту она написала?

— Нет, был у нее придворный — Шота Руставели, он написал.

— Все, что здесь есть?

— Все. От начала до конца... стихами. Ее не лег-

---

[1] Из поэмы Ш. Руставели «Носящий тигрову шкуру». Перев. Г. Цагарели. См. примечание в конце книги, стр. 396.

ко понять, но мы друг другу поможем и поймем. И не раз слова этой книги принесут тебе утешение в нужде, облегчат горе, дадут силу твоему разуму и твоему сердцу и поведут тебя к добру.

— Она — священная, эта книга?

— Все, брат, священно, что согрето человеческим сердцем и что сгорает, — как говорится в сказке, — словно свеча, давая свет другим. Настоящий человек, брат, это тот, кто плоды трудов своего ума и благость своего сердца перекидывает, словно мост, чтобы, если не ему самому, так хотя бы другим людям с миром пройти по этому мосту. Такой мост всегда озарен благодатью божьей, и тогда все священно. Знаешь, почему я говорю тебе об этом? Здесь в одном месте написано:

Надо другу ради друга быть готовым к испытаньям,
Сердцем быть созвучным сердцу и мостить любовью путь.

Так, кажется, там написано, если память мне не изменяет. Разве не священны такие слова?

Я с удивлением глядел на священника. Лицо его преобразилось, глаза сверкали, сердце билось, высоко вздымалась грудь. Я почувствовал, что он хотел мне сказать еще что-то, но удержался и, заходив взад и вперед, отогнал волновавшую его мысль.

— Тот, кто стремится возвеличить и прославить бога, — немного спустя сказал священник, как бы про себя, — тот должен завоевать себе двойное имя. Одно его имя останется здесь, на земле, другое уйдет вместе с ним туда.

Он снова задумался. Произнося эти слова, он ходил взад и вперед по комнате, как бы забыв обо мне. Но затем вспомнил, обернулся, взглянул на меня и сказал:

— Давай читать.

Он сел рядом со мною, перелистал несколько стра-

ниц и протянул мне книгу. Я взглянул на то место, на которое он указывал пальцем. Там было написано: «Сказ первый о Ростеване, царе Арабском».

Я спросил:

— Почему ты не хочешь, чтобы я читал с начала?

— Не спеши, всему свое время. Я считаю, что начало труднее и для тебя и для меня. А кроме того, самая повесть начинается с этого места. Попозже, когда мы с тобою поймем все, как следует, успеем перечесть и начало.

Я послушался. С этого дня мы начали читать «Носящего тигрову шкуру». Мне было тогда лет семнадцать. Те дни казались мне безоблачными. Они ушли, ушли безвозвратно... Что же поделаешь! Сердце все еще сохраняет их тепло — а это ведь тоже утешительно...

Он часто останавливал меня и спрашивал.

Если я отвечал, что понимаю, мы шли дальше; если же я не понимал, он пускался в объяснение, и то, что он говорил, было не хуже, чем написанное в этой книге. Когда я дошел до места, где написано:

Отдал дар — твое богатство, скрыл — потеряно навек,

священник надолго остановил меня. Он любил останавливаться на таких местах и беседовать о них. Ах, эти речи, да и не они только! Я до сих пор помню все, что он мне говорил,— помню, как помнят сон.

— Ты это понял? — спросил он.— В евангелии есть притча, ее поведал нам Христос. Если тебе не скучно, я расскажу ее. Жил некогда богатый человек, и были у него, как водится, слуги. Однажды, собравшись в дорогу, он созвал слуг и дал им деньги. Одному дал много, другому поменьше, а третьему еще меньше, и сказал: «Пользуйтесь ими так, чтобы была от них прибыль, а когда возвращусь, отдадите мне и деньги и прибыль». А сам уехал.

Двое из слуг поступили разумно, исполнили приказ своего господина и приобрели вдвое против того, что им было доверено. Третий был человек никчемный, неспособный и ленивый; он сказал себе: «где уж мне думать о прибыли, как бы и того не потерять, что есть!» Взял и схоронил деньги в землю. Возвратился господин и похвалил тех двух слуг за разумное поведение, на третьего же разгневался. Отнял у него деньги и отдал тем, кто употребил их с пользой. И остался третий слуга ни с чем. Он, бедняга, страшась потерять таланты, зарыл их в землю и все-таки, в конце концов, потерял. А если бы он раздал эти деньги, то не лишился бы их.— Господин — это бог, а мы его слуги. Бог дал всем нам ум, сердце, возможность делать добро. Правда, одним он отпустил больше, другим меньше, но кому многое дано, с того много и спросится, кому малое, — с того мало. Он дал все это нам не для того, чтобы мы прятали дары его в ларь или в землю, подобно нерадивому рабу, а для того, чтобы отдали их страждущим, которых так много на свете. В противном случае, когда господь призовет нас к ответу, все мы окажемся ни с чем. Вот почему так правдивы эти слова:

Отдал дар — твое богатство, скрыл — потеряно навек.

Потеряна для нас благодать, которою бог изначала одарил каждого человека, если мы не сделаем так, чтобы добро от нее приумножилось.

В то время когда он говорил это, отворилась дверь маленькой комнатки, в которой мы сидели, и вошла какая-то бедная женщина, укутанная в старую изодранную чадру. Священник, полулежавший на мутаке [1], тотчас же приподнялся.

---

[1] Мутака — мягкий диванный валик.

— Здравствуй, Мариам, здравствуй! — громко поздоровался с нею священник.— Как здоровье твоего мужа?

— Какое там здоровье, шени чириме, — горестно ответила старуха.— Дай бог врагу твоему заболеть так, как он болен! В тот день, когда ваша мать изволила дать лекарство,— ему стало немного легче, но сегодня с утра опять разыгрались боли. Не придумаю, что и делать! Как взгляну на него, так сердце и упадет! Отворотился от меня господь! Не жилец он на этом свете, шени чириме! Что мне делать, если гнев господень постигнет меня и...

Слезы помешали ей договорить.

Я взглянул на священника. Тень печали легла на его лицо, он поник, брови его сдвинулись, казалось, сердце сжалось от боли. Удивительно, как могло одно человеческое сердце вместить страдания стольких людей! Священник встал, заходил по комнате, но не сказал ни слова: казалось, он хотел дать ей время притти в себя. Однако, видя, что женщина плачет, не умолкая, он взглянул на нее и сказал ей тем сердечным голосом, который мне не раз приходилось слышать и которого я не забуду, пока во мне теплится жизнь:

— Не плачь, мать!.. Малодушие противно богу. Бог милостив, велика сила утешения господня. Он — наше прибежище и спасение, любит труждающихся и обремененных: что бы ни случилось с тобою, бог не покинет тебя без утешения. Не плачь, не надо! Уповай на бога и на милосердие человеческое. Не плачь!

— Что поделаешь, шени чириме? Слезы — дети горя... Текут сами собой, когда сердце сжимается от горя, — рыдая говорила старуха.

— Ты права, мать, они — дети горя, они смягчают печаль. Но нехорошо, если слезы омрачают очи разума. Слезы притупляют зрение, а лучше ви-

деть все, как оно есть, да и, кроме того, разве мужу твоему так плохо, чтобы плакать? Помогло же ему лекарство, что дала моя мать,— возьми еще!

— Спасибо тебе за ласку. За этим и пришла,— сказала женщина, все еще всхлипывая, и затем добавила прерывающимся голосом: — У меня еще одна просьба к вам...

— Приказывай,— поспешно отозвался священник.

— Сами знаете, нет кроме вас заступника у таких, как я, безутешных. Стыдно мне: я, точно нищая, смотрю вам в руки и беспокою, но...

— Полно, мать, понимаю,— священник не дал ей договорить.— Мама! — окликнул он мать, которая была в другой комнате.— У Мариам дело к тебе. Иди,— сказал он женщине,— мать знает.

— Дай бог тебе долгой жизни на радость и утешение вдовам и бесприютным! Да вознаградит тебя господь за то, что подаешь бедным, да...

— Полно, полно, — снова перебил ее священник и покраснел так, как будто ему стыдно было благодарности и он хотел избежать ее.— Дай бог тебе бодрости. Иди, мать, скорее, присмотри за мужем. И не плачь. Слезы ему не помощь, а беспокойство.

Старуха ушла, а священник никак не мог успокоиться и все с тревогою думал о ней.

— Как не пожалеть ее, несчастную? — сказал он немного погодя. — Один у нее кормилец на свете — муж. Смерть отняла у нее сына и брата, вот и останется теперь, несчастная, одна без всякой поддержки. Муж у нее был хороший человек. Правда, он в поте лица зарабатывал хлеб свой, но ведь так и подобает настоящему человеку: жил трудом своим и жену кормил. Что же будет с нею теперь? Благословен буди, господи, праведный твой суд!

— О, да будет благословенна его справедли-

вость! — повторил и я, восхищенный отзывчивостью священника. — По милости господа на земле не переводятся люди подобные тебе, несущие обездоленному люду утешение и радость. Твои слова осушили слезы несчастной.

Священник не ответил мне, он не слушал того, что я говорил. Добрый человек поистине достоин удивления. Он не любит видеть свое отражение в зеркале, он избегает глядеть на себя, брезгует этим. Обращайся с ним, как хочешь, но не напоминай ему о его доброте. Ну что же! Господь ведь видит и записывает на ладони своей... Небо — зеркало земли, оно отражает деяния этого бренного мира.

VI

Если у вас есть сердце, вы поймете, чем были для той женщины сердечные, утешительные слова этого милосердного человека. Конечно, простые слова священника — не живая вода. Ими не воскресить умирающего. Но все же такая чудесная отзывчивость — великое дело. «Велика сила утешения господня», — сказал священник. То, что я видел, показало мне, что сила его не меньше, когда она исходит от человека.

Если вас когда-нибудь постигало горе, вы знаете, какою сладкою, целебною силой обладает простое слово для того, кто впал в печаль и безнадежность, особенно если в этом слове скрываются сердечная теплота и правда. С груди твоей спадает тяжесть, начинает казаться, будто слова эти унесли с собою половину горечи. Слово — как будто бы звук пустой. Оно ведь ничего не стоит говорящему. Но сколько людей на свете скупы даже на слово ближнему. Правда, иной и не поскупится на слова, но они не доходят до исполненного горечью сердца,

не проникают в его глубину. Такие люди не в силах придать человеку бодрость, утешить его. Цветы не расцветают под лучами зимнего солнца.

Не таков был этот священник. Если бы вы видели его, когда женщина начала плакать! Вся его доброта отразилась в глазах, глаза его говорили: «Что поделаешь, мать! Если бы кровью моей можно было исцелить твоего мужа, я бы вскрыл вену и напоил его». Половину горя снимают слова такого человека и осушают слезы на глазах, точно нежнейший шелковый платок.

Я передал, как умел, то, что священник говорил этой женщине. Он не сказал ничего особенного, но, поверьте, силою этих слов горе ее осталось здесь, в комнате, и она ушла успокоенная. Разве даст солнце погибающему от холода цветку столько, сколько дает теплое слово удрученному горем сердцу? Тепло? О-о?! Оно многого стоит. Благодаря теплу расцветает земля; тепло — источник, начало жизни. Но что слова! Этот священник не ограничивался одними словами. Впоследствии я узнал, что он, сам неимущий, в течение полутора лет содержал прикованного к постели мужа и его жену.

Вот он, промысел божий! Священник только что рассказал мне о богатствах человеческого сердца, и господь пожелал, чтобы я на деле убедился в том, что узнал на словах. Поистине то было чудо божье. Эта женщина вошла в этот час как бы для того, чтобы сказанное подтвердилось на деле перед моими глазами. Хочешь — верь, хочешь — сомневайся, но я говорю тебе правду. Это было чудо. А во второй раз такое же чудо произошло, когда мы дошли до места, где написано:

Смерти задержать не могут кручи троп и кряжей пики.
Слабого она сравняет с сильным, потушив обоим взор,
Даст загробное свиданье под конец рабу с владыкой,
Но прекрасней смерть со славой, чем бесславных дней позор.

Вдруг с улицы до нас донеслись шум и тревожные крики. Я уже сказал вам, что мы жили невдалеке от Куры и что дом священника тоже стоял поблизости. Священник побледнел и, как был, кинулся из дому. Вышел за ним и я. Был вечер. И стар и млад по крутой, аробной дороге бежали к Куре.

— Что там, братья? Что случилось?— крикнул священник.

— Что, шени чириме? Человек тонет! — ответил ему кто-то.

Едва услыхав это, священник побежал еще стремительнее. Не бежал — летел, с непокрытой головой, с развевающимися волосами. Я старался не отставать. Сбежали к реке.

На высоком берегу Куры толпился народ, в толпе было много женщин. Стоял оглушительный шум. На женщин просто жалко было смотреть, так горестно кричали они. Едва увидев священника, все радостно закричали в один голос:

— Священник идет, священник, слава те господи, он не даст утонуть христианской душе!

Ясно было, шени чириме, что им и раньше приходилось видеть, на что способен этот священник, если они все так сразу приободрились.

Священник ничего не сказал и даже ни на кого не взглянул. Не отрываясь, следил он взглядом за течением Куры. Казалось, там погибает все, что у него есть ценного в жизни. И вдруг он мигом скинул с себя одежду и швырнул ее на землю, невдалеке от меня. Даже в тот короткий промежуток времени, пока он раздевался, он ни на мгновение не отрывал взгляда от Куры. Я посмотрел на него: печальный, бледный, он успел сказать только одно:

— Тонет человек, такой же, как мы, и никто не спасет его.

Священник перекрестился и бросился в воду. И

тогда вслед за ним бултыхнулись в воду, один за другим, еще семеро — все молодые: видимо, их заразил его пример.

На время я потерял священника из виду. Я стал бояться, как бы он не утонул.

— Что делать? Уж не утонул ли он? — в страхе проговорил я.

— Хм, ты, видно, плохо его знаешь! — сказал кто-то, стоявший рядом со мной, пристально вглядываясь в течение.— Недаром его называют святым человеком. Ему и огонь и вода ни по чем. Не веришь, так смотри, вон где вынырнул!

Он протянул руку, радостно указывая на мелькавшего вдали пловца.

Я взглянул: священник продвигался вперед, рассекая воду, подобно челноку. Невдалеке от него барахтался выбившийся из сил несчастный рабочий, как потом оказалось, водонос.

— Не бойся! — кричали люди.— Не сдавайся, продержись немножко, спаситель твой близко!

Плывет, борется с течением священник, а народ с берега пытается криками придать ему бодрости и силы.

— Ай, слава создателю твоему! Э... тай, тай, та... Вот плывет, словно челн! Да, сынок, вот кому материнское молоко впрок пошло! — выкрикивал кто-то из собравшихся.

— А кому материнское молоко не идет впрок? Но только нужны благодатные груди, чтоб вырастить такого сына, как он,— отозвался второй.

Однако священник не нуждался ни в людских поощрениях, ни в похвалах. Он черпал силу и уверенность в том огне, который, как сам он говорил, горит в душе каждого из нас. Да о чем говорить? Стремление к добру било через край в груди этого человека, и разве нужны ему были поощрения со стороны? Он сам искал добрых дел, выпал случай, и он страстно ухватился за него.

Дай бог тебе так избавиться от горя, как священник избавил от гибели того рабочего! Когда утопавшего вытащили на берег, он был без сознания, и священник долго возился с ним, как с братом родным. Наконец, беднягу удалось привести в чувство. Но священник не меньше его нуждался в помощи. Дело происходило осенью, он весь посинел, его знобило, от холода у него зуб на зуб не попадал.

— Глаха! — обратился священник к кому-то,— возьми беднягу к себе на эту ночь.

— Как прикажешь, дело простое, шени чириме! — ответил тот.— Ты чуть было ради него не погиб, неужели же мне трудно приютить его? Ну-ка, ребята, помогите!

Подоспели люди, подхватили рабочего на руки и осторожно понесли. Священник пошел за ними.

— Тебе бы лучше уйти домой, шени чириме! — сказал я.— Ты выбился из сил и весь дрожишь.

— Ему еще нужна помощь,— ответил он мне.

— Надо и о себе самом позаботиться,— настаивал я.

— Вот кто позаботится обо мне,— сказал священник, указывая на небо.

Он оставался возле спасенного рабочего до тех пор, пока не убедился в том, что жизнь его в безопасности.

Рабочего священник спас, но сам-то чуть не отдал душу господу богу. Он заболел, и болезнь его была почти смертельна. Другой на его месте, ей-богу, пожалел бы и сказал: «Стоило ли губить себя ради другого? Добро бы я был один! На кого рассчитывал я, покидая мать, если бы со мною случилась беда?»

Горюя, мать упрекала его:

— Сын мой, зачем ты шел на гибель? Верно, он тонул. Но если бы с тобою что-нибудь приключи-

лось, что сказал бы ты матери, встретясь с нею на том свете?

— Я бы встретился с нею с чистым сердцем, потому что ее грудь дала мне силу совершить доброе дело,— ответил священник.

— Ты бы и меня спросил! Ты — единственная моя радость во все дни. Нет у меня никого на свете, кроме тебя. А ты не поберег меня и чуть не погиб ради другого, чуть было...

— Но ведь бог спас меня, и ничего со мною не случилось?

— Как не случилось? Три дня — горе твоей матери! — три дня пролежал ты, как мертвый, и я плакала над тобой. Что было бы со мною, если бы бог не услышал меня?

— Много в мире людей, мама! Любой хороший человек заменил бы тебе сына.

— Уй! Уй! — перекрестилась мать священника.— Не дай мне бог дожить до этого дня! Хочу, чтоб ты, сынок, сам схоронил меня.

Однажды, когда он еще хворал, я зашел к нему и сказал:

— Ты себя не бережешь! Если не себя, хоть мать пожалел бы. Разве не бо́льший грех бросить старуху-мать без всякой опоры в этом огромном мире?

— Не в этом грех, брат; грех, если материнские заботы и труды пропадают зря, не принеся плодов в душе сына в ту пору, когда им время уже созреть,— ответил мне больной слабым голосом.— Сядь поближе. В тот день я ничего не мог сказать матери: она, старая, могла бы подумать, что я мало привязан к ней. Материнское сердце — это море любви. Вот, у матери при смерти дитя, скажи ей, что дитя ее протянет лишних два дня, если она навеки предаст душу дьяволу,— мать пойдет на это. А если сын решится на это ради матери, мать опе-

чалится. Я же не безумный,— если бы я не надеялся на свои силы и на бога, я бы не бросился в бушующую реку. Бог даровал мне силы, он пожелал, чтобы тот человек был спасен моею грешною рукою. Но если бы я даже и погиб, то разве ради чего-нибудь дурного? Умирать все равно придется — не сегодня, так завтра,— не лучше ли пожертвовать жизнью во имя бога и... еще вот что скажу — во имя человека. (Тут румянец залил лицо священника.) От добра, сотворенного тобой, на земле останется славная память, и оно же откроет тебе путь в иной мир. Милый мой,

Лучше имя возвеличить, чем копить добро в ларях [1].

Что бы ни говорили, слава приносит счастье душе, слава и сыну и матери озаряет райские пути, она же гасит огни ада. Моя мать не понимает этого, оттого я и не решился сказать ей.

— Все верно, вы правы, но...

— Что «но»?

— А то, шени чириме, что...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать,— перебил он меня.— Выходит так, что совершающий добрые дела, совершает их ради славы? Нет, доброе имя приходит само собой в сочетании с добрым делом. Правда, бывают люди, которые делают добро только ради того, чтобы приобрести славу. Это значит, что они доброе дело продают за славу. Это — дурно, но нам что до этого? Пусть продают! Был бы только хорош товар, было бы славно само дело, за тайные же помыслы — пускай их судит господь бог. Взять, например, человека, который изобрел плуг. Кто знает, может, он думал не столько о других, сколько о себе, быть может, он заботился

---

[1] Из поэмы Ш. Руставели «Носящий тигрову шкуру». Перевод Г. Цагарели.

не столько об общем благе, сколько о славе,— не все ли равно? Дай бог ему блаженства. Возможно, что он умер нищим, но огромному множеству людей, населяющих мир, он обеспечил кусок хлеба. Имя стерлось на земле, а дело — более высокое, чем любая слава,— осталось на века; дело, столь огромное, что оно одно может уравновесить грехи всего мира. Теперь ведь никто не спросит: а чего хотел, чего жаждал этот несчастный, когда напрягал разум свой и глаза, чтобы свершить это славное дело? Его не стало вместе с его хорошими или дурными влечениями сердца. А плоды этих влечений остались нам.

— У меня и в мыслях не было указывать на это, я хотел только...

— Ну так что же? — снова перебил он меня.— Разве то, что я сказал, ни к чему тебе?

— Кто говорит, что ни к чему? — перебил и я его.— Разве я сам мог бы додуматься до этого? Я говорю только, что я не стал бы губить родную мать ради спасения другого; мне было бы жалко ее, я бы не мог взять на себя такой грех перед нею... Твоя жизнь для нее не просто жизнь,— в ней ее единственная надежда и утешение.

— Наша жизнь, брат, не принадлежит ни матерям, ни отцам,— она принадлежит всему миру в целом. Раньше мир и только потом уже мать и отец. Звезды меркнут, когда восходит солнце. Помнишь, Автандил писал Ростевану:

Мне принять за ближних гибель — все равно, что песню спеть [1].

Хорошие это слова, если человек за ближнего почитает весь мир. Вот это еще хорошо,— помнишь?

Но прекрасней смерть со славой, чем бесславных дней позор.

---

[1] Из поэмы Ш. Руставели «Носящий тигрову шкуру».

— Помню и понимаю, почему ты мне об этом говоришь. Но как бы я хотел жить той «позорной» жизнью, какою ты живешь!

Священник покраснел, точно ребенок. Он не выносил, чтобы его хвалили в лицо.

— Ты меня лучше не трогай,— смущенно улыбаясь, сказал он,— ты ведь даже не знаешь, что я за человек!

— Как не знаю, бог с тобою! — торопливо сказал я.— Может быть, у меня не хватит ума понять тебя, но я же, слава богу, не слепой, чтобы не видеть. Позорная жизнь!..

— Если еще не позорная, брат мой, то могла бы стать такою. Тонет человек, брат твой, ты можешь спасти его, а вместо этого складываешь руки на груди и безучастно глядишь на погибающего. Разве это не позор? И какой же ответ дадите вы богу? Что скажете ему вы,— ты или твоя мать? И не ответит ли он вам: для чего вы умертвили в себе сердце, которое я дал вам на то, чтобы любить ближнего? Зачем вы утаили силы и возможности, которые я вам даровал, дабы вы помогали страждущему? Так-то, брат! Один за всех, все за одного — вот путь жизни, вот мост к блаженству, вот ключ от рая.

Так открыл он мне путь, но судьба предала меня и не позволила итти этим путем. Скала обрушилась и погребла меня под собой, и, видишь, я гасну, как огонь без воздуха.

Однажды, прочитав историю Автандила и слуги его Шермадина [1], я, восхищенный их дружбой, невольно воскликнул:

— Честь и слава тому, кто это написал! Вот какими должны быть отношения между господами и крепостными.

---

[1] Герои поэмы Руставели.

— Понравилось? — спросил священник.

— Как могло не понравиться?

— Ты прав,— ответил он печально.— Это лучшее из худого.

Увлеченный какой-то мыслью, он отвернулся от меня, взгляд его скользнул куда-то ввысь. Он долго молчал, а потом сказал как бы нехотя еще печальнее:

— Насколько лучше, когда шапкою тебе служит небо, а земля тебе — каламани[1].

Тогда я не понял, что он хочет сказать. Он вдруг пристально взглянул на меня. Подумал немного и спросил:

— Скажи-ка, кто лучше: ручной ли, взращенный в неволе сокол, или тот, которого никогда в жизни не касалась человеческая рука?

— Конечно тот, кого не коснулась человеческая рука.

— Почему? Ведь первый же вырос в чести и холе?

— Какая же это честь? То крыло подвяжут,— не улетел бы, то хвост,— чтобы не распускал его зря, а глаза так непременно завяжут, чтоб не видел.

— И так со всеми?

— Конечно. Говорят, иначе сокола к охоте не приучишь. К лапкам еще веревку с бубенцами привязывают; вздумается улететь,— не пустят.

— Зачем веревки — я понимаю, а бубенцы к чему?

— Должно быть, чтоб веселее ему было: метнется, взлетит,— и отзовутся бубенцы.

— Пожалуй. Но, все-таки, я думаю, что шелест собственных крыльев, когда он, расправив их, летит в вышину,— приятнее; этот шелест придает ему больше бодрости, чем звон бубенцов.

— Да что и говорить! Конечно, приятнее!

---

[1] Смысл выражения — «когда ты свободен». Каламани — см. сноску на стр. 17.

— Я то же думаю, милый Габриел. И затем, скажи, для чего же, собственно, нужен сокол?

— Ясное дело, для чего! Спрашиваешь, будто сам не знаешь. Сокол бьет перепелов, а охотники развлекаются этим зрелищем.

— А затем?

— Что затем? Кладут перепелов в сумку и отправляются домой.

— А соколу что достается?

— Соколу достается то, что не годится человеку.

— Вот бедный! Недаром говорится, что хозяину козы и козьего хвоста не досталось. Что же, сокол доволен?

— Вряд ли. Да, к тому же, охотники большей частью не дают соколу наесться досыта. Наестся — не станет бить как следует птицу. Иные долго его выдерживают без еды.

— И вот так живет сокол до конца дней своих, пока не околеет?

— Нет, если сокол выдержит плен у охотника и доживет до осени, его отпускают на волю.

— Так, значит, всему свое время?

— Как же иначе! Пока водятся перепела,— сокола заставляют их бить, а не станет их, тогда и для сокола наступает пасха.

— Значит, пока не переведутся перепела, сокол в неволе у охотника?

— Да,— повторил я и засмеялся,— до тех пор, пока не переведутся перепела.

— Думается мне, перепела улетают, когда им уже негде прятаться в полях,— когда снимут кукурузу, сожнут пшеницу и просо, одним словом, когда созревает все то, что посеяно честными человеческими руками.

— Да, осенью конец перепелам, и охотник отпускает сокола на волю.

— Благословенна блаженная осенняя пора! Все

одаренные силой и добрыми желаниями, все работали, сеяли, и вот посеянное созрело, и люди жнут его. Дом, двор, хозяйство полны милостью божьей. Даже свадьбы приурочены к той поре, всякое существо устраивает дом свой и судьбу, и сокол тоже,— даже сокол! Чудесная пора! Всего вдосталь: хлеба, вина, радости. В ту пору все, от мала до велика, сыты и полны весельем. Чудесная пора! А через несколько месяцев вновь придет весна, эта прекрасная, ликующая, теплая весна. О боже! Близится время жатвы, помоги каждому труженику собрать ее с чистым сердцем!

VII

Мой рассказ о священнике очень затянулся, батоно, не сочти это за желанье поболтать. С ним связаны немногие светлые дни моей жизни. Худо ли, хорошо ли,— благодаря ему я прозрел умом и сердцем. Он был единственной звездой на темном пути моей жизни,— вот все, что даровала мне коварная судьба. Миру больше нечем попрекнуть меня. Оттого-то я и люблю говорить об этом священнике; при воспоминании о нем душа моя вновь оживает. Вновь кажется мне, что с этим миром еще можно как-то поладить и что нити, связывающие меня с ним, не порваны. Многое рассказал я об этом человеке, но не передал и сотой доли. Его сердце и события его жизни — точно море. А я, несчастный, попытался вычерпать его ложкой! Так не подумай же, что это пустая болтовня, шени чириме! Если я тебе наскучил,— не осуди меня, прости.

Пять лет миновало с тех пор, как мы приехали в город. На шестом году пришло известие о смерти старого господина. Датико было тогда уже лет девятнадцать-двадцать. Вначале он очень горевал по

отцу, кажется, даже плакал. Он осиротел, как и я, и так же, как я, скоро позабыл о своем горе. Не раздумывая долго, он приказал прислать ему лошадей из дому и собрался раз навсегда уехать в деревню. Пока пришли лошади, он скинул с себя русскую одежду и надел грузинскую и сразу же изменился в этом новом платье. Это был очень привлекательный, красивый молодой человек.

Не прошло и пяти-шести дней, как лошади прибыли. На следующий день назначен был наш отъезд из города. Я пошел повидаться со священником.

— Здравствуй, Габриел! — приветствовал меня священник, едва я приоткрыл дверь и вошел в его маленькую комнатку.— Что нового, мой Габриел?

— Старый господин приказал долго жить,— сообщил я.— Датико послал за лошадьми, и завтра мы собираемся ехать домой.

— Как же так? Значит, Датико бросает ученье?

— Бросает.

Это известие очень огорчило священника, он поднялся с тахты и заходил по комнате. Немного спустя он сказал:

— Разве станет томящийся жаждою проливать воду, если он не безумец, мой Габриел? Как странно, что мне так и не удалось сблизиться с этим юношей! Он сейчас дома?

— Да, дома.

Он быстро накинул рясу и отправился к Датико. Я последовал за ним. Но к Датико он вошел один и меня с собою не позвал.

Священник пробыл у Датико довольно долго. Как только он вышел, я тут же остановил его.

— Ничего не удалось,— с грустью сказал мне священник.— Человек он, видно, упорный, на своем стоит. Дай бог ему сил на доброе!

Утром, перед самым отъездом, когда вещи наши

были уложены и лошади запряжены, я побежал к священнику.

— Так, значит, едешь, Габриел? — с грустью сказал мне священник.

— Еду. Что же мне делать? — спросил я так, что, если бы он сказал мне не ехать, я бы, пожалуй, остался.

— Надо ехать! Ты человек подневольный: тебе не остается ничего другого.

Я промолчал. Подошел к нему под благословение. Он перекрестил меня и сказал:

— Прощай, мой Габриел! Будь всегда правдив, иди путем справедливости. Тогда путь твой будет истинно человеческим путем. Помни: тот, кто не стремится к добру, сам себе враг. Прощай!

Он обнял меня, как отец родного сына. Мы поцеловались и расстались. Эх, батоно, трудно, оказывается, сладить с жизнью!

Два дня спустя мы подъезжали к нашей деревне. Солнце еще не совсем закатилось, оно пылало костром на вершине горы. Я не очень радовался возвращению в деревню. У меня там никого уже не оставалось. Но когда на меня потянуло родным ветерком, сердце мое забилось. Я увидел этот лес, эти горы и долины, эти луга и поля, и чувство отрады переполнило мою душу. То, что овладело в ту минуту моим сердцем, не походило ни на радость, ни на печаль. Как бы некая солнечная тень упала на мое сердце; казалось, печаль растворяется в радости, а радость в печали. Тихо и сладостно билось мое сердце. Я весь ушел в слух, все вокруг передавало мне новости о чем-то прекрасном, но давно-давно позабытом. Если бы кто-нибудь заговорил со мною в эту минуту, это причинило бы мне боль. Я был в том краю чужаком, лишенным крова и родственных связей, в памяти моей не сохранилось ничего доброго, что бы дал мне этот край; и все же, оказывает-

ся, отчизна — великое дело для человека! Тот, кому не приходилось покидать свой край, не знает этого чувства. Вот ведь уже разрушен мост, связующий меня с миром, сегодня или завтра я навсегда распрощусь с ним, но я почел бы за великую милость, если бы мне дано было умереть на груди родной моей земли. О горе, откуда и куда занесло меня, где я умираю!

На следующий же день после возвращения домой Датико призвал меня к себе и сказал:

— Мой Габриел! У меня нет никого на свете ближе тебя. Этот дом, двор, стада и все свое имение я поручаю тебе. Помогай мне и живи сам.

Затем он подарил мне хорошее новое платье. В этом платье никто бы не отличил меня от княжеского сына.

Я принял имение, крепко взял его в руки и повел дело так, что в доме не пропадало ни на волосок хозяйского добра. Правда, многие не взлюбили меня за мою преданность князю, многие среди слуг и крепостных стали враждебно относиться ко мне. Но я не был несправедлив, бог свидетель, я никому не делал зла.

За два года дело обернулось так, что Датико стал одним из наиболее зажиточных помещиков среди окрестных князей. Но я должен признать, что и Датико не оставался передо мною в долгу. Он считал, что всем этим благосостоянием обязан мне, и обращался со мною, как с другом и товарищем.

Он был во всех отношениях превосходный молодой человек: хорош собою, щедр, безрассудно смел и благороден. Немногие из сверстников могли состязаться с ним в стрельбе и в умении владеть шашкой. Когда он вскакивал на своего карабахского коня, стройный, как тополь, с гордо закинутой головой, от него невозможно было оторвать глаз. За что бы он ни брался, все ему удавалось. Но он

страдал одним тяжелым недугом, и недуг этот повредил не столько ему, сколько мне. Это была безумная страсть к женщинам. В таких делах он забывал и честь и совесть. Если в его сердце возникало влечение к какой-нибудь женщине, он не отступал ни перед чем; ради осуществления своего желания ничем не брезговал, ничего и никого не щадил. Все и вся превращал он вероломно в мост к своей цели и достигал ее с помощью этого моста. Думаю, что под влиянием такого желания этот несчастный не пощадил бы и близкую ему по крови,— до такой разнузданности доходил он. Стоило ему увидеть красивую девушку, как он забывал обо всем. Он обесчестил много крестьянских девушек, но немало и благородных обязаны ему были позором. В остальном же,— дай вам бог столько блага, сколько хорошего было в нем!

О, если бы я не был к нему привязан, я уничтожил бы этого ловкого, стройного юношу за позор, который он сеял в родном краю! Быть может, и моя судьба сложилась бы тогда иначе. Но что было делать? Я очень любил этого во всех отношениях благородного юношу,— да, благородного во всем, кроме одной лишь страсти. Я не мог пожертвовать им, а не то мне следовало бы уничтожить его собственною рукою еще до того, как произошли все события. Он осквернил наш край, и я до сих пор дивлюсь тому, как не нашлось никого, кто бы решился одною единственною пулею сравнять с землею этого поистине низкого человека! «А что же ты делал?» — подумаете вы, быть может. Что я делал? Да, вы вправе задать мне этот вопрос и осудить меня. Я возмущался, но не то нерешительность, не то любовь к нему обезоруживали мое сердце до тех пор, пока мы с ним не столкнулись на одной дорожке. Он не посторонился и не уступил мне дороги. Не уступил ему и я.

На краю нашей деревни проживал зажиточный крестьянин, крепостной нашего помещика по имени Пепия. Это был добрый, почтенный, пожилой человек, пользовавшийся в деревне большим уважением.

Была у него, шени чириме, дочь — мне на несчастье,— девушка удивительной прелести, красивая, легкая, как джейран[1]. Пепия души в ней не чаял. Кроме нее, у недавно овдовевшего Пепия не было ни единой близкой души. Многие из зажиточных крестьян сватались за его дочь. Но он никому не отдавал ее. Казалось, ему жаль расстаться с этой единственной своей жемчужиной. Девушка была так хороша, шени чириме, что увидишь ее и не оторвешься: белая, румяная, чернобровая, черноглазая, высокая и стройная. Немало девушек из княжеских семей могли бы позавидовать ее гордо изогнутой, как у джейрана, шее, красоте ее агатовых глаз, агатовых волос, ее стану, гибкому, как тростник. Очень была она, на мою беду, хороша.

На горе, видно, случилось так, что дочь Пепия попалась мне где-то на глаза. Увидеть ее означало для меня загореться огнем любви. Я вспыхнул любовью и мечтой, точно порох от искры.

Да что долго рассказывать! Оказалось, и девушка не осталась равнодушной ко мне.

Куда я теперь гожусь, шени чириме? А тогда у меня было мужество, была смелость, было мне двадцать лет, я был человеком. Не ради хвастовства говорю: был я не последним среди моих сверстников, да и недурен собою...

Однажды она была на току, стояла на доске от молотилки. Я прошел мимо, она мне тихонечко улыбнулась. Сердце во мне развернулось и зацвело, как почка на дереве от солнечного луча. Взошло для меня солнце, озарился мир! Мое одинокое сердце

[1] Джейран — лань.

забилось, и забилось так, что вот до каких лет я дожил, а с тех пор оно уже никогда больше так не билось. Эх, жизнь угрюмая, быстротечная, ты лишила меня и этого!

Был полдень, я возвращался с виноградника. Войдя в проулок, я заприметил в другом его конце меж изгородями мое солнце: она шла с обедом на ток к отцу. Сердце мое на мгновение перестало биться, голова закружилась, в глазах потемнело. Я, взрослый, сильный мужчина, зашатался и припал к изгороди. Пусть враг твой умрет так быстро, как быстро я собрался с силами и пришел в себя! Все это продолжалось с минуту, не больше... Она тоже увидала меня; вздрогнула, как лань при виде охотника, и быстро повернула обратно. Я, недолго раздумывая, погнался за ней. Она шла бесшумно, быстро, словно спасалась от врага. Я нагнал ее уже на лугу под орехами и крикнул:

— Девушка! Ты зачем так бежишь? Я же не волк, а человек!

Она не отозвалась и даже не обернулась. Юноша я был гордый, самолюбивый, и кровь ударила мне в голову. Я рванулся и в два прыжка очутился перед ней.

— Не беги, шени квнесаме,— сказал я и склонил перед нею голову.— Жизнь свою отдаю в твои руки, делай с ней, что хочешь!

Она нахмурила брови и взглянула на меня так сурово и гневно, что я не выдержал и, задрожав, отвел глаза... Я задрожал!.. Я, сильный, мужественный человек, почувствовал страх перед беспомощной, хрупкой девушкой! Какая сила оказывается в человеке, даже не обладающем силой!

— Пропусти! — сказала она повелительно и гордо.— У меня отец и честь моя.

— Да сохранит их тебе господь,— ответил я чистосердечно, но душой моей овладела безнадеж-

ность.— Я пришел к тебе, не думая ни о чем дурном. Сердце мое и желание так чисты, что им хоть свечой перед иконою гореть. Я хотел бы одного: дорожкой постлать тебе под ноги мое сиротское сердце. Ты не хочешь этого? Так дай тебе бог всякого утешения, прекрасная моя девушка, а на меня пусть падут все твои беды! Ты говоришь — пропустить тебя? Я уступаю тебе дорогу! Путь добрый! Пусть бог пошлет тебе одни радости, а мне — невзгоды и горе.

Сказал и тотчас же отошел. Она не шевельнулась и еще раз взглянула на меня. В озерах ее глаз уже не было гнева. Радостно стало у меня на сердце. Судьба обратила ко мне лицо свое. Надежда и мужество возвратились ко мне, и я сказал ей:

— Девушка, зачем ты хочешь испортить мне жизнь? Чего ты боишься и дрожишь, словно лист на осине? Пусть в ярости обрушится небо, пусть разверзнется подо мною земля, если у Габриела есть какая-нибудь дурная мысль о тебе!

— Оставь меня!..— сказала она с таким выражением, какого не бывает у того, кто в самом деле хочет, чтобы его оставили.

— Не оставлю, пока не узнаешь, как жаждет тебя мое сердце! Не бейся же, как неразумный голубь! Любовь к тебе запала мне в сердце. Будь моей женою, я буду твоим мужем, жемчужина моя. Только ответь мне! И пусть сгинет сиротливая моя голова, если Габриел чем-нибудь тебя обидит!..

Она молчала, а я все не мог остановиться.

— Пускай я умру, Тамро,— начал я снова,— пускай умру, если подумаю о другой жене, кроме тебя. Отзовись же, шени квнесаме! Вот я, сирота, весь, каков есть, перед тобою. Не допусти, чтобы я проклял день своего зачатия, не губи меня, прими мою жизнь. Будь моей женою, а я тебе буду мужем.

Скажи мне что-нибудь, шени чириме, не то душа моя вот-вот замрет у твоих ног от ожидания.

Она не отвечала.

— Тамро, взгляни, как я иссох от одной только этой минуты ожидания! Дай мне услышать твой чудесный голос! Я слушаю тебя, я жду ответа с остановившимся сердцем, затаив дыхание. Ответь же! Скажи, хочешь ли ты меня? Если не хочешь,— скажи прямо, не стесняйся. Не жалей меня. Я бедный сирота, но из твоих уст я стерплю даже божий гнев, не то что немилость злосчастной судьбы. Не дай мне исчахнуть в ожидании, скажи мне, скажи!

При этом я схватил ее за руку. Когда я коснулся ее, точно молния скользнула от мозга к сердцу, дрожь прошла по жилам. Она вздрогнула, но ей не захотелось вырвать руку из моих рук. Она не только не рассердилась, она даже улыбнулась. Стройный ряд жемчужных зубов между алых губ был как радуга. Сердце мое налилось радостью. О горе, какой это был день, и какой темный конец судила ему судьба!

— Пусти! Что привязался? Нехорошо, народ кругом ходит, стыдно.

— Стыдно тому, у кого на душе дурное. Я не отпущу тебя. Если отпущу, душа моя отлетит вслед за тобою. Ты ответь мне на мои мольбы, а там — хоть жизнь мою возьми.

— Что же тебе сказать?

— Скажи «да» или убей и скажи «нет»!

— Напрасно ты так отчаиваешься! Чем желать тебе смерти, я лучше скажу тебе: да! — промко крикнула она мне и воскресила меня из мертвых. Сказала, вырвала руку и скрылась, точно дыхание ветра. Улетела голубка моя, покинула Ноев ковчег, но оставила в руках моих зеленую ветвь. Улетела, а я прирос взглядом к плетню, за которым она скрылась.

Дай бог ей всякого блага! Если бы в нашей ми-

молетной жизни человеку часто приходилось испытывать такие минуты, жизнь стала бы раем. Но потому жизнь и зовут мимолетной, что все в ней длится недолго. Все, кроме страдания. Исчезла она, точно сновидение, и ни одной такой радости мне уже не удалось вымолить у судьбы. Исчезла, а вместо нее мне даровано было то, что вы видите. Образ этой радости бесплодно покоится в глубине моего сердца. По милости судьбы я припал губами к источнику бессмертия, но вода его, в конце концов, обратилась для меня в яд. Недаром сказано:

Кто поверил в мир неверный, жизнь свою закончит сирым.
Даже храбрый не избегнет вероломства бытия.

Эх, и наскучил же я тебе всеми этими жалобами, шени чириме, но что поделаешь! Поделиться бедой, говорят,— отрада.

VIII

Однажды в воскресенье Датико пошел в церковь, а после службы он был зван к кому-то на обед. Не сиделось и мне, я решил пройтись мимо усадьбы Пепия. Заглянув через плетень, я увидал Тамро. Она лежала в тени орехового дерева на зеленой лужайке. Одним прыжком перескочил я через плетень. Тамро чуть вздрогнула, но, увидев меня, успокоилась. Мы давно с нею тайно встречались, но я ни разу не решился даже поцеловать ее.

— Это ты?— сказала она, когда я подошел к ней поближе и прилег рядом.

— Я, шени квнесаме! Отчего ты такая грустная, моя радость?— спросил я, заметив, что она чем-то обеспокоена.

— Сегодня у меня нехороший день.

— Почему? Горе тому, кто посмеет причинить тебе худо! Ты чем так озабочена?

— Есть причины.

— А все-таки?

— Отец сегодня не в себе возвратился из церкви.

— Ты была сегодня в церкви?

Я вскочил на ноги и так резко задал свой вопрос, что Тамро удивилась.

— Была,— ответила она.— Почему ты так вспыхнул?

— Господин был там?

— Да, был. Он стоял на паперти у выхода, когда я проходила мимо него.

— Ты прошла мимо него?— протянул я и заскрежетал зубами.

Я стоял перед нею в оцепенении, мертвенно-бледный, словно насмерть раненый пулей. Долго, долго глядел я в глубокие провалы ее черных глаз. А она удивленно смотрела на меня. Я не сказал ей ни слова больше. Казалось, досада овладела мною. С болью в сердце я перескочил через плетень и пошел домой, чтобы узнать хоть что-нибудь.

Я тотчас же догадался, чем озабочен Пепия. Оказывается, в то воскресенье Датико, увидав Тамро в церкви, спросил Пепия:

— Чья это девушка?

Пепия дрожащим голосом ответил, что его дочь.

— Вкусная, недурно бы поцеловать такую!

Несчастный Пепия так и обмер, поняв, что дочь его понравилась господину. Он хорошо знал, что значит понравиться господину и что от этого может произойти...

Узнав обо всем этом, я поклялся, что скорее умру, чем позволю кому-нибудь ее опозорить.

Вы, может быть, не поверите мне, но пусть душа моя пойдет в ад, если в ту воскресную ночь мне не явился во сне священник. Печально стоял он передо мною и, о чем бы я его ни спросил, повторял лишь одно:

Надо другу ради друга быть готовым к испытаньям,
Сердцем быть созвучным сердцу и мостить любовью путь[1].

А потом я во сне обнял его колени и стал, слезно рыдая, жаловаться на постигшую меня беду:

— Укажи, что мне делать, как быть?

Он мне ничего не ответил. Уходя, он оглянулся на меня и тогда только сказал:

Отдал дар — твое богатство, скрыл — потеряно навек.

Ваша воля верить мне или не верить, но хочется мне, чтоб поверили, потому что все это правда. Говорю вам об этом, как на духу.

Пришло утро. Лучше бы для меня и вовсе не забрезжил его свет! Я был в подавленном и раздраженном состоянии, не знал, что предпринять. Никому не рассказал о том, что довелось мне узнать. Я весь сжался перед лицом судьбы моей, но настороженно глядел в оба. «Буду следить,— сказал я себе.— Не во всякой ведь туче гром». Порою жестокая боль сжимала мне грудь. А что, если Тамро?.. Но нет, я тотчас же отогнал эту мысль прочь...

Вот таково было мое состояние, хотя пока ниоткуда не было слышно ни о чем страшном.

Однажды я сидел вместе с другими слугами, когда вдруг услышал голос господина: он звал к себе Гито. Была уже ночь, пришло время ложиться спать. Гито был доверенным Датико, неизменным пособником в развратных его похождениях.

Гито вышел, я незаметно последовал за ним и тихонько прокрался в темную комнату, смежную с комнатой Датико. У Датико горела свеча. Затаив дыхание, я стал у двери и прильнул ухом к щели, словно меня приколотили к ней гвоздем. Гито стоял

---

[1] Из поэмы Руставели, перевод Г. Цагарели.

спиной ко мне, Датико ходил взад и вперед по комнате. Затем, поровнявшись с Гито, он остановился и спросил:

— Дом Пепия знаешь?

— Прикажете, найдем,— ответил Гито.

— Дочку его видел?

— Еще бы не видеть, шени чириме! Ну и девчонка! Другой такой не сыскать на свете.

— Если так, знаешь, что делать,— ты малый не промах.

— Будь спокоен! Раз взялся,— отвечаю. Девчонка к тому же на выданьи.

— Устроишь дело — будет тебе новая чоха [1]. Нет — повешу, как кошку на заборе.

— Воля твоя, дело не трудное. Вот что только нехорошо: у девушки есть возлюбленный, и они уже сговорились пожениться. Да неважно, впрочем: бабе — платье с вышивкой, и готово дело!

— Честь-то она еще не потеряла?

— Невинна, как голубка.

— А кто ее возлюбленный?

— Наш Габро.

— Габро?— протянул Датико и замолк.

Я весь ушел в слух, я думал, что Датико вот-вот сейчас или немного поразмыслив скажет: «Я не трону эту девушку, и ты, Гито, оставь ее в покое». Но напрасны были мои надежды! Человеческого благородства Датико не хватило на такой поступок. Он обернулся к Гито и сказал ему так спокойно, как будто предпринимал какое-то доброе дело:

— То, что ты сказал, мне неприятно, но ничего... Делай, как приказано, а с Габро мы поладим...

Я был до глубины души потрясен тем, что услышал, и тотчас же ушел от этих детей греха и зла. Не знаю, о чем они говорили дальше, знаю только,

[1] Чоха — грузинская национальная одежда,

что в этот час рухнул мост между мною и Датико, и тогда же что-то оборвалось в моем сердце. «Поладим!» Горе тебе, Габриел, плохо же он знал тебя!

Медлить было невозможно. Я должен был что-нибудь немедля придумать, чтобы несчастная девушка не попала в ловушку. Я решил пойти к Пепия и обо всем рассказать ему. Когда я подходил к его дому, давно уже отошла пора крестьянского ужина. Сияла луна, и весь наш грешный мир был залит ее лучами так, что казалось, это он сам стал вдруг невинным и засветился блеском этой невинности. Пепия я увидел в дерепани[1]. Он, бедняга, стоял на коленях. Я бесшумно подкрался и спрятался за столб. Долго что-то бормотал про себя и бил себя в грудь несчастный отец и затем, словно забывшись, горько зарыдал и вслух взмолился создателю:

— Тебе, господи, поручаю невинную Тамро! Не дай ей ступить на путь неправедный, господи, ты — прибежище правых, не допусти, чтобы я увидел позор и гибель моей дочери!..

Он поднялся с колен, этот несчастный, провел рукою по глазам, словно отирая слезу, еще раз ударил себя в грудь и направился к двери. Тогда я крикнул:

— Здравствуй, Пепия!

— Кто это? Чего тебе тут нужно среди ночи, если ты не злой дух? — сердито отозвался Пепия.

— Не со злом пришел я к тебе, не думай! Мне нужно с тобой поговорить, — напрямик сказал я ему.

— Кто же ты? Кто?

— Твой доброжелатель, Габриел...

Пепия охватил ужас: должно быть, он вообразил, что я подослан господином сговориться о девушке.

---

[1] Дерепани — крыльцо в виде широкого балкона по всему фасаду одноэтажного дома.

Вот почему он так негодующе-гневно отозвался на мои слова:

— Не о чем мне с тобою разговаривать! Пришел бы ты по добру, так не стал бы прятаться от света. В такое время — пес и тот спит.

Сказав это, он собрался уходить, но я удержал его за руку.

— Ты что, не слышишь, злосчастный? Важное, говорю, дело привело меня к тебе,— ответил я.

— Какое дело может быть у слуги такого господина, как твой? Один грех и погибель! Чего вы, сынок, от меня хотите? И не жалко вам слабого, беззащитного старика? Бога вы, что ли, позабыли?

— И бога не позабыл, и то помню, что он добро велит делать.

— Хорошо,— оборвал он меня,— ладно. Знаю я, какое добро в вашем сердце сокрыто!

— Пускай умрет это сердце, если в нем таится измена тебе,— твердо и решительно прервал я его.

— Оставь меня в покое! Немало перевидал я таких ехидн в жизни,— вползет в самое сердце и тогда выпустит яд. Уйди от меня, не вводи меня в грех. Видишь, немощен я. Силою взять меня легко, а обмануть трудно. Оставь, не соблазняй меня сладкими речами! Ты хочешь, чтобы я помог тебе в том, что мне же грозит бедою? К чему обманывать меня? Для чего вам лукавить? Чтó я значу против вас, когда за вами вся сила? Подойдите открыто и отравленной стрелой пронзите мое сердце,— к чему все эти хитрости ваши? Делайте, что хотите! Я вверил богу желания моего сердца, ему вы и дадите ответ.

Бедняга не выдержал и стал горько плакать. Больно было и мне, я горел жалостью к нему.

— Несчастный ты человек, ты во всем отчаялся! — сказал я с теплым сочувствием.— А я пришел положить за тебя свою голову. Почему ты принимаешь меня за злодея? Почему ты мне не веришь?

Я никогда не делал тебе худа. Горе мне! Не клевещи на меня без причины. Ты, видно, не знаешь Габриела! Пусть в пепел и прах обратится тут же на месте моя сиротская голова, если мысль об измене хотя бы когда-нибудь мелькала в моем сердце. Горе мне! За что позоришь ты мою юность? Что я сделал тебе дурного? Не губи навеки душу свою клеветой! Доверься мне и увидишь, какой я человек. Клянусь тебе, я пришел ради твоей же пользы. Поверишь — хорошо, а нет — так я все равно не пожалею своей головы ради тебя.

Мои слова тронули его и расположили ко мне. И как! Он крепко обнял меня и, припав к плечу, зарыдал.

— Прости меня, прости! — жалостно плакал Пепия.— Бог свидетель, я никогда не видел от тебя худа, но что же мне делать? Что делать мне, несчастному? Дитя мое погибает, мое родное дитя. Моя плоть, моя кровь! Единственную дочь хотят похоронить заживо. Слышишь, мой Габриел! Дочь гибнет, дочь! Попробуй, не будь недоверчив! Прости, прости, если обидел тебя злополучный отец, старик обезумевший. Что мне делать? Родная моя дочь, Габриел, моя плоть и кровь! Кому мне довериться среди людей, полных греха? В этом деле я не доверюсь и брату, родному брату. Но тебе, лукавишь ты или нет, я верю. Ничего от тебя не боюсь. Делай, как знаешь. Хочешь — растопчи меня, как змею; хочешь — спаси мою душу от погибели. Делай то, что подскажет тебе молодое, мужественное твое сердце. Ты видишь сам: я уже ничего не могу. Пожалей меня, не дай увидеть бесчестия моей Тамро! Лучше сам, своею рукою ударь ножом и избавь отца и дитя его от бесчестия. Заживо положи меня в могилу, землею засыпь, но сделай так, чтоб не увидеть мне, как мою Тамро... Горе мне, дитя мое!..

Тут несчастный зарыдал так горестно, что захлеб-

нулся в слезах, речь его внезапно оборвалась, слова застряли в горле, язык оцепенел. Господи, потоками льются такие слезы по сотворенной тобой земле, но они все еще не смыли злобу человеческую. Слава твоему долготерпению!

Скорбь Пепия передалась и мне. Заплакал бы и я, если бы мне не было стыдно. Я стоял перед ним пришибленный, оцепеневший. У меня не было сил сказать ему хоть слово утешения или надежды. Я не владел ни мыслью своею, ни словом. И так я стоял перед ним, словно лишившийся рассудка. Наконец, видя, что он никак не успокаивается и что скорбь совсем надломила его силы, я сказал:

— Успокойся, подумай, ты же мужчина! Не надо бояться,— не во всякой ведь туче гром. Бог милостив, все уладится.

— О, шени чириме, Габриел! — ответил он.— Так, так, милый... Воля твоя, делай, как хочешь, сын дорогой. И вправду, бог милостив. Не надо терять последний разум, пока ничего еще не случилось. Что я совершил такого, чтобы господь отвернулся от меня? Вот, дорогой, утру слезы и успокоюсь, а ты уж помоги мне, шени квнесаме, шени!

Я, попрежнему не зная, что ему сказать, промолчал.

Пепия заговорил снова:

— Знаешь, мой Габриел, пойду-ка я к господину, упаду в ноги и буду целовать следы его. Припаду к коленям,— может быть, мне удастся его разжалобить. Человек же он все-таки! Увидит, как я жалок и несчастен, и смилостивится.

— Плохо знаешь ты господина.

— Так что же мне делать?— горестно завопил он, видимо теряя последнюю надежду.

— Доверь все это мне. Помоги только в одном: будь настороже и особенно берегись Гито. Гито —

собачья душа, подкрадется, как скорпион, и ужалит. Все остальное предоставь мне.

— Так, шени чириме, так! Пусть господь вознаградит тебя за это.

Мы замолчали. Пепия опустил голову и о чем-то задумался. И у меня была своя тревога, и эта тревога полонила всю мою душу. Молчали мы долго. Время от времени то он кидал на меня взгляды, то я на него, но слов не было. Было ясно, что он хочет мне что-то сказать, но, видимо, не знает, с чего начать. И я ему хотел что-то сказать, но не решался, боялся, как бы он не принял это за дурное. Пепия еще ничего не знал о нашем с Тамро сговоре.

— Габриел,— произнес, наконец, Пепия.— Судьба оставила мне единственную дочь, и, кроме нее, у меня нет никого во всем этом огромном мире. Пускай она станет твоей женой, ты ее мужем, а я отцом вашим. Что ты на это скажешь?

Я не верил своим ушам, не верил, что так легко сбылась моя мечта и ушла из сердца тревога. Мной овладела такая радость, что я, глупец, не нашелся, что сказать в ответ, и только смотрел на него, не отводя глаз.

— Ты что молчишь?— снова сказал Пепия, не дождавшись ответа.— Не хочешь — скажи, я не обижусь. Жениться ведь можно только по доброй воле.

— Я не хочу? Да как мог ты сказать такое? Это же заветное мое желание! О, как я благодарен судьбе своей! Вот и сбылась мечта моя! Эх, проклятие, не умею я выразить... Прямо скажу: мы уже сговорились пожениться. Теперь, когда и твоя на то воля, и собака на судьбу мою не залает. Да благословит бог тебя и весь мир за то, что под этим небом мечты не остаются пустыми мечтами!

Когда Пепия услышал, что мы уже сговорились,

он побледнел и какое-то беспокойство отразилось у него на лице. Он ничего не сказал, но я заметил, что дурные мысли снова завладели этим недоверчивым человеком, и потому тотчас же добавил:

— Мы сговорились пожениться, но мы ни в чем не повинны ни перед тобою, ни перед богом. Любовь наша чиста, как прозрачный горный родник. Если солнечный луч может замутить родник, тогда и любовь наша замутила наши сердца. Пусть гневом поразит меня небо и отвергнет земля, если в сердце нашем шевельнулось хоть зерно греха. Не тревожься!

Он поверил искренности моих слов. Этот прямой, честный человек так же быстро верил доброму, как легко заподозревал в дурном.

— Убей меня, уничтожь тут же на месте, мой Габриел,— сказал он, раскаиваясь.— Сравняй меня с землей! Проклятье, дурное у меня сердце, недоверчив я, недоверчив! И к тому же очень я люблю несчастную свою дочь. Убей меня, уничтожь! Дурное сердце у меня, грешное, дурное! Будь ты мне сыном, а я тебе отцом. Чего мне еще желать, глупцу этакому!

Дай вам бог столько радости, сколько было ее во мне, когда я возвращался в ту ночь домой! Мне нечего было больше желать. Жила во мне одна единственная мечта, и вот она нежданно-негаданно сбылась. Я шел домой, и мне казалось, что судьбе моей завидуют и эта сияющая луна, и мерцающие звезды. На небе не было ни облачка — и в моем сердце тоже. Как хороша была эта благодатная ночь! И что было общего между мною и злодейством? Почему же оно опутало и погубило меня, меня, который так стремился к добру? Как знать? Возможно, я был бы теперь честным тружеником и жил бы в окружении жены и детей. И было бы кому оплакать меня после смерти. Родная рука схоронила бы меня в

землю, близкие мне пролили бы надо мной слезы, и не стал бы я, как сейчас, добычею псов и хищных зверей... Пусть падет моя гибель на голову злодея! Я уже не жилец на свете, я стою одною ногою в могиле, не сегодня-завтра придет за мной смерть,— и все же сердце мое обливается кровью, когда я вспомню о пережитом! Священник часто поучал меня, что надо прощать и врагу. И я готов повторить его слова, но повторяют только мои уста, в сердце же моем гнездится совсем иное, горькое чувство. Все это ложь! Человек никогда не полюбит своего врага!

IX

В ту счастливую ночь сон бежал от моих глаз. Радость и горе, оказывается, одинаково прогоняют сон.

Едва рассвело, я вскочил на ноги. Сердце мое было все еще полно счастья минувшей ночи. Я радовался утренней заре, синему небу, умытой росой земле, и мне казалось, что и земля и небо радуются, глядя на меня. Если б я, Тамро и Пепия были в ту пору одни на земле, рай перестал бы быть мечтою. Но, кроме нас, на свете было еще много людей, и среди этих многих был и наш господин, Датико, тот самый, что сказал Гито: «Мы с Габриелом поладим». Мне вспомнились эти слова, и рай мгновенно превратился для меня в ад: дрожь пробежала по телу, суставы заныли от боли, зубы непроизвольно заскрежетали, руки сами собою сжались в кулаки, как бы для того, чтобы задушить всякого, кто станет на моем пути. Если б я в это мгновение увидел Датико,— будь он мне даже братом, родным братом,— я бы тотчас убил его. Не подумай, что это во мне от злобы, но если сердце вдруг ожесточится, оно уже не знает прощения! Я вышел за ограду усадь-

бы. Я весь дрожал от гнева и уж не помню как, каким путем очутился вдруг перед садом Пепия. Едва увидел я этот сад, этот плетень, окружавший родное гнездо моей Тамро, я как бы проснулся и пришел в себя. Заглянул через плетень: Тамро сидела у ручья, протекавшего через сад, и стирала в корыте белье. О горе,— как хороша была в то прекрасное утро эта прекрасная девушка! Уж не знаю, утро ли красило ее, или она утро. Неподалеку от нее стоял Пепия, опершись на заступ, и что-то говорил Тамро. Я превратился в слух:

— Эй ты, эй, маленькая плутовка! Что ты натворила, а? Смотри у меня! — говорил Пепия, грозя пальцем.

— Да о чем ты? Никак не пойму! — ответила Тамро и уставилась на него своими глазами-ежевиками.— Что же я натворила такого?

— Хм, что натворила? Притворяется, будто ничего не знает, будто и мне знать-то нечего! А мне птичка весть принесла...

— О чем же ты, о чем?

— Ах ты проказница! Не прощу я тебе, ни за что не прощу! Тю, что ты скрывала от отца, так за тобою и останется.

— Клянусь отцом, умереть мне,— не пойму, о чем говоришь!

— Ну погоди, плутовка, погоди,— улыбаясь, твердил Пепия,— отдам тебя замуж, да такого тебе мужа найду, что все дни свои проклянешь, погоди!

— Ты во сне или наяву бредишь? Что ты плетешь?

— Да, сон рассказываю! Вот как отдам тебя за дурака замуж,— так сон и станет явью. Погоди-ка!

— Бог ты мой! Пристал — никак не пойму, в чем дело?— сказала, рассердившись, Тамро и принялась с силою тереть белье, словно на нем хотела выместить досаду.

— Тогда ты по-другому засвистишь! — сказал Пепия.

— Засвищу? Что я соловей, что ли? — поджимая губки, проворчала красивая девушка.

— Поживем — увидим! — не отставал Пепия.— Я-то свое прокукарекал и...

— Что прокукарекал? — сказала дочь и в упор взглянула на отца.

— То, что отдам тебя замуж за дурака.

— Опять за старое! Пусть сгинет он раньше!

— А что? Не нравится?

— Отец, отстань от меня, ради бога! Ты что-то не в себе сегодня с утра.

— А вот не отстану, плутовка ты!

— Говорю, отстань, не растравляй!

— Я нашел тебе мужа.

— Я не выйду, не старайся!

— Значит, не выйдешь?

— Нет!

— Почему?

— Потому!

— Ну скажи!

— Потому!..

— Ни за кого не выйдешь? Ни за кого?

— Будь он хоть двух царей сын,— не выйду! Доволен теперь? Отстанешь?

— Ты, я вижу, и за Габриела не пойдешь?

Пепия, говоря это, с испытующей улыбкой уставился на дочь.

Взглянул и я на Тамро. Она застыдилась, вспыхнула, опустила голову и не нашлась, что сказать отцу. Отвернулась от него, вспомнила о белье и снова принялась за стирку, правда, без всякой охоты. И ясно, суть была не в стирке, а в том, чтоб побороть охватившее ее замешательство.

— И за него не выйдешь? — продолжал Пепия.— Воля твоя, я неволить не буду...

Тамро покосилась на отца и, снова улыбаясь, опустила красивую головку.

— Уж не в монашки ли собралась, мать моя?— шутил Пепия.— И на то твоя воля, спорить не буду. Отзовись! Куда провалился вдруг твой проворный язычок? Тебе говорю: ты что — не слышишь?

Пепия наклонился и потянул Тамро к себе. Она покорно встала.

— Может, ты дала кому-нибудь обещание? Может, ты кого-нибудь уже поймала в сети?— смеялся Пепия.

— Отстань! Вот пристал ко мне!

— Нет, признайся! Говорю, признайся,— кто в сети попался?

— Что тебе от меня нужно? — ворчала Тамро.

— А ну-ка, будь честной женщиной, скажи, как есть!

— Да ну, боже мой — не отстанешь ты?

Тамро выскользнула из рук отца и убежала.

— Иди сюда, дочка, пошутили мы с тобою и довольно,— сказал Пепия уже серьезным тоном.— Если ты стыдишься сказать,— иди сюда, моя надежда,— я за тебя скажу. Отца стыдится только тот, у кого совесть не чиста. Ты же не такая, моя радость! Иди ко мне, дочка, иди.

Тамро остановилась. Пепия направился к ней. Отец приблизился к дочери, обнял ее и тепло сказал:

— Габриел мне все рассказал, хорошая моя. Я знаю все, и дай вам бог прожить до старости вместе так же сладко, как сладок леденец. Сама знаешь, кроме тебя у меня нет никого на свете, шени квнесаме, шени! Будь ты только счастлива,— мне и смерти не страшно. Габриел хороший, честный парень, руки у него крепкие, силы достаточно, а крестьянину больше ничего и не нужно. Он будет беречь тебя, как глаз свой. Ты моя единственная

надежда на свете. Хорошего хозяина выбрал для тебя господь, слава ему! Умри я сейчас у твоих колен — и то мне не о чем особенно горевать. Какая у меня может еще быть забота? Если господь позволит мне дожить до того, что я еще и детей твоих увижу,— так уж на судьбу мою и собака не залает!.. Габриел, правда, парень не богатый, но для крестьянина бедность не порок. Земля все даст. Стоит только руку к ней приложить, и всякий ею сыт будет. На худой конец и у меня всего вдоволь. А мне на что все это? Хлеб, вино, земля — все ваше. Пусть все это вам, дитя, на пользу пойдет. И я, пока жив, покопаюсь еще вам на доброе здоровье. А умру — поступайте, как знаете, и пускай вас совесть ваша научит, как почтить меня после моей смерти.

Услыхав все это, я не выдержал и ушел. Их нежная любовь друг к другу взволновала меня, на глаза навернулись слезы. Как хорош бывает иной раз этот неладный, быстротечный мир! И добра и зла, шени чириме,— всего в мире поровну.

Горечь моего сердца развеялась, когда я услышал беседу отца с дочерью, надежды вновь зародились в нем, и я вдруг повеселел. В моем сердце уже не было места вражде и злобе. Я подумал: «Я им помешаю сейчас, если попадусь на глаза», да и пошел домой. Не знаю, чем кончилась их беседа. Знаю только, что в ту минуту они были счастливы.

Проходили дни, проходили ночи. Я зорко следил за Датико и Гито. Чувствовал, что чем дальше, тем хуже относится ко мне Датико. Как два врага, выжидали мы оба: а ну, кто первый кинется в схватку? Но пока дело не дошло до схватки, я хотел поговорить с Датико насчет дочери Пепия, хотел попытаться убедить его, что лучше ему отказаться от Тамро, и тогда наша любовь расцветет попрежнему. Я рассчитывал на благородство, жившее в нем наряду со злом, но тщетны были мои надежды.

Что тут долго рассказывать? Гито все никак не удавалось добиться своего. Мы с Пепия устроили так, что у него не было случая поговорить с Тамро наедине. Это еще более распаляло упорное, нечистое желание Датико. Видимо, они меня считали причиною неудачи. Поэтому Датико подстроил мне ловушку, и я попался в нее. Как мог я себе представить, чтобы такой рыцарь, как он, проявил в борьбе со мной такую трусость?

Однажды утром Датико послал за мною, но меня не оказалось дома. Когда я возвратился, он снова позвал меня и ввел к себе в комнату.

— Где изволил быть, мой Шермадин? — спросил меня Датико насмешливо.

— Да так, просто бродил.

— Так рано?

— То, что рано для тебя, для нас совсем не рано.

— Почему ты все говоришь намеками?

— Таким уж бог меня создал.

— Послушай, ты чем-то озабочен и от меня таишься?

— Возможно.

— Нет, в самом деле?

— Ты прав.

— Так скажи, что тебя беспокоит?

— Сказать легко, воля твоя, я и сказал бы, но к чему это тебе?

— Это уж мое дело.

— Но разве я не должен знать?

— Узнаешь и ты.

Я обрадовался тому, что все так обернулось, и ответил напрямик:

— Хорошо, я тебе скажу: я люблю дочь Пепия и хочу жениться на ней.

— Что же тебе мешает?

— Пепия в трауре по жене, еще и полугода нет, как он ее схоронил, — вот что мне пока мешает,

— И глупец же ты!

— Почему?

— А потому, что женишься.

— Что же в этом глупого?

— А то, что женщина хороша только, пока она утоляет наши желания. Зачем ее взваливать себе на спину? Но я тебе не мешаю, женись. Приданое и твое устройство беру на себя.

— Ты при чем, что приданое справлять собираешься?— смело спросил я.

Я почувствовал, что мы подошли к развязке.

— Девушка — моя,— бесстыдно сказал он мне.— Оттого и обещаю приданое, что сначала она будет моей.

— Что ты сказал?— крикнул я, задрожав.

— Сказал то, что ты слышал,— спокойно ответил он.

— Датико! Я крепостной, ты господин,— заговорил я горячо, с мольбою в голосе.— Молю тебя, не становись на моем пути. Возьми себе взамен мою сиротскую голову, но не вырывай из моего сердца мою любовь к тебе и мою верность! Датико, если любишь бога и веришь в создавшего тебя, выбрось из головы мысль об этой девушке. Не отталкивай меня, я вырос вместе с тобою! Шени чириме, Датико, не вводи меня в грех! Ты такой благородный, такой мужественный человек, разве мыслимо, чтобы ты не мог совладать со своим сердцем! Будь милостив, убей в себе эту страсть: я готов отдать тебе все, только не честь этой девушки. Она — моя.

— Говорю, раньше она будет моею,— перебил он меня,— потом пускай будет твоей, или чьей угодно...

— Датико! Шени чириме, не навлекай на нас беды, не вводи меня в грех. Отдай мне эту девушку, пусть вознаградит тебя господь!

— Когда я возьму свое, уступлю тебе, с богом!

— Ты так решил? Ты не шутишь? — спросил я, и сердце точно подкатилось к горлу.

— Что я ровня тебе, чтоб шутить с тобой?

— Да не покроет Габриел шапкой голову, если ты добьешься своего!

— Да, как бы ты не стал мне поперек дороги! — ответил он с презрением и насмешкой в голосе.

— И стану, и хуже будет!

— Это что — угроза?

— Была бы власть грозить, как говорит Фридон [1].

— Стыд и позор тому, кто отступит перед таким, как ты!

Сердце мое колотилось. Я слышал его неистовый бой. Казалось, оно не помещается в груди. В мозгу молнией сверкнула мысль убить Датико, но я сдержался и победил это дьявольское искушение.

— Датико! На что ты меня толкаешь? Ведь ты же обрекаешь меня на гибель! Пожалей твоего Габриела.

— Хоть в воду...

— Девушка любит меня, Датико, меня одного! Мы перед богом дали друг другу слово.

— Да посрамит бог и тебя и ваше слово!

— Датико, ты во власти злой своей судьбы!..

— Убирайся вон отсюда!

— Датико! Неужели тебе не жалко ее старика-отца? Она одна у него, единственная. Не доведи до того, чтобы он тебя проклял.

— Убирайся! — вскричал он.

— Датико, тебе не жаль этого божьего создания, невинной девушки? Не отнимай у нее чести! Подари ее мне!

— Потом подарю.

— Потом, не сейчас? Бессовестный ты человек! — вскрикнул я и, потеряв последнюю надежду, яростно

---

[1] Фридон — один из героев поэмы Руставели.

схватился за кинжал. Но едва успел я на шаг ступить к Датико, как из соседней комнаты выскочили трое скрытых там заранее слуг, кинулись сзади и вцепились в меня. Я выронил кинжал. Изо всех сил встряхнул я накинувшихся на меня слуг, рассчитывая вырваться, но эти благословенные молодцы держали меня крепко, точно в железных тисках.

— Вот оно, твое мужество! Позор твоей княжеской доблести! — крикнул я Датико, чувствуя свое бессилие. — Но я еще доберусь до тебя. Зарежу бесчестного, как курицу.

Датико не ответил. По его приказу слуги отвели меня к дианбеги [1].

Дианбеги расспросил меня обо всем. И я рассказал ему все, как было, не скрыв ничего. Когда я кончил свою повесть, он спросил меня:

— Значит, ты и Пепия сговорились сегодня утром убить вашего господина?

Этот вопрос поразил меня. Я понял, что хотят запутать и злополучного отца и таким способом покончить и с ним. Я побледнел, но что я мог сделать?

— Не бери греха на душу, дианбеги, — сказал я. — Пепия в этом деле чист и безгрешен, как бог.

— Не городи вздора! — рассердился дианбеги. — Что же вы делали в ту ночь, когда ты был у Пепия?

— В какую ночь?

— Когда сговаривались в дерепани?

— Клянусь богом, верой клянусь, ни тогда, ни после у нас не было в мыслях убить господина!

— Так я тебе и поверил! Зачем же ты ходил к нему, если не ради этого?

[1] Дианбеги — становой пристав.

Я рассказал ему откровенно, о чем мы в ту ночь говорили с Пепия.

— Как бы ты меня не провел, пошли господи блаженство отцу твоему! — издевался надо мною этот судья неправедный.

Он записал все, что я ему рассказал, и велел подписаться. Написано было по-грузински, и я прочел. Мой разговор с дианбеги был записан от слова до слова. Я смело подписался. Дианбеги отдал приказ, на меня надели кандалы и бросили меня в тюрьму.

Один-одинешенек валялся я в этом мерзком месте. Как передать вам, что мне пришлось пережить, через какую муку пройти за тот единственный день, за ту единственную ночь? Боль грызла мне сердце, кровь застывала в жилах, мозг горел. Тяжело, шени чириме! Все вынесет тот, на ком есть вина. Но горе невинному! Тогда... О, тогда... Точно бешеная собака, сам себя грызет тот, кого безвинно осудили на муку! Кто сам не пережил такого дня, тот даже не подозревает, как жжет эта боль... И не дай господи никому испытать ее!

Мысль о собственной судьбе убивала меня, но еще более жгучей была тревога о Пепия и его дочери. Сказать по правде, о себе я не очень тревожился: я был одинокий, безродный юноша. Раз уж так обернулась моя судьба, я бы не очень горевал если бы меня даже и казнили. Не было у меня родителей, чтобы оплакивать меня, не было ни братьев, ни сестер, чтобы погоревать обо мне. Жил себе на свете одинокий человек, не стало его, и обратился он в прах. Пронесется порыв ветра, развеет и этот прах по лицу земли. О них горевал я, о них. Я, я один во всем этом беспредельном, безжалостном мире болел за них душою! И горе мне, что я так глупо попался... Не попадись я так опрометчиво, они бы увидели, какой я верный им друг. Но увы! Не довелось мне показать себя. Судьба и тут сломила

меня и предала. О горе, я сам своей опрометчивостью расчистил путь врагу!

Месяца через три или четыре, когда допрос свидетелей был закончен, меня перевели в большую тюрьму в нашем маленьком городке, где пребывали начальник и суд.

В этой тюрьме мне пришлось проваляться еще два года.

Эти два года я провел один, в какой-то грязной темной камере. Кто сочтет, сколько мыслей пронеслось у меня в голове? Я хорошо знал, что на мне нет вины. Но знал и то, что ежели захотят, то загонят меня и подальше Сибири.

В первое время при мысли о том, что они меня, невинного, обрекли на такое страдание, я кидался на пол и грыз в бессильной ярости землю, впивался зубами в собственное тело, до крови кусал свои пальцы. А бывало и так, что, исходя ядом отравленного сердца, я мечтал перелить этот яд, каплю за каплей, в погубителя своего, если бы только он мне попался. Но увы! Его не было! Боже великий! Не дай ни одному человеку пережить то, что я переживал иной раз в своей тюрьме! Твой ад — рай, по сравнению с этим.

Через два года мне прочли приговор. Меня приговорили к каторжным работам в рудниках, а бедного Пепия к ссылке в Сибирь! Господи, чего же ты медлишь, отчего ты не нашлешь потоп на эту исполненную греха землю!

X

Прошло еще семь или восемь месяцев, и мне, наконец, объявили, что меня отправляют. До этого часа я, глупец, все еще чего-то ждал: все казалось, подымет свой голос божественная справедли-

вость, и я, невинный, буду оправдан. Но и в этом я обманулся.

С меня сняли старые кандалы, надели другие, понадежнее, и вывели в тюремный двор. Уже близка была весна.

Человек пятнадцать по-походному снаряженных солдат выстроилось во дворе. Стали выводить остальных заключенных из других камер. Я весь ушел в себя и бесчувственно смотрел на арестантов, поодиночке выходивших во двор. Под конец вывели двух татар. За ними следом, гремя кандалами, шел сгорбленный старик-арестант с длинной белой бородой. Он шел, опустив голову, не глядя на солнце, как будто и солнце и мир уже не существовали для него. Я пригляделся и,— горе тому, кто пережил такое! — узнал Пепия. До этой минуты я и не подозревал, что он в этой тюрьме. Да, это был Пепия, но в каком же он был виде! Он так изменился и исчах, что его нельзя было узнать.

— Пепия, ты ли это? — крикнул я несчастному, пораженный до глубины души.

Он поднял голову и взглянул на меня.

— Габриел, сынок! — жалобно вскричал он.— И ты здесь? Умереть бы тебе, злосчастный Пепия! Раз так, значит, заживо похоронили мою Тамро! Горе мне, дитя мое! Теперь конец всем моим надеждам на твое спасение!

Он стал бить себя руками по голове, колени у него подкосились, он упал на землю и громко зарыдал. Меня обожгла жалость к нему.

— За что же тебя, мой Габриел? Тебя-то за что? Тебя за что? — причитал измученный человек.— Пускай уж меня, я ведь несчастный отец несчастной дочери! Но тебя-то за что, бедняга?

— А за то, мой Пепия,— ответил я горько,— что я хотел тебе добра. Но теперь нам уж ничто

не поможет. Мы все бессильны, все трое. За его спиною вся мирская сила. Не плачь! Какая цена слезам в этом мире? Не проливай их понапрасну! Если люди нас предали, бог нам воздаст.

— Эх, мой Габриел, видно, и бог не за нас! Горе мне, Тамро, дитя мое! Сам господь бог не возвратит мне твоей чести! Все для меня кончено. В мире этом для меня уже ничего не осталось...

Возможно, что бедняга сказал бы мне еще что-нибудь, но в эту минуту к нему подошел солдат, ударил прикладом и заставил встать. Пришлось замолчать и мне.

По приказанию начальника, солдаты окружили нас кольцом, и шесть арестантов, звеня кандалами, двинулись в путь. Несчастный Пепия и еще один больной арестант едва плелись. Когда мы вышли за тюремную ограду, Пепия и больного посадили на арбу. Я так привык видеть одно лишь зло, что этот поступок русских даже удивил меня.

Семь дней спустя мы подходили к Казбеку. Наступил вечер, а деревни, в которой нам предстоял ночлег, все еще не было видно. Стемнело. Арабщик крикнул, что у него сломалась арба. Приказано было всем остановиться. Солдаты уселись вокруг нас; кто курил трубку, кто принялся за еду, кто прилег. Сели и мы. Арестанты говорили о том, что завтра мы минуем границу Грузии. Услыхал я об этом, и оборвалось у меня сердце, печаль овладела мною. Казалось бы, все страны мира равны для такого человека, без роду, без племени, как я. Но, видно, Грузия для грузина — великое дело. Как бы там ни было, шени чириме, наша колыбель — Грузия, могилы наших предков — Грузия. Грузия страна, где говорят на родном нашем языке. Только ей и внятна наша речь, только здесь светят наше солнце, наша луна. Если бьется в тебе сердце, то здесь и твое сердце! Если есть у тебя любовь, то и

любовь должна быть здесь, где же иначе ей быть?

«Откуда, куда нас несет? — говорил я себе с горечью и болью. — Мне никогда уже не придется увидеть эту страну, меня никогда уже не согреет это солнце, не озарит своим сиянием луна этой страны. Уж не будет у меня никого, кому внятна моя речь. Уж не утолят мою жажду воды этой страны. И Тамро останется здесь беззащитной...»

Проносились во мне все эти мысли, горько было мне, когда вдруг до нас донесся конский топот. Не прошло и минуты, как к нам вплотную подъехали пять или шесть всадников. С криком налетели они на русских, а нам приказали:

— Спасайся, кто в силах!

Пусть так скоро умрет твой враг, как поспешно разбежались перепуганные солдаты! Но вскоре они вновь собрались и подняли стрельбу. Мы с Пепия воспользовались суматохой и кинулись вниз, с откоса, по ту сторону дороги. Этот старец бежал, точно двадцатилетний юноша. Я удивился, но тут же понял: и вправду на что только не способен человек в нужде! Какой-то всадник поскакал вслед за нами. Поровнявшись, он сунул мне напильник и пожелал нам счастливого пути.

— Скажи, кто ты? Не вижу в темноте! Назови свое имя, чтобы благословить тебя! — спросил я.

— На что тебе мое имя? — ответил он. — Кто есть, тот и есть. А хотите — благословляйте: свеча да ладан найдут дорогу.

Проговорив это, он стегнул коня плетью и скрылся в темноте.

Мы долго шли, не разбирая дороги. Пепия с трудом передвигал ноги. Я взвалил беднягу на плечи и понес его, хотя он и спорил со мной. Нести мне пришлось недолго. Мы вскоре спустились в глухое ущелье и решили здесь заночевать. Я тотчас же при-

нялся за кандалы, но лишь к утру удалось мне их распилить. Я лег и уснул.

Солнце стояло высоко, когда я проснулся. Теперь только я вспомнил, что у нас нет ни крошки хлеба. Дай бог врагу твоему пережить то, что пережил тогда я. Я не знал, что делать. Куда пойдешь в арестантской шинели? Меня бы немедленно арестовали. Пепия, правда, не жаловался, но по всему было видно, что бедняга жестоко страдал от голода. Весь тот день и следующую ночь мы с грехом пополам перетерпели голод, но помощи не было видно ниоткуда.

Наступило следующее утро, но и оно не принесло с собой ничего нового. Пепия так исхудал, что на него жалко было смотреть, глаза его ввалились, лицо осунулось, скулы выступили наружу, он весь словно развинтился. Не легки были и мои страдания — и оттого, что я видел, каково ему, и оттого, что сам впал в безнадежность, не зная, откуда ждать спасения. Пепия почувствовал это и сказал мне:

— Сынок Габриел! Я не в силах итти дальше. Я тебе только обуза. Брось меня, я уже не жилец на этом свете, да и не нужен я этому свету больше. Иди же, не губи себя еще раз попусту ради меня. Довольно и того, что с тобой уже случилось.

Слова его меня и огорчили и задели.

— Как ты мог сказать это, несчастный? — почти сердито ответил я. — Мне уйти? На кого же я тебя брошу? И какой ответ дам я богу?

— Давно уже, сынок, господь покинул меня! Мне, видно, все равно на роду написано стать добычей волков и воронья! Останусь я им на поживу... Да благословит господь твой путь, ступай, живи...

— Уйти и опозориться перед всем миром? Горе тебе, Габриел! Не дай мне, господи, дойти до этого.

Оставайся здесь — ни на шаг не отходи. Я скоро возвращусь...

Сказав это, я, недолго раздумывая, поспешно ушел от него. Я взобрался на какую-то вершину и огляделся. У подножья горы бурлила и пенилась река, вдоль ее, по сю сторону, извивалась проезжая дорога. По дороге ехал какой-то всадник. Я сбежал вниз по склону и бесстрашно кинулся к всаднику. Увидев, что это — армянин, я почувствовал себя увереннее.

— Слезай с коня! — гаркнул я армянину. Он принял это за шутку.

— Ва, зачем слезать? Что я, раб твой покорный, что ли? Разве не видишь, человек при оружии едет?

Не дав опомниться, я потянулся к нему, сорвал с него винтовку и заорал, решительно на него наступая:

— Слезай, говорю! Не то, смотри, костей не соберешь!

Пусть враг твой сгинет так быстро, как внезапно побледнело его лицо! Увидев, что я не шучу, он соизволил сойти с коня и сказал испуганно:

— Ва, разве обижу тебя я из-за какого-то коня? Пожалуйста, бери его вместе с седлом! Одно седло стоит двадцать пять рублей! Конь такой, что его, вместе со снаряжением, на всю жизнь тебе хватит! Оставайся с миром! А я пойду и слова тебе не скажу.

— Меня не проведешь, снимай и шашку!

— Воля твоя — вот тебе шашка.

— И пояс с кинжалом!

— И насчет кинжала спорить не стану. Ты — человек молодой, тебе он к лицу.

— Сними и пистолеты с пояса!

— Пускай так, — и это тебе в пешкеш[1].

---

[1] Пешкеш — подарок.

— И платье.

— Ва! А я в чем останусь?

— Много не разговаривай,— угрожающе крикнул я.

— Погоди только, у меня в кармане счета и расписки. Ничего особенного, обыкновенные письма, тебе от них никакого проку, я эти письма возьму.

— Бери, но тумани два ты должен мне дать.

— Воля твоя, даже векселя не возьму.

— Нет ли у тебя тут в хурджине хлеба и вина?

— Сколько угодно!

— Ты их мне тоже отдашь.

— Пускай и они будут тебе в пешкеш! Что еще сделать? Знаешь, что я скажу: теперь я пойду своей дорогой, а ты ступай своей.

— Воля твоя.

Одним словом, он отдал все, что я потребовал. Когда он доставал из кармана деньги,— их было много,— я сделал вид, будто не замечаю. Он был счастлив, что я не отнял всего.

Я вскочил на коня и поспешил к Пепия. Это было первое мое злодеяние. Но, кто скажет: было ли оно действительно злодеянием? «Отнимаешь у богатого, отдаешь бедному — господь вряд ли осудит тебя»,—говорит наш народ.

Весь день мы пробыли в том же ущельи. Мы досыта наелись после двухдневной голодовки, и к нам снова возвратились силы.

Когда стемнело, я усадил Пепия на коня, а сам пошел впереди, так мы двинулись в путь. На третий день мы приблизились к Маглан-Дорети. Несчастный Пепия тяжело расхворался в дороге. Он перестал есть, пить и все молчал. Я почувствовал, что он уже не жилец на этом свете, что пришел его конец.

Мы поднялись на какую-то вершину, и Пепия через силу проговорил:

— Остановись, сынок! У меня уже нет сил ни ехать, ни итти, ангел смерти склонился над моей головою.

Я остановил коня, снял Пепия, подостлал шинель, пристроил ему под голову подушку от седла и уложил его. Наступал вечер, солнце садилось. Бедняга еле дышал. Я сел у изголовья. Мы с ним были одни-одинешеньки на гребне огромной горы. Солнце, склонившееся к самой ее вершине, пламенело красно-желтым сиянием. Мир, разбуженный весною и оживший с нею, казался невинно-безмятежным, точно младенец в колыбели. Все вокруг дышало счастьем, кроме нас. Только мы с Пепия были несчастны. Он умирал, а я, растерянный, с разбитым сердцем, глядел на умирающего.

— Габриел! — сказал мне, наконец, Пепия. — У меня стынут ноги; это смерть. Сын, прости врагу мою кровь, как я ему прощаю! Но... если ты узнаешь, что он лишил чести Тамро, — поклянись, что солнце померкнет для погубителя ее! Поклянись, что ты убьешь его и он умрет без покаяния и причастия, как я умираю. Поклянись... Если это грех, я беру его на себя.

Я поклялся.

— Клятва твоя должна оставаться нерушимой! — продолжал несчастный. — Горе мне, дитя мое, Тамро!.. Габриел, если он не лишил чести Тамро, — прости ему все, что он сделал с нами, я ему тоже прощаю! Поклянись.

В словах его мелькнула мне какая-то надежда, и я дал и эту клятву.

— Ах, хоть бы сейчас увидеть мою Тамро! — снова заговорил Пепия. — Хоть бы еще разок увидеть ее, и тогда я с миром испустил бы дух. Милая моя дочка, единственная моя Тамро! Где ты теперь? Почему ты не закроешь глаза несчастному твоему отцу? Почему не ты сложишь крестом на

груди его руки? Почему не оплачешь его, дитя? И как мне умереть не оплаканным тобою? Чем я так прогневил господа? И все же, господи, тебя молю, сбереги от греха мою сиротку-девочку! Да благословит тебя бог, милая моя Тамро! Ты последнее убежище моей души, ты последний свет моих глаз! И над тобою да будет милость господня, мой Габриел! Благословляю я и землю, если моя Тамро ходит по ней без греха... Если же нет,— да погибнет это обреченное на погибель подлое обиталище низких, подлых людей. Прощай, мой Габриел! Пришел мой час, душа отлетает. Умираю не оплаканный дочерью своей! Ухожу из этого мира без причастия и покаяния! Всевышний, тебе поручаю мою дочь. Ох! Дитя мое, Тамро!..

Так с именем Тамро на устах и окончил свою праведную жизнь этот праведный человек. Имя Тамро было его последним стоном, и вместе с этим стоном отлетела его исстрадавшаяся, истерзанная, но праведная душа. Так покинул он этот жестокий, тленный и греховный мир. Имя Тамро так и осталось запечатленным на его устах, даже в смерти. О, хоть бы я тогда же последовал за ним!

С огромным трудом удалось мне вырыть при помощи шашки и кинжала могилу для несчастного. Утром, когда снова взошло солнце, я предал его земле. И было солнце ему святою свечою и погребальным факелом, а испарения утренних рос заменили ладан.

XI

Ожесточенный, с омертвелым, испепеленным сердцем, сел я на коня и, не разбирая пути, стал спускаться с горы.

Я ехал, а перед глазами у меня стоял несчастный Пепия и его праведная смерть. Я вспоминал его пол-

ные всепрощения речи. Еще тяжелее угнетала меня печаль, но дорога делала свое. Она понемногу смягчила грусть, очистила мое возмущенное сердце, прояснила мой рассудок. И вот, наконец, я совсем успокоился и притих. Я, может быть, еще долго ехал бы таким вот спокойным, освобожденным от печали, если бы вдруг снова не вспомнил данную Пепия клятву. Я поклялся убить человека? Дрожь прошла по телу, я побледнел. «Вот к чему привела меня судьба, — думал я, — она обрекла меня на убийство. На меня, Габриела, должен пасть грех человекоубийства?.. Моя рука должна обагриться человеческой кровью...»

По натуре я был таков, что в гневе, в запальчивости, в неистовстве мог бы невольно убить человека, но если бы мне хоть на две минуты удалось сохранить власть над сердцем и рассудком и пораздумать, я бы вряд ли решился лишить человека жизни. Теперь для меня создалось как раз такое положение: у меня было много времени впереди для того, чтобы обо всем подумать. Поэтому, чем больше я думал о своей клятве, тем тяжелее становилось у меня на душе. Мне предстояло одно из двух: либо нарушить клятву, либо убить человека. Я и поныне не знаю, что считается более тяжелым грехом?

«Господи, — твердил я про себя, — дай мне найти Тамро невинной, чтобы я мог, как Пепия, простить того, кто загубил мою жизнь! Избави меня от этого греха, господи, взгляни на меня, не дай мне пасть!»

Что бы ни было, а человекоубийство все-таки грех, шени чириме! Я знал это, и эта мысль сжигала меня; я сгорал на этом огне. Но когда я вспомнил, что осужденный мною на смерть загубил три человеческие жизни только ради того, чтобы удовлетворить минутную прихоть, что он меня, полного сил, оторвал от мира, убил отца у единственной дочери, не дав ему даже причаститься, и что он, быть мо-

жет, обесчестил еще и дочь, то я подумал с гневом и злобою: «Разве убить такого человека — такой уж тяжелый грех? Разве не должна быть восстановлена справедливость? Разве не об этом говорил мне священник: «все за одного, один за всех»?»

Я подумал: «Я ни за что не отступлю! Позорно нарушить клятву!»

Что ожидает меня? — спрашивал я себя, и мозг мой горел. — Вечные муки и ад? Но если бы мне был за это предуготован рай, то разве тогда мое деяние оставалось бы подвигом самоотвержения? Так пусть же случится то, что должно случиться! Так пусть же во избавление других и это еще приложится к моим нынешним бедствиям и скорбям. Ведь господь видит, — думал я, — что мщу я не за себя. Я не за себя расплачиваюсь с врагом моим: все свое я уступил врагу, я все простил, все забыл. Смерть Пепия и его полные милосердия слова унесли с собой мое ожесточение.

Я словно пришел к какому-то решению, и все-таки, как бы невольно, простер руки к богу, взмолился к нему с открытым сердцем, со страстной тоскою: «Господи, избави меня от человекоубийства, дай мне увидеть Тамро невинной!»

Тяжко, шени чириме, носить в душе мысль о человекоубийстве! Очень, оказывается, тяжко! Я почти состарился за один этот день. Если хочешь поднять ад в человеческой душе, — внуши ей мысль об убийстве. Этого достаточно, чтобы причинить бесконечные муки!..

Я спустился с горы и двинулся дальше по долине, и вдруг меня потянуло к священнику, — пусть благословит меня, а там будь, что будет. Я поверил призыву своего сердца и направился в город.

На другой день, к вечеру, я подъехал к Дигоми и сошел с коня возле одного духана, так как не решался остановиться в городе. Я поставил коня в

хлев, что был возле духана, почистил его и задал ему корму. Потом вошел в духан поесть. Духанщик дал мне ужин. Я подсел к стойке и принялся за еду. Я уже кончал ужинать, когда к крыльцу духана подкатили дрожки. В дрожках сидела женщина, с нею какой-то парень, горожанин с виду.

— Медукне! [1]— крикнул парень,— отдельная комната у тебя найдется?

— Сколько угодно! — ответил трактирщик.

Женщина и молодой человек сошли с дрожек и вошли в духан. Едва я увидел женщину, меня словно громом поразило. Мне вдруг что-то внезапно почудилось. Я не поверил своим глазам. Женщина подошла к стойке, я разглядел ее вблизи, и кровь ударила мне в голову. Я, как безумный, кинулся прочь от стойки и стал перед нею.

— Тамро! — крикнул я, весь дрожа.

— Габриел! — воскликнула она и, бледная, упала мне на грудь.— Отец где, отец?— спрашивала она сквозь горькие слезы.

— Его уже нет в живых! Но скажи, зачем ты здесь?

— Не спрашивай, не надо! Не спрашивай, — рыдала бедняжка.— Твоя Тамро погибла, давно уже! Умерла твоя Тамро!

— А ты кто? — в ужасе вскричал я.

— Нет, я не та Тамро! Я теперь — бесстыжая авлабарская [2] девка, пожалей и оплачь меня, злосчастную!

— Бесстыжая девка?..

Я оттолкнул рукою эту несчастную, оторвал ее, словно змею, от своей груди. Точно обуянный безумием, кинулся я во двор, вскочил на коня и, про-

---

[1] Медукне — хозяин духана, лавки.

[2] Авлабар — старая часть г. Тбилиси. До революции Авлабар был известен своими духанами и притонами.

клиная все и вся, направился к нашей деревне. Настал день, когда мне предстояло исполнить клятву. Отпали все мои сомнения насчет убийства, исчезла всякая нерешительность. Сердце мое так ожесточилось, что, если бы ему дана была власть, я бы уничтожил все на свете.

Три, а может быть, и четыре месяца кружил я вокруг Датико, и никак не мог улучить минуту, чтобы встретиться с ним лицом к лицу.

Много раз представлялась мне возможность убить его из-за угла, но какая же в этом доблесть? Он ведь и сам был человек мужественный, и мне хотелось столкнуться с ним лицом к лицу и либо убить его, либо самому быть убитым.

Эти три или четыре месяца я скрывался в лесу, точно зверь. Мне все же пришлось ограбить двух армян и пятерых князей, но клянусь, я не взял ни у одного из них больше того, что мне было необходимо! Всем им я называл свое имя, чтобы слух обо мне дошел до Датико и чтобы он, получив предупреждение, был всегда на-чеку.

Так создалась у меня слава разбойника, и меня начали преследовать. Кто-то стал грабить и разбойничать по всей округе, прикрываясь моим именем. Случились три убийства, но я был неповинен в них, хотя все это и приписывалось мне, а подлинные разбойники выходили сухими из воды. Однако, то же обстоятельство мешало напасть на мой след. Сегодня говорили: «Вон там-то Габро ограбил человека»,— и оцепляли со всех сторон это место. И в тот же вечер разносился слух, будто Габро ограбил еще кого-то на расстоянии трех дней пути,— все это сбивало с толку преследователей. Никому и в голову не приходило, что Габро тут совсем ни при чем и что разбойничают, прикрываясь его именем, какие-то другие люди. Наконец, когда все попытки поймать Габро оказались тщетными, они обещали георгиев-

ский крест тому, кто возьмет меня живьем или доставит мой труп.

Я скрывался, главным образом, в тех местах, где Датико обычно охотился. Датико очень любил охоту. Но он ни разу за все эти три или четыре месяца — вот как берегла его судьба! — не побывал в этих местах.

И вот, наконец, настал роковой для него день. Мы встретились.

Солнце склонялось к закату, когда я увидел Датико. Он ехал верхом по полю. Вслед за ним бежала гончая. Я сидел в это время на дереве, в лесу. Я спустился на землю, вскочил на коня и стал поджидать его с бьющимся сердцем.

Дорога пролегала вдоль опушки. Датико выехал на дорогу и направился в мою сторону. Когда он приблизился ко мне, я слышал, что он что-то напевает. Взглянул — он был в полном вооружении. «Видно, помнит обо мне,— мелькнуло в душе,— раз так снарядился».

Едва он поровнялся со мною, я рванул коня, и конь понес меня ему навстречу.

— Если ты не трус, держись! — крикнул я.

Он не узнал меня сначала.

— Кто ты? Но, впрочем, кто бы ты ни был, я не боюсь тебя! — ответил он мне решительно и смело.

Не прошло и секунды, как он живо вскинул двустволку, висевшую у него за плечом, и в мгновение ока выпустил в меня оба заряда. Я успел отвести ударом руки ствол, и оба заряда, жужжа, пронеслись у меня над головою.

— Я — Габро, и я убью тебя! — крикнул я, и, прежде чем он успел схватиться за другое оружие, выстрелил, целясь прямо в сердце.

Бедняга зашатался в седле, сполз набок, казалось, вот-вот упадет, но удержался, выхватил шашку

и занес ее надо мною. Удар и на этот раз миновал меня, он пришелся по голове коня, и конь был убит. Я рухнул вместе с ним. Когда я поднялся, Датико уже лежал на земле.

Я подошел к нему: красивый, молодой, гордый собою князь едва дышал у ног своего крепостного. Но не скрою от вас нищеты своего сердца — жалости к нему во мне не было!

— Пришлось тебе все-таки заплатить жизнью за твое бесстыдство! — с укоризною и злорадством сказал я ему.

Он усмехнулся так спокойно, как будто покоился на собственной постели.

— Вот каким ты оказался Шермадином!

— Я такой же Шермадин, каким ты был для меня Автандилом!

— Уходи, брат! Убил — и довольно с тебя славы! Не везло мне сегодня: что ни выстрел — все мимо... Горе, какая нехорошая смерть. Позор мне! И царапины на тебе не осталось!

— О чем ты? Нашел время! Хоть имя господа помяни, прощаясь с жизнью, ты, исполненный греха!

— Брось поучать! Пускай моя кровь принесет тебе счастье. Ты храбрым оказался, молодец! Я и вправду совершил много зла. Но ничего, пусть жалкая гибель моя будет выкупом за все. Ай, мать моя! Как нехорошо это вышло! Разве так я должен был встретить тебя? Пришлось мне все-таки умереть от твоей руки! Помнишь, я сказал тебе тогда: свеча и ладан найдут дорогу. Вот и нашли.

— Так это ты освободил нас тогда у Казбека? — спросил я, пораженный.

— Я ли, не я, — не все ли равно?

— Зачем ты спас нас?

— Видишь ведь! Ради этого часа... А что Пепия?

— Умер.

— Без причастия и покаяния, как и я?

— Да, как ты.

— Значит, поквитались... Прощай, Габриел! Мира тебе и удачи, победитель! Жаль мне, что я так бесславно дал себя убить. Победы и удачи...

Он хотел еще что-то сказать, но это уже не было ему дано. Он потянулся разок, приподнялся, упал и испустил дух. Умер несчастный. На губах его застыла улыбка, словно он над чем-то смеялся. Да, умер с улыбкой, рожденный в слезах.

Я поймал его коня, сел и поехал. Я не взял себе ничего, кроме коня. После убийства Датико, скрываться в тех местах стало труднее. Упорнее стали преследования. Да ничего уже и не удерживало меня там. И, сказать вам правду, опостылела мне разбойничья жизнь: не мое это дело! Грабил я поневоле, через силу, страдал при этом и сам же себя осуждал. Много злодейств я совершил, но сердце мое не мирилось с ними. Не мог я привыкнуть, никак не мог! В конце концов, я решил перекинуться куда-нибудь подальше — худо ли, хорошо ли,— я мог добыть себе кусок хлеба трудом своих рук, мог кое-как просуществовать, пока не придет конец. Это было все, что я желал для себя в этом мире,— да и не должно было мне достаться ничего больше: уже ни в чем, что есть в этом мире, не имел я своей доли!

Покинул я те места и поселился в Кахетии. Переходя Алазань, я соскочил на самой середине реки с коня Датико, выстрелом в голову убил его и пустил по течению. Я кинул в воду также все оружие, чтобы никто не открыл меня по оружию и по коню. В Кахетии я стал батрачить. Живу я здесь, как я уже вам говорил, пятый год. Первый год прошел для меня благополучно, но на втором году воздух Кахетии повредил мне,— меня схватила лихорадка. Порой она оставляла меня на два, а то на три месяца, но стоило немного оправиться, как она

вновь возвращалась. Однако, я не сдавался и работал сколько было сил. В таком состоянии я протянул три года. В нынешнем году я заболел водянкой, у меня распухли ноги. Стало трудно ходить, и я уже не годился для работы. Болезнь доканала меня, и я свалился. Приютил меня один крестьянин. Пока у меня были кое-какие гроши и я их тратил, он держал меня. Но когда деньгам пришел конец, этот благословенный выгнал меня на улицу пинком в спину. Случилось это четыре месяца тому назад. Дело обернулось так, что мне пришлось просить милостыню. Я стыдился этого, и стыд выгнал меня из той деревни. Я взял да и ушел сюда. По дороге я обменял свою одежду на эту вот солдатскую шинель, да получил тумани в придачу. Два с половиною месяца жил я на этот тумани. Добравшись до этих мест, я уже не мог итти, кожа на ногах потрескалась, открылись раны и стали гноиться. А под конец, видишь, заживо точат черви. Доплелся я кое-как до этого саманника и приютился под его навесом. Саманник — у края дороги. Здесь вечно проходят люди; среди них всегда найдется добрый человек, который подаст мне кусок хлеба или принесет воды. Так и живу. Может быть, я и достоин того, что выпало мне на долю. Уж не расплата ли все это за совершонные мной злодеяния? Кто знает? Но я чувствую, что водянка скоро доканает меня — вода дошла уже почти до самого сердца. Благодарение богу, пришел мой конец! Если я в чем повинен перед миром, пусть он простит, а остальное — в руке божьей. Я не был злым, я был только несчастен! Думается мне, что я уже здесь искупил большую долю своих грехов. Ошибаюсь ли я в уповании своем, знает бог и его непреложная справедливость. Я же расстаюсь с этим миром без сожаления, потому что ничего ему не должен, ничем ему не обязан. В этом мире я не удостоился даже причастия!

XII

Так окончил свою повесть нищий. Было уже за полночь. Я простился с этим несчастным человеком и, расстроенный его рассказом, отправился к куму.

На другой день я спросил, где мне сыскать священника, считая, что хорошо бы причастить этого одинокого, покинутого всеми человека, исполнив таким образом последнее его желание.

Кроме того, я надеялся, что мне удастся уговорить его и перевести к моему куму. Кум сказал мне, что, по его соображениям, священник не согласится пойти со мною: из города прислали благочинного, он прибыл только вчера и остановился у священника, вряд ли у того найдется время.

И действительно, к моему изумлению так оно и случилось. Священник прислал мне сказать, что ему некогда. Я был и очень удивлен, и очень огорчен таким ответом. Я отправился сам, обратился прямо к благочинному, рассказал, что привело меня к нему, и сообщил об ответе священника. Благочинный был крайне возмущен и жестоко осудил его за бессердечие. Он тотчас же попросил дать ему дароносицу и, захватив с собою священника и дьякона, сам пошел со мною.

Было еще раннее утро, когда мы спустились к нищему. Бедняга сильно изменился за истекшую ночь. Он был так слаб, так бледен, что казалось, жизнь его висит на волоске.

Когда нищий увидел благочинного, он вдруг словно ожил, глаза его снова загорелись огнем. Он был чем-то поражен; так пристально вглядывался в лицо благочинного, как будто что-то хотел вспомнить. Казалось, он и верил и не верил тому, что видит перед собой. Раза два-три нищий протер глаза, как будто что-то застило ему зрение. Все с тем же удивлением, сосредоточенный и притихший, при-

стально глядел он на благочинного. Затем, как бы спасаясь от наваждения, стал креститься, все упорнее и упорнее впиваясь в него взглядом.

Я удивился. «Что с ним происходит?» — подумал я.

— Благословение божие над тобою, брат мой! — сказал благочинный.— Я — священник, пришел дать причастие тебе, христианину. Чему ты удивляешься, отчего ты так пристально смотришь на меня?

— Так ты не привидение? — воскликнул нищий.

— Нет!

— Отец! — горестно вскрикнул нищий.— Не жалко тебе твоего Габриела?

Благочинный зашатался, словно пораженный ужасом. Я поспешно протянул руку и поддержал его.

— Слава тебе, господи, слава! — продолжал нищий теперь уже тихим и радостным голосом.— Вот кого ждала душа моя, и ты принес мне утешение! Теперь я умру с надеждой. Причасти меня твоей благословенной рукой, шени чириме. Пусть зажженная тобою свеча погаснет в твоих же руках. Мне недолго осталось жить, причасти меня!

— Габриел!

— Да, это я, я! — прервал он благочинного.— А ты — тот, кого ждала моя душа! Слава милосердию твоему! Причасти, смерть одолевает меня!

— Что довело тебя до этого? — скорбно спросил благочинный.

— Тот огонь, что от бога горит в душе каждого, как ты мне сказал однажды. Так думаю я, а про других не знаю. Дай же мне причастие, шени чириме.

На благочинного жалко было смотреть: он побледнел, лицо подернулось пеплом, язык не повиновался, он не мог выговорить ни слова. Казалось, он и есть виновник всех бедствий нищего. Благочинный ничего не сказал несчастному, ничего. Растерянный, готовился он причастить умирающего.

— Смерть не оставит мне времени исповедать-

ся,— сказал нищий.— Каюсь во всем, прости и разреши мне грехи мои без исповеди и удостой причастия!

— Отпускаю!..

— Я ограбил восемь человек!

— Отпускаю тебе!..

— Одного человека я убил!

— Отпускаю тебе здесь, а там — да исполнится воля господня! Я буду молиться за тебя, несчастный Габриел.

— Раз ты простил,— воскликнул нищий радостно,— простит и господь, он всегда говорил твоими устами! Если я теперь достоин — причасти меня!..

— Сия есть плоть моя, еже за вы и за многие ломимая, сия есть кровь моя, еже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Приими и яди! — торжественно сказал благочинный.

— Слава Христу,— произнес нищий благоговейно.— Удостой теперь причастия, отец!

Благочинный стал читать молитву, взял из дарохранительницы частицу причастия, опустился на колени перед нищим, подал ему причастие на ложечке и произнес с мольбой:

— О, господи! Прибежище страждущих и обремененных! Помяни уповающего на тебя, когда приидешь во царствие свое!

— Помяни меня, господи, и спаси! — взмолился нищий, а потом сказал благочинному: — Нет, шени чириме, не хочу я принимать причастие вот так, лежа! Недостойно перед спасителем моим и избавителем, да прославится милосердие его! Хочу раньше пасть ниц и испросить у него прощения и милости.

Он попытался встать. Мы кинулись к нему и помогли встать на колени, как он и хотел. Он перекрестился, с мольбою взглянул на небо, простер руки и произнес скорбно:

— Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие свое!

Потом, упав ниц, заплакал. Долго оставался он в таком положении, и только глухие рыдания слышались время от времени. Наконец рыдания стихли. Благочинный склонился, чтобы приподнять его, но нищий умер, как был — у его ног. Так несчастному и не удалось причаститься, на это не дано ему было времени.

1859—1862 гг.

Петербург.

И ЭТО ЧЕЛОВЕК?
(Кациа-Адамиани?)



«Осуди друга в глаза, врага за глаза».

(Мудрая пословица.)

РИТОРИКА гласит: всякое дело следует начинать со вступления. Истинно так! Начнем же со вступления и мы.

Тот, кто узнает себя в образе Луарсаба, кто примет на свой счет все, что написано о Луарсабе, тот, без сомнения, закидает нас комьями грязи и назовет безумцем незадачливого автора этой повести. Но пусть люди эти знают, что нам нет дела до личностей! Мы описываем общественные недуги.

Что бы кто ни говорил, я почерпну силы и мужество в истине слов: «Осуди друга в глаза, врага за глаза». Где теперь ты, сложивший эту мудрую пословицу? Я знаю, где ты: ты, невидимый, пребываешь в народе, ты принадлежишь народу. Знаю я и твое имя: звать тебя гением народа. Знаю и качества твои: ты неизменно прав и непогрешим. Ты, и только ты, придаешь бодрость тем, кто болеет за други своя. Ты даешь силу даже тогда, когда сами эти «други» почитают грехом муку сердца, болеющего за них. Что же делать! В одних эта боль сердца проявляется в том, что они восхваляют в

ближнем и все дурное. В других же — в том, что они это дурное порицают. В какой из этих людских пород страдание и любовь подлиннее и глубже — пусть решает сам читатель.

I

Ну, и хороша же была усадьба князя Таткаридзе! Вообразите себе маленькую деревеньку в глубине Кахетии, открытую со всех сторон низину и посреди нее — двухэтажный кирпичный дом.

Вот какой вид имели эти два этажа. Внизу помещалось марани[1], крытое сухой лозою, а над этим марани, вдоль задней стены, изволите видеть, надстроена маленькая комнатушка с балконом. К балкону, словно ласточкино гнездо, прилепился досчатый чулан, в нем складывались постельные принадлежности. В некотором отдалении от дома стоял крытый сарай для тонэ[2], тоже досчатый, а перед ним — хула[3]. Вплотную к хула примыкал одноглазый кукурузник, сооружение весьма убогое и унылое. Был тут и огород, обнесенный забором. У забора, близ шелковицы, стояла ветхая, крытая соломою изба — чалури; она до того перекосилась и искривилась в круговороте времен, что, казалось, собралась было прилечь в тени, но вдруг застыла все в таком же перекошенном, скрюченном виде, — точно старушка в припадке подагрических болей.

Вокруг этого «замка» раскинулся довольно просторный и широкий двор, обнесенный ветхим плетнем. Плетень местами развалился, но нынешнему хо-

---

[1] Марани — винный погреб.

[2] Тонэ — глиняная печь, цилиндрической формы, вставленная в землю. В тонэ выпекают так называемый «грузинский хлеб» (шоти, лаваши).

[3] Хула — сарай, служащий, смотря по необходимости, кладовой, амбаром, чуланом.

зяину и в голову не приходило, что его следовало бы подправить. Видать, что грузин!

Плетень завершался огромными воротами, одна половина которых вот уже два года висела на столбе с такою жалкою гримасою, что могло показаться, будто столб схватил ее, чтобы высечь, а она рвется, стремясь ускользнуть. За воротами был ток, тоже довольно просторный. По одну сторону тока, вдоль всего его южного края, высилась грудой мякина, упираясь в саманник. У саманника был необычайно смешной, глупо задумчивый вид: одна сторона его вздернута кверху — точь в точь гусь со сломанным крылом!

Много занятных вещей наблюдал я здесь в годы моего детства: в этой мякине частенько наслаждались, похрюкивая от избытка чувств, жизнерадостные, беззаботные свиньи. Они так усердно, так вкусно копались упругими своими рылами в душистых плевелах, как это полагается только свиньям. А как они играли, как ласкали друг дружку! Нет, этого не описать! В пылу восторга эти свиньи то-и-дело нежно подталкивали друг друга рылами. И какой, бывало, подымался тогда визг! Так иной раз наш крестьянин угощает от избытка любви тумаками свою молодую жену. Кто-то сказал: грузинская любовь выражается в брани, а я бы заметил: тумак — шутливая ласка. В делах административных он имеет, правда, и другое значение. Там тумак — вразумляющий аргумент. Но это не наше дело.

Во дворе было грязно, как в сердце старого чиновника. Добраться до хозяина, не испачкавшись или не прихватив с собою ароматов некоей амбры, было великой удачей. Таков внешний вид усадьбы. Теперь, господа, пожалуйте в дом князя Таткаридзе.

Лишь об одном я должен предварить вас: входя к нему в дом, нужно быть чрезвычайно осторожным. Пол кирпичный. Это бы еще ничего, беда в том,

что кирпичи кое-где повыкрошились, и вместо них остались зияющие ямы. Надо зорко глядеть под ноги, не то оступишься и — горе врагу твоему! — либо свернешь себе шею, либо сломаешь ногу. Конечно, хозяева принесут тысячи извинений, но, сами изволите знать, извинения вовсе не так уж часто помогают при искривлении шеи, да и при переломе ноги их нельзя признать наисовершеннейшим из лекарств.

Гостю, пожалуй, удалось бы избегнуть этой опасности, если бы в комнате было светло. Но увы, в ней нет и света! Правда, налицо имеются два окна, чуть побольше бойниц, но в комнате все же темно, потому что некто весьма сообразительный догадался вместо стекла вставить в сосновые рамы просаленную бумагу. Вот по этому-то случаю и сказано: «Ловкость да находчивость — дороже силы». По части же находчивости первейший европейский сплетник не сравнится с грузином.

Мне не раз и в других местах попадались столь же забавно разукрашенные окна, не раз видел я эту просаленную оконную бумагу, истыканную иголкой: где выведено сердце, где крест, а где красуется надпись вроде такой: «Как медведю взобраться на дерево, — иав-нанина!»[1]

Вернее всего, это дело женских рук. Впрочем, если даже и так, — что́ в этом предосудительного? Надоело читать псалтирь, залегла на сердце тоска, и вот, чтобы занять ум и скоротать однообразный, скучный день, подошла она к окну, извлекла заколотую на груди булавку и предалась этому, поистине питающему ум, полезному делу. Не было дела, и вот нашла его во славу пословицы: «Худая работа лучше худого безделья».

В комнате нашего Таткаридзе стояли друг против друга две длинные тахты. Войлок и ковер, прикры-

[1] Колыбельная песня. «Иав-нанина» — припев.

вавшие их, были столь опрятны, что при каждом сиятельном движении сиятельной ноги ее сиятельства над ними вздымались столбы пыли, и зрелище это было столь прекрасно, что наблюдатель никак не мог им пресытиться.

В стене, обращенной к востоку, между двумя вышеуказанными тахтами, точно беззубый рот дряхлой-предряхлой старухи, чернел унылый, перекошенный, закоптелый внутри и снаружи камин. Кое-где по комнате были разбросаны, в виде украшения, разнообразные предметы, как-то: облепленные грязью карабахские белые сапоги, медный кувшин с отломанным носиком, заплывший салом подсвечник, отвар из лекарственных трав в медном чайнике, кусок балыка и прочее и прочее.

II

Не думайте, читатель, что дом этот принадлежит какому-нибудь бедняку и потому так немилосердно запущен. Нет, хозяин этого дома владеет двадцатью дымами зажиточных крестьян,— так что во время работ закладывалось до десятка оброчных арб,— множеством овец и доброй сотней коней, причем каждый из этих коней, на взгляд просвещенного помещика, стоит никак не меньше крепостного раба. Таково его движимое имущество. Перечислим же теперь имущество недвижимое: два обширных виноградника и пашня, площадью в пятьдесят дгиури. Такое состояние, начиная с крепостных и кончая лошадьми и землею, было бы лакомым куском в руках того, у кого хватило бы ума использовать его толком. Но почему же так убога эта усадьба? — спросит меня удивленный читатель.— Потому что хозяин ее — грузин,— отвечу я вам, вполне уверенный в том, что привел убедительное объяснение.

Да, в этом прекрасном доме обитал грузин. В нем безмятежно и сладко жил князь Луарсаб Таткаридзе, человек лет сорока, со своей неразлучною супругою, княгиней Дареджан.

Князь Луарсаб Таткаридзе был настоящий старозаветный грузин, упитанный, круглый, точно — не в обиду ему будь сказано! — хорошо откормленный боров. Наружность у его сиятельства была весьма почтенная: голова такая огромная, что, казалось, под бременем ее толстая, как колода, шея целиком ушла в плечи; щеки красные, точно ярко алеющее турашаульское яблоко. Обвисший тремя складками, соблазнительный пухлый подбородок, большие глаза, вечно налитые кровью, как будто кто-то петлею стянул ему шею. Толстое, смело раздавшееся в ширину, почтенное и достойное всяческого почтения брюшко, короткие, точно обрубки, налитые жиром волосатые руки и, наконец, култышки ног, — все это в целом и в особицу составляло достойную оболочку для души князя Луарсаба, которую ему «даровало само небо». Присутствие же самой дарованной ему души невозможно было обнаружить: она заглохла, растворившись в жиру его сиятельства. Истый грузин не любит ни того, что приносится ветром, ни того, что ветер уносит, — так не за дуновение ли ветра принял наш князь эту «дарованную ему душу»?..

Наукам Луарсаб, слава богу, не учился никаким, ибо — учись он, не разжиреть бы ему. Обычно ведь бывает так: когда увядает душа, расцветает плоть, празднуя свои именины; когда же душа расцветает — хиреет плоть. Оттого-то, говорят, так умны чахоточные. Повидимому, наш Луарсаб сам отнюдь не скорбел душой о том, что остался непричастным к наукам, по всей вероятности, именно на этом основании.

— Это все язвы нынешнего времени! — говорил

он, бывало, горестно, словно болея о человечестве, зараженном таким недугом.

И их сиятельство были вполне правы. С их точки зрения, каждый человек — это нечто вроде бездонного кувшина, в который необходимо ежедневно сыпать корм и лить питье без всякой, однако, надежды когда-либо наполнить его. Их сиятельство знали по себе и отмечали своим сиятельным сознанием, что человек прекрасно выполняет это предназначение и не учась, особливо будучи обладателем стад и крепостных, мало чем отличаемых им от скотины.

— Времена переменчивы,— говаривал, вздыхая, Луарсаб.— Переменчивы времена! С той самой поры, как завелись у нас эти чортовы школы, батоно, грузины навек утратили свое благополучие. И что за вид стал у наших детей! Ни поесть, ни попить толком уже не умеют, что это за люди? Грамоту знают? А вот я, ежели я грамоты не знаю, не человек я, что ли, и шапки нет у меня на голове? [1] Как бы не так! И в теле я, и румянцем бог не обидел. Ну, пристало ли мужчине возиться с книгой? Это женское дело! Честь и хвала доброму старому времени! Все тогда в порядке, как следует было, всякий знал свое место. Честь и хвала! Добрый конь, надежное ружье, сильная рука — вот и славен человек, все его почитают!

Эх, Луарсаб мой, знаю я, ты — простосердечен, как все истые грузины, но напрасно вздыхаешь ты о минувших временах! Ты ведь даже не знаешь, что́ было завидного в старину. Разве нынче перевелись кони? Разве ружье не бьет и нынче в цель? Мало разве на свете осталось сильных рук? Все это водится и нынче, да нет того сердца, нет той пылкости сердца, той самоотверженной преданности родине, которые и доброго коня и доброе ружье на-

[1] Смотри примечание в конце книги, стр. 396.

правляли на доброе дело. Раньше человек украшал собою и коня и ружье, а нынче конь и ружье украшают человека. Хороша была старина, но и эти слова Виссариона Габашвили не дурны: «Одно «имею» лучше, чем тысячи «имел». Повторим и прикусим язык, а не то...

Хоть Луарсаба и тревожили недуги нынешнего времени, однако, лицо его неизменно сияло одною и тою же — чрезвычайно глупой — улыбкой. Сказано: «В паре бык у бычка, если не масть, так нрав переймет». Никогда мне не приходилось видеть, чтобы эта поговорка оправдывалась так, как оправдалась она в доме князя Луарсаба. Его дражайшая супруга, княгиня Дареджан, была поистине достойною половиною своего супруга, и они являли собой «един дух и едину плоть», согласно реченному в священном писании. И до какой степени! Та же округлость форм, та же тучность, та же улыбка на лице и почти та же глупость. Чета этих прелестных голубков, с единой душой и с единой плотью, пребывала в удивительно сладостном согласии, вдали от беспокойной мирской суеты.

Едва успеет пропеть петух,— счастливые супруги раскрывают свои очи. Миг,— и Дареджан уже вспорхнула с постели, но Луарсаб, баловень Луарсаб, любил иной раз понежиться. В расстегнутой на груди рубахе перекатывался он с постели на тахту, покряхтывая, посапывая и издавая при этом еще всякого рода звуки... И не раз, вплоть до самого обеда, проводил он это ничем не соблазнительное время вот этак, в баловстве и неге.

Грузины говорят: у счастливого и волос на теле густо растет. И правда! Потому-то, верно, так счастливы животные. Если же это неправда, то почему же столь многие из нас стремятся уподобиться скотине? Да потому, что скотина счастлива, и счастлива она, опять-таки, потому, что густой у нее волос.

Насчет Луарсабова тела ничего не могу вам доложить, но если бы вы взглянули на его грудь, то увидели бы, что она вся словно в свиной щетине, и немало подозрительных тварей могло бы укрыться в ней в годину бедствий и страха. Однако... Что «однако»? Разве Луарсаб не был счастлив? Дай бог автору этих строк столько дней, сколько князей, подобных Луарсабу, завидовало его житью-бытью! Не говоря уже об остальном,— одной растительности на теле было достаточно, чтобы разжечь зависть в ином несчастливце! Да чего, в самом деле, недоставало Луарсабу? Румянца, плоти? Или заботы и думы могли лишить его сна и аппетита, как это случается с иными незадачливыми людьми? Цвет лица у него был замечательный. Телеса — и того лучше, а об аппетите и сне — нечего и говорить. Так чего же еще нужно доброму грузину, для которого мерою счастья и несчастья служит обилие волос и которому рок судил во все дни его жизни шапкою гонять мух?

Не заскучал ли ты, читатель? Конечно, тебе стало скучно: здесь нет ни хитросплетений любви, ни смертоубийств, нет безнадежных женских вздохов, никто не кидается в воду... словом, нет ничего, что украшает повесть, написанную для развлечения. Ты заскучал, что и говорить! Но тебе следует знать, читатель, что я, нижеподписавшийся, сочиняю эту бесхитростную повесть не ради забавы. Я хочу, чтобы эта повесть заставила читателя призадуматься, и если им овладеет тоска, то произойдет это только потому, что мысль и тоска — неразлучные сестры. Я хочу, чтобы читатель затосковал не потому, что повесть моя лишена интереса, а потому, что она заставляет его думать. Если мои незатейливые писания приведут к этому, то большего я и не хочу, и не хотел, мой тоскующий читатель! А если не удастся,— что поделаешь? Утешусь тем, что «худая ра-

бота лучше худого безделья». Сколько никчемных людей оправдала и оправдывает эта благословенная пословица! Я тоже в их числе...

Пребывая в вышеописанном состоянии блаженства, Луарсаб воспринимал как великое несчастье, если кто-нибудь нарушал эти минуты сладостного покоя и неги, иначе говоря, мешал почтенному и солидному перекатыванию с одного места тахты на другое. «Гостей недолюбливает»,— говорили на этот счет неразумные люди. Но разве это проистекало от скупости? Удивляюсь я вам! Разве совместимы грузин и скупость? Разве лед и огонь не поглощают взаимно друг друга? Если он и не терпел гостей, то не терпел только потому, что ради них приходилось вставать и одеваться. Встать бы еще ничего — это не внушало Луарсабу особенного отвращения, но одеться,— вот это просто смерть! Целое лето, бывало, проводил он так, что к телу его не прикасалась никакая другая одежда, кроме сорочки и продолжения ее,— конечно, когда он бывал предоставлен самому себе,— а складывались дела иначе, что же ему было делать?! Зимою же он поверх сорочки накидывал шубу, если, конечно, к нему не жаловал какой-нибудь важный гость, к примеру сказать, дианбеги. В описываемые мной времена дианбеги был немаловажной персоной; ведь лишь нынче, с тех пор как завелось и вошло в обычай это проклятое учение, дианбеги уже не почитают за большого человека, а прежде — о! О, какая это была важная персона! Настолько важная, что известную поговорку, сложенную про дворянина, чуть было не переделали в поговорку про дианбеги; выходило: «дианбеги в гостях — принять его не шутка». Что посещение дианбеги не шутка, про то знает и по сей день каждый крестьянин, а в прежнее время чувствовали это и князья.

Дареджан была не так ленива, как Луарсаб. В этом отношении они — скажу, как перед богом — друг на друга не походили. Выходило, что масти они одной, а нрава разного. Как только госпожа княгиня открывала глаза,— она тотчас же, точно сокол, вспархивала с тахты, надевала шублсапени [1], поверх шублсапени накидывала на голову платок, облекалась в ситцевое платье,— второпях иногда даже наизнанку,— напяливала на босые ноги чувяки [2],— и след простыл: она стремительно неслась вниз к чалури, где жили дворовые, или, вернее, не жили, а с горем пополам перемогались, затаив в душе озлобление. И удивительна же была — да и забавна при этом — бестолковая суетливость нашей княгини! Этакая грузная, рыхлая, жирная женщина, она часто с утра до полудня, ни на минуту не присев, точно колобок, перекатывалась с места на место. Дел не оберешься: тут нужно локтем подтолкнуть задремавшую над шитьем замухрышку-девчонку, там — шлепнуть по затылку оборванного, измазанного в саже мальчугана, который, зевая, лениво чистит к вечеру подсвечник, заплывший салом за прошлую ночь. Тут она рассердилась на кого-то. За что? Не знает княгиня, за что! Там она разбранила кого-то. Повод? Нет у княгини повода! Сыплет княгиня проклятьями, распекает, наказывает,— одним словом, все, что скопилось за ночь, все выплескивает на подданных своих, и, лишь утомившись до изнеможения, отправляется княгиня домой; однако, если на пути попадется ей девушка, она не утерпит, чтоб не наградить ее еще одним тумаком, приговаривая, когда бывала в настроении: «Разрази тебя гром!» Выбившись вовсе из сил, она вваливалась наконец в комнату, где раз-

[1] Шублсапени — повязка на лбу, часть головного убора.

[2] Чувяки — обувь на мягкой подошве, без каблуков.

дувшийся, словно бурдюк, князь обычно все еще перекатывался с боку на бок, считая мух на потолке, если дело происходило летом.

Как-то раз завязалась между ними весьма примечательная беседа. Случилось это среди лета, в самый зной, перед обедом, когда Дареджан, завершив одно из вышеописанных путешествий с распределением подзатыльников, возвратилась, вся в поту, в комнату. Луарсаб взглянул на нее, увидал, что пот градом катится по ее румяным щекам, и с полным удовлетворением подумал:

«Хорошая у меня хозяйка в доме, ловкая, умелая женщина! Благодарю тебя, создатель, что ты мне даровал такую...»

Счастливый своей бесхитростной судьбою и благодарный за нее богу и людям, князь перевернулся на другой бок. Движение это обычно означало, что Луарсаб чем-то очень доволен.

— Ты откуда, шени чириме? Почему так устала? — немножко погодя спросил он княгиню.

— Как откуда, шени чириме? Хозяйство, дом, двор, всюду глаз нужен, всюду ухо нужно, мой милый,— сказала княгиня в ответ.

— Так, моя Дареджан, так, милая! Вот это я понимаю — женщина, настоящая хозяйка.

— Как же иначе? — ответила княгиня, польщенная похвалою супруга.— За дворней в оба глаза присматривать надо, иначе она только и знает, что есть да пить и бездельничать. С людьми нельзя без надзора.

— Еще бы! Еще бы!

— Другие вовсе не умеют с ними обращаться!

— Еще бы, конечно, не умеют! Хорошо, если б умели, еще бы!

— Иной раз побранить надо, даже если и не за что. Случится, выругаешь, как следует,— и это не вредно. Я вот, иной раз, рассержусь, обругаю, накажу,

прокляну — а зачем? Чтобы боялись и уважали, а не то — врагу твоему не пожелаю[1].

— Да, конечно, врагу твоему не пожелаю! Да, конечно!

— Крестьянин, если загодя не обругать его,— вроде осла: как упрется, станет, хотя кизиловой палкой бей, с места не сдвинешь.

— Да, конечно, надо заранее разбранить! — снова поддакнул Луарсаб, потрясенный мудростью супруги.— Да, конечно, вроде осла упрямого!

— Нет, дорогой, разве я неправильно говорю?

— Почему же неправильно? Правильно все. Такой женщине, как ты, сон приснится — и то поверишь!— сболтнул вдруг некстати Луарсаб. Он и сам не знал, почему вклеил в беседу этот «сон».

Замолчали оба. Луарсаб вперил взоры в потолок. Там кучкой сидели мухи. Дареджан принялась вязать шерстяной носок.

Немного спустя Луарсаб воскликнул:

— А ну-ка, Дареджан, если ты умная,— угадай, сколько мух вон на той доске!

— Где?

— Вон на потолке!

Представьте себе, забавник Луарсаб, пока они оба молчали, пересчитал, оказывается, сидевших на потолке мух! Откуда же Дареджан было знать про это?

— Сколько? — повторила вопрос Дареджан.— Погоди, сосчитаю.

— Этак и я могу! Нет, ты сразу угадай, вот это будет дело!

— Сразу угадать? Хорошо. Тридцать, верно.

— О-ло-ло! Вот тебе! Вот и не отгадала!

— Сколько же?

---

[1] Сокращенное выражение: «не то случится такое, что можно пожелать только врагу твоему».

— Сколько? Сказать? Нет, не скажу!

— Ну, говори, если знаешь!

— Будь я неладен, если их там не сорок. О-ло-ло! Вот тебе! Угадал-то я!

— Да, угадал, как же. Ты, верно, сосчитал их, как в прошлый раз! Так и я угадать могу...

— Клянусь твоей жизнью, да минует ад душу доброго отца моего — я не считал!

— Откуда же ты знаешь, что сорок?

— Откуда? Оттуда, что у меня есть разум.

— А у меня нет, что ли, разума?

— Нет, и у тебя он есть. Но разве женский ум сравнится с мужским? Я вот просто так прикинул и знаю, что сорок!

— А если не сорок?

— Взыщи с меня штраф.

— Давай считать.

Муж и жена принялись считать. Мух оказалось больше пятидесяти.

— Вот так угадал! — сказала Дареджан, торжествуя.— Так и есть, угадал! Господин мой, видите ли, человек разумный,— потому и угадал!

Луарсабу стало неловко, он даже несколько растерялся.

— Улетели, а то было их сорок,— сказал глупец в свое оправдание.— Не иначе, как улетели!

— Улетели? Вот славно! Ведь тогда их должно бы быть меньше? А их там сейчас больше пятидесяти!..

Луарсаб опешил. «Что это я наплел?» — подумал он. Почувствовав, что попался впросак, и пытаясь замять свою неудачу, он оскалил зубы — княгиня называла это улыбкой — и сказал:

— Прокляни их, господь,— этого-то как раз я и не сообразил. А ведь сосчитал раза четыре!

— А как же ты говорил, что не считал?

— Удивляюсь я тебе! Не Соломон же я премуд-

рый, в самом деле, чтобы отгадать, не считая! Конечно, сосчитал, но, прокляни их господь, обсчитался! Не то я бы тебя переспорил, душенька моя. Как перед богом, переспорил бы!

Точно сахар, таял изобличенный Луарсаб перед разгневанной своей супругою.

— А говорит,— не считал, плут этакой! — не давала ему спуску Дареджан, также расплываясь в улыбке.

— Я же сознался, дорогая моя, клянусь чревом твоим. Чего же ты хочешь?

— Жизни и счастья тебе, турпа[1] мой! Чего мне еще хотеть?

— Дареджан! — смущенно, с огорчением в голосе произнес Луарсаб.— Дареджан! Если любишь — не называй меня турпа!

— Почему, шени чириме, почему?

— Не к лицу это такому человеку, как я, моя милая. Турпа — это собачья кличка. Так называют собачонок, разве пристало называть так человека?

— Значит, ты уже не мой песик? Так, значит? В первый раз слышу от тебя такое! — ответила Дареджан, и сердце ее разрывалось, потому что, думалось ей, если он отказывается быть ее песиком, значит, он ее больше не любит.

Луарсаб понял, что огорчил жену и огорчил понапрасну. Чтобы развеять ее сердечную обиду, он сказал, оскалив зубы:

— Да, дорогая моя, да! Я твой песик. Чем же мне еще быть?

«Как красноречива эта женщина, благослови господь ее родителей! — размышлял Луарсаб.— Как складно это у нее вышло — про меня и про песика — стихотворцу впору! Ну, и язык же у нее! И как это она ухитрилась?»

---

[1] Турпа — нежный, красивый, прелестный.

Ему захотелось и самому придумать что-нибудь столь же складное, ласковое, но всякий раз, когда он пытался это сделать, в эти трудные минуты в голову ему лезли балык, осетровая тешка, артала[1] с чесноком или что-нибудь в этом же роде. Но как выразить ласку с помощью этих предметов? Однако, Луарсаб все же исхитрился и нашел красочные слова:

— Знаешь, что ты для меня? Ты кресс-салат моей души, тархуна[2] ума и сердца! Что мне еще сказать? Ну, соль, вот еще что! Ловко я придумал,— скажи, заклинаю тебя, да не сгинет в аду твой именитый отец? Хорошо сказано, а?

Выболтав все это, Луарсаб, восхищенный собственным красноречием, опять оскалил зубы, что должно было означать восторг. И Дареджан осталась довольна.

Так, бывало, не раз проводили время наши супруги. Достойные зависти счастливцы, не так ли, читатель?

III

Луарсаб тоже умел — как он сам выражался — при случае «дать острастку» дворовым людям. Правда, он был малость ленив, но ведь надо же было управиться с таким большим родовым имением! Забота об имении порой вынуждала его расставаться с тахтой. Вот когда можно было увидеть Луарсаба во всем его великолепии! Босой, в синей папахе из калмыцких смушек, в красной рубахе с ее неизменным продолжением, с открытой грудью, пузатый, подкатывался он с трубкой в руке к перилам бал-

---

[1] Артала — говядина, сваренная особым способом, со специями.

[2] Тархуна — ароматная, съедобная трава.

коня и кричал осипшим от сна голосом управляющему Дато:

— Дато! Мясо привез с базара?

(Бывал и базар в той деревне.)

— Да, привез, шени чириме!

— Какой кусок?

— Лопатка, верхняя часть...

— А на шашлык?

— Филею добыл, шени чириме!

«Золотой человек»,— подумает, бывало, благодарный помещик и скажет Дато:

— Молодец, мой Дато! Если люди забудут, так бог не забудет верной службы господину! Молодец! Ты моя правая рука, надежная рука.

Услыхав такую похвалу, Дато почесывал голову и принужденно улыбался.

— Мезврэ [1] принес зелень? — продолжал барин.

— Принес.

— Тархуна есть?

— Есть.

— Огурцы?

— И огурцы.

На душе у Луарсаба становилось радостно. Будь здесь тахта, он разок-другой повернулся бы с боку на бок.

— Значит, дом — полная чаша? — с приятностью произнес помещик.

— Когда же у вас недостача бывала, шени чириме, чтобы сейчас ей быть?

— Так, мой Дато, так! Преданный слуга на весь мир разглашает славу и честь господского дома. Молодец! Если даже чего и нет, все же нужно говорить, что полная чаша! Ты человек бывалый, понимаешь и сам.

---

[1] Мезврэ — наблюдающий за виноградником. В винограднике часто сажали овощи.

— До каких лет дожил,— все тебе служу. Как же не знать, шени чириме?

— А еще вот что,— сказал немного погодя рачительный хозяин.— Арбы отправил?

— Отправил, шени чириме! Они уже, верно, за околицей.

— Куда же ты их отправил?

— На поле, шени чириме!

— Сколько?

— Барщинных четыре, да оброчных десять!

— Почему не пятнадцать оброчных?

— Сроду пятнадцати наши люди не запрягали, шени чириме,— откуда им взяться сегодня?

— Пятнадцать должно быть! Почему их нет? Знать ничего не хочу! Чтоб было пятнадцать! Разве так можно? Господскую волю выполнять надо! Выходит, я им уже не господин? Слыханное ли дело! Тьфу! Чтоб было пятнадцать. Я им покажу, что я господин, а они мои крепостные.

На самом деле у Луарсаба никогда не запрягалось больше десяти оброчных арб. Отчего же он так жестоко разгневался? Не понимал и Дато причины этого гнева. Он удивленно уставился на помещика и думал — не спятил ли тот? Но какой же это был бы Луарсаб, если бы он мог спятить? А коли попусту гневается, значит есть на то у него в башке какие-нибудь причины. Он, как и его дражайшая княгиня, похвалялся великим уменьем управляться с крепостными и слугами.

— Помещик должен так обращаться с крестьянином,— говаривал мудрый князь,— чтобы тот дни и ночи напролет дрожал от страха. Крестьяне — точно свинячья вошь: посади ее на ногу, она вползет на голову. Разве можно иначе? Страх, говорят, родит любовь!..

Еще бы, мой Луарсаб, еще бы...

Этот счастливейший из смертных и не подозревал

того, что у крестьян имелись совсем иные суждения и заключения насчет подобных беспричинных и напраслинных вспышек. Эх, что бы ты ни говорил, читатель, но супруги были уверены в том, что желудки их набиты доотвалу только в результате соответствующего умения управлять крепостными!

Вот эти-то глупые выходки и назывались у наивного князя «острасткой людям». Он был убежден в том, что эта «острастка» так же неукоснительно необходима для процветания хозяйства, как пища и питье человеку.

Поэтому, возвратясь в комнату, он самодовольно сообщал жене:

— Наконец-то удалось отправить арбы! — Луарсаб любил иногда приврать.— Но чего мне это стоило! Проклятье господне эти крестьяне! Пока не станешь над головою, не накричишь как следует, пальцем не шевельнут! Слыханное ли дело? Не будь меня, весь наш хлеб погнил бы на поле!

— Так, шени чириме,— поддакивала ему Дареджан, еще больше разжигая в нем тщеславие.— Так и надо. С той поры, как Ева соблазнила Адама, господом богом положено, чтобы мы в поте лица своего добывали хлеб свой!

— Так ведь это же не про князей сказано, это сказано про крестьян! — возразил Луарсаб.

— А князей тогда еще вовсе не было.

— Как не было? Были! Наш род с той поры ведет свое начало.

— Что ты говоришь? Рассуждаешь так, как будто ничего не знаешь! Тогда никого, кроме Адама и Евы, не было, не мог же Адам быть князем самому себе.

— И правда, я не сообразил. А вот что, дорогая, скажи: что́ это за дерево-то, плод которого они украли.

— Дерево добра и зла.

— А теперь такого дерева уже нет?

— Как нет? Говорят, есть в саду у русского царя золотая комната, в комнате оно и растет, все в яхонтовых листьях.

— В изумрудных, верно? — поправил Луарсаб.

— И вправду, в изумрудных. Изумруд ведь, как лист, зеленый! Да, листья изумрудные, а вместо плодов — все алмазы да яхонты.

— Покушать бы, вот вкусно, должно быть!

— Так тебя и пустили. Вокруг войска больше, чем песку в море.

— А как же турецкому султану удалось украсть?

— А вот как. Жила-была фея. Обернулась фея орлом, орел подкрался, сорвал большой алмаз и тихонько улетел.

— Стащила-таки, стащила! Вот хитрая фея!

— Ну да, стащила! Пожаловала царица, видит, нет большого алмаза, и тотчас же известила русского царя. Русский царь, оказывается, сразу догадался, что это дело рук султана, и объявил ему войну. Война эта и по сей день не кончилась.

— Значит, алмаз так у него и остался, так и остался?

— Кто знает? Война еще не кончилась!

— Хоть бы мне украсть!

— Так ведь повесили бы тебя!

— Я бы ничего не сказал. Проглотил бы — живот ведь не вспорют!

— Что вспороть, было бы хуже!

— Откуда им знать, что я взял?

— Не нашлось бы у них, шени чириме, гадалки, что ли, чтобы у нее спросить?

— Правда, об этом я не подумал! Погоди, вот еще что: а где тот алмаз, который проглотил Адам?

— Царь островной, оказывается, нашел его в море и себе забрал.

— Вот она справедливость господня! Видишь? Ах, не лучше ли было мне найти?

— Так бы его тебе и оставили! Оказывается, двести лет царь Востока и Запада воюет с царем островным... и все из-за этого.

— До сих пор никак не отымет?

— Никак.

— Ай, ай, ай! Видать, сильный он.

— Ну, конечно, сильный. Царь, да чтобы слабый был, слыханное ли это дело?

— Жил бы царь Ираклий, обязательно отнял бы! Великий, говорят, был важкаци[1].

— Конечно, отнял бы, да где ж,— нет его?

— Разве не грех, что он в земле гниет, а твой деверь Давид живой ходит?

— Да, как все в мире превратно! Это еще что!.. А вот царице Тамаре в черной земле лежать суждено, а твоя невестка светом солнечным любуется!

— Что поделаешь, так уж все в мире устроено,— заключил Луарсаб и вздохнул так, что если бы перед ним стояла свеча, она бы погасла.

По утрам Луарсаб и супруга его Дареджан, покончив с теми необычайными хозяйственными обязанностями, описание коих я представил выше, пили чай, основательно накачивались «теплой водою» — как называют чай наши крестьяне.

Время шло, и после одной или двух исполненных ума бесед, подобных хотя бы только что приведенным, наступала, наконец, обеденная пора, когда они еще раз наедались доотвалу — «по-нашему, по-старинке»,— после чего Луарсаб, впадая в некую сладостную истому, чистосердечно восклицал:

— Благодарю тебя, господи, яко насытил мя!

При этих словах он осенял себя крестным знамением, поспешно вставал от стола и тут же валился на

---

[1] Важкаци — сильный, смелый, мужественный человек.

тахту. Вполне довольный своей жизнью, он хлопал себя рукой по животу и приговаривал с каким-то бахвальством:

— Ну да, вот ежели я не ученый!.. Так уж... Как его... Как это сказать? Да... Живот мой от голоду сводит! Да, конечно, сводит! Так по животу и видно!

В виде опыта он еще разок хлопал себя по животу, словно желая удостовериться, плотно ли он набит. Удостоверившись, что не худо, с сугубым удовольствием скалил он по-лошадиному зубы.

— Да, конечно,— добавлял он обычно,— Луарсаб человек не ученый, изволите ли видеть! Оттого он и голоден...

После обеда — сон, потом опять пробуждение, опять чай, потом ужин и, наконец, снова все тот же вожделенный сон. Так сладостно, так безмятежно протекала безгрешная жизнь этих двух невинных душ в сем бренном мире, который ничего не ведал об их существовании так же, как и они, кроме еды и питья, не ведали ничего о сем, господом сотворенном, бренном, преходящем мире.

IV

Вот таким-то образом и за столь плодотворными умственными упражнениями протекали их дни.

Бывало, супруги вдоволь насладятся послеобеденным сном и к вечеру, в ту самую пору, когда легкий ветерок расправлял крылья, а длинная тень от садовой ограды достигала двора, княгиня Дареджан приказывала разложить в холодке облезлый ковер и располагалась на нем в парадном лечаки [1], наряд-

[1] Лечаки — часть женского головного убора; платок из легкой, прозрачной ткани.

ная, с высоко вскинутыми бровями — точь в точь кокетливая, гордая собою новобрачная.

Спускался с балкона и Луарсаб с неизменной трубкой в руках и в коши [1] на босу ногу, чаще всего в одной лишь красной рубахе и уж, конечно, в степенно заломленной синей калмыцкой папахе, и предавался в холодке обычному своему безделью.

Как и сами изволите знать, вечер у нас в деревне, особенно в Кахетии, пора приемов и бесед. С тех пор, как это проклятое просвещение проникло в нашу страну, оно, конечно, в какой-то степени вытеснило и этот наш достохвальный старинный обычай, так что иные прочие, понабравшись этого самого просвещения, стали нынче делать утренние визиты. Но в недавние еще времена вечерняя пора была в великом почете. Вот почему и Дареджан так наряжалась под вечер, представьте, даже подвязывала подушечку, извините за выражение, на хвостец. В описываемое мною время кринолин еще не вошел в употребление, а если бы даже и вошел, то вряд ли эта царица юбок добралась бы до той деревни!

Всякому прекрасно известно, что просвещение тяжело на подъем, особенно же в наших краях, где оно и вовсе ковыляет на одной ножке. Как же оно могло столь быстро донести до той деревни прославленную «хабарду» [2]? К тому же, говоря по совести, если бы просвещенный кринолин и добрался до деревни, то ему было бы трудно протиснуться меж изгородями иных деревенских проулков.

— Дай бог вам долгой жизни, калбатоно [3], —

---

[1] Коши — домашние туфли без задков, на деревянной подошве.

[2] Хабарда — буквально: «Посторонись!» В Грузии так называли иронически кринолины.

[3] Калбатони — госпожа. Калбатоно — звательный падеж. «Калбатоно» часто заменяется сокращенным «батоно» и в обращении к женщине.

приветствовала как-то княгиню ловко скроенная молодая крестьянка, покачивая длинными кавеби [1] и чуть-чуть кокетливо поджимая губы.

— Дай бог тебе жизни, моя Бабале! Что поделываете, все ли у тебя ладно? — приветливо ответила Дареджан, отнюдь не роняя при этом княжеского своего достоинства.

— Какое там ладно, шени квнесаме! Буйвол забрался в виноградник наших родичей, сторожа поймали его и вот уже двое суток держат в загоне. Шени чириме, умоляю вас, вы наша крестная [2], заступитесь, пусть господь продлит за это дни твои, шени квнесаме!

— Что? Велеть отпустить?

— Да, жизнью твоей заклинаю, насчет этого и просим, калбатоно!

— Как это можно, моя Бабале! Правда, крестила я у тебя, но ведь сколько разговоров по деревне пойдет! Все о том же просить будут.

— Бог вознаградит тебя долголетием господина нашего! Спросите с нас, что вашей милости угодно, — все сделаем! Вот и ныне, шени квнесаме, принесла я вам шелку. Мы и впредь покорные ваши рабы, сколько хватит сил, милостью вашей и господней.

Бабале вынула из кармана моток шелку и подала княгине.

Княгиня приняла подарок, подложила его под себя и сказала:

— Разве я и без этого не сделала бы, что можно? Луарсаб! Луарсаб! — позвала она мужа, который слонялся тут же неподалеку и уже успел кинуть раза два жадный, плотоядный взгляд на статную крестьянку.

---

[1] Кавеби — локоны, часто искусственные, свисающие вдоль щек из-под головного убора.

[2] В оригинале: «Пусть святое миро, связующее нас, продлит твои дни». Подразумевается обряд крещения и возникавшая из него родственная связь.

Луарсаб подошел ближе.

— Сторожа загнали буйвола Бабале. Пришла просить, чтоб ты приказал выпустить его.

Луарсаб перевел взгляд на молодую женщину, которая, как того требовал обычай, отвернула лицо. В знак удовольствия Луарсаб, как всегда, оскалил зубы, другими словами, вроде как бы соблазнительно улыбнулся.

— Буйвол, говоришь?

— Да, буйвол,— подтвердила Дареджан.— А вот она тебе моток шелку принесла.

— Так, ладно!.. Дато! Бичо! Дато! — крикнул Луарсаб.— Поди, скажи узбаши[1], чтобы он сейчас же выпустил буйвола моей кумы, не то все кругом разнесу в пух и прах!

Сказав это, он еще раз соблазнительно ощерился и гордо, с победительным видом, удалился, чтобы предаться прежнему ничегонеделанию.

— Ай, пусть бог тебе за это пошлет еще больше почета и славы, пусть благословит тебя добрым сыном, и вскормить бы мне его своею грудью, шени квнесаме, батоно и калбатоно!

— Видишь,— сказала Дареджан, когда Луарсаб удалился,— видишь, как он разгневался на них: «Все кругом, говорит, разнесу!»

— Большой барин, шен генацвале[2],— вот в чем дело!

— Конечно, да и слава о нем по всей деревне идет! А вот Давида, деверя моего, никто и за человека не считает.

— Куда ему, шени квнесаме, до вас! Этак и Елисабед, выходит, тоже вроде княгиня, как и вы?

---

[1] Узбаши — сотник; в данном случае — старший.

[2] Непереводимое ласковое обращение. Дословно — «я за тебя», подразумевается: «во всех твоих бедах».

— А поди, поговори с ней,— нет ей равной на свете!

— Уй, не дожить ей до этого! Была я вчера у соседей, забежала туда же ихняя служанка. Что она о них рассказывала — в жизни такого не слыхала!

— Что, милая, что? — поспешно и нетерпеливо спросила Дареджан.

— А то, что купила, оказывается, бедная девушка себе шелковый платок, деньги-то ведь собственными руками заработаны. Как увидела Елисабед — отняла! Сама теперь платком этим голову повязывает. Жалко нам девушку, клянусь вами, калбатоно,— так несчастная слезами и заливается, когда рассказывает. Я что̀,— прах от ваших ног, да и то побрезговала бы, клянусь памятью моего отца!

— Уй, уй, смотрите-ка! Вот проклятая! И она еще смеет называться княгиней! Отняла — это пустяки, на то ее господская воля: и девушка моя и шелковый платок ее мой. Но повязать голову платком дворовой девки,— да это просто срам! Вот поистине, «куда конь с копытом, туда и рак с клешней» [1]. Чтоб ее громом поразило! И она после этого смеет к нам втираться,— княгиня, видите ли! Больше ничего девушка не рассказывала?

— Нет, ничего не говорила.

— Не скрывай от меня, моя Бабале. Сама знаешь: я твоя благодетельница. Скажи, может быть, еще что-нибудь было?

— Ничего не говорила, клянусь покойным отцом! Зачем мне от вас скрывать?

— Как знать? Может, боишься?

— Чего же бояться, когда имеешь такую, как вы, благодетельницу?

---

[1] В подлиннике дословно так: «Черепаха ножку высунула: и я, мол, тоже рогатая скотинка».

— Вот и я говорю то же, моя Бабале!

— Конечно, крестьяне мы, но и мы это понимаем! Кого мне бояться с такой защитницей?

— Так, значит, ничего больше не говорила?

— Не говорила, нет,— не увидать бы вам меня в земле!

— Наверное не говорила?

— Клянусь жизнью моего единственного ребенка,— ничего больше не говорила!

— Кстати, как твой ребенок?— спросила Дареджан, ничего не добившись.

— Да как ему быть, шени квнесаме, калбатоно? Пусть враг твой захворает так, как он у меня хворает! Чего я только ни делала: в отварах из трав купала, заговоры над ним читали, ладонки подвязывала — ничего не помогает,— пусть так же врагу твоему ничего не поможет! К вам притти научили — будто вы много всяких заговоров знаете,— помогите, как можете, да вознаградит вас бог за это!

— Я знаю молитвы только от шакики[1] и от порчи. Разве у ребенка твоего шакики?

— Да, клянусь вами, шакики. Вот-вот голова от нее треснет!

— Девушка, Ламазисеуло! — позвала княгиня.— Поди принеси мне перо, чернила и лоскуток бумаги, что лежит под войлоком. Я напишу тебе, моя Бабале, молитву, а ты приложи записку к тому месту, где болит, пусть так с молитвою три дня и остается. Если это шакики, тотчас же уймет боль.

Смотри-ка, читатель! Я полагал, что княгиня Дареджан вовсе неученая женщина, а на самом деле чего-чего она только не знает! Теперь я вспоминаю, что ее невестка, Елисабед (та самая, которую мы дважды уже упомянули), жившая самостоятельным хозяйством после того, как братья разделились, оказы-

---

[1] Шакики — мигрень.

вается, всему свету нашептывала под секретом, будто Дареджан занимается колдовством, будто она читала даже книги Соломона Премудрого, и вот за это именно господь и разгневался на нее и не дает ей потомства. Но разве могу я поверить такому навету? Елисабед из себя выходила, все клялась, что так оно и есть. А я все-таки не верю: невестка — сами изволите знать, как это бывает в нашей благословенной жизни,— невестка невестке враг. Такие ли еще небылицы распространяла Елисабед про Дареджан?

В это мгновение тявкнула собака, лежавшая неподалеку, уткнувшись носом в землю. Но открыв глаза и узнав двух проходивших женщин, она раздумала лаять и с глухим ворчанием, притворяясь сердитой, вновь уткнулась носом в вырытую лапами ямку.

Обернулась, услыхав это тявканье, и Дареджан и увидела княгиню Елисабед и ту самую горемычную девушку, у которой Елисабед отняла платок.

Дареджан приподнялась.

— Милости просим, невестушка! — приветствовала она Елисабед.— Наконец-то вы вспомнили о нас...

— Клянусь твоей жизнью, нет ни минуты досуга! То то, то се, дом, хозяйство, сами изволите знать...

— Сюда пожалуйте, здесь прохладнее! — приглашала Дареджан.

— Все равно,— сказала Елисабед и, скинув с ног шитые чувяки, ступила на ковер и уселась рядом с Дареджан.

— Как изволите здравствовать? Надеюсь, деверь мой, Давид, пребывает в добром здоровьи? — завела Дареджан.

— Благодарю вас, здоров! — ответила Елисабед.

— Изволит быть дома?

— Разве в такую пору добрый хозяин своего имения и урожая сидит дома? Уже два дня, как он в поле,— сказала Елисабед не без колкости и невольно взглянула на Луарсаба, который продолжал слоняться без толку и которому плевать было и на имение и на урожай.

Дареджан обиделась. Она решила, что Елисабед кинула камешек в Луарсабов огород.

— Конечно, у кого нет подходящего человека, который мог бы присмотреть за домом, да кто еще с малолетства воспитан так, что привык работать в зной, и кому это не вредно — тому дома незачем оставаться. Мой Луарсаб не такой.

— Разве я про него говорю?— поспешила заметить Елисабед.

— Да и я не про него,— подхватила Дареджан,— я только хотела сказать, что моему Луарсабу, слава богу, нет никакой нужды унижаться и работать, как работают простые крестьяне.

— Как простые крестьяне? Что вы говорите, невестушка! Нет, клянусь вами! Разве во время жатвы не сидит дома только тот, кого гонит нужда, или тот, кому по-крестьянски работать приходится вместе с оброчным людом, вроде поденщика какого-нибудь пот на жатве проливать? Нет, клянусь вашей жизнью! Взять хотя бы вашего деверя. Разве оттого, что он в поле выходит, он уже крестьянин? Разве унизится он до того, чтобы по-крестьянски работать? Нисколько, клянусь вашей жизнью! Люди жнут, а у него на руке сокол ученый да красивый. Охотится князь, как князю и подобает. Не далее, как вчера вечером, он прислал целую сумку перепелов с мальчиком, что приходил с поля наверх за едой. Что ж тут недостойного, шени чириме? Цари — и те охотятся! Почему же для него это унизительно?

— Нет, клянусь вами, невестушка, я совсем не думала о моем девере! И разве он не брат Луар-

сабу, не одной с ним крови и плоти? Разве я не знаю, что он не станет, как другие, утруждать свои руки серпом или жариться в зной на солнцепеке? Разве я не знаю, что это не под силу настоящему князю, да, по правде сказать, и недостойно! Надо, чтобы в князе был всегда виден князь, в мужике — мужик.

— Правильно изволили сказать, клянусь вами!

— Да как же иначе? Кто сравняет горы и долины?

— Никто, клянусь! Кто посмеет нарушить заповедь божию?

В это мгновение Дареджан, услыхав чьи-то шаги, обернулась и увидала свою служанку Ламазисеули. В руке у нее был какой-то листочек и пузырек из-под лекарства с отбитым горлышком, исполнявший роль чернильницы.

— Ты где пропадала? Она уже ушла! — упрекнула Дареджан.

— Она еще здесь, в чалури, у Таплуа,— ответила девушка.

— Хорошо,— сказала Дареджан и, пристроив листок на коленях, принялась писать молитву от мигрени. К тому времени подошел и Луарсаб, в шальварах и ахалухи[1]. Любезно поздоровавшись с невесткой, он растянулся тут же на зеленой траве возле ковра и, упокоив чубук на почтенном своем животе, устремил взоры в небесный купол.

Восхитительную картину представляла собою эта группа! Попытаюсь описать ее, если хватит сил и уменья. Начну с девушки.

Ну, и смешная же эта Ламазисеули, несуразно расплывшаяся от жиру, коренастая, нечистоплотная! На ней платье из грубого ситца, грязное до такой степени, что не угадать, какого оно цвета; подол ме-

---

[1] Ахалухи — длиннополая одежда из шелка или бумажной ткани. Надевается под черкеску (чоху).

стами прожжен — оттого, что зимою она частенько валяется у самого огня,— истлел и изодрался; из прорех выглядывают клочья какого-то ветхого одеяла, которое свисает пониже платья, являя собою подобие юбки. Да разразят тебя громы небесные! И ей, видите ли, приспичило надеть юбку! Голова повязана рваным шелковым платком — господские обноски. Сквозь дыры комьями торчат сбитые, точно шерсть в мутаке, черные волосы,— извините — кишащие гнидами и незнакомые с гребнем. Ноги с потрескавшимися пятками — точь в точь обуглившиеся головни, руки — темно-коричневые от впитавшейся в них ореховой кожуры, лицо — лоснящееся от кухонной сажи,— такова была внешность того создания, которое Дареджан именовала Ламазисеули — красоткой — и которое, скрестив на груди руки, стояло, уставившись взглядом на потертый ковер.

На ковре, как я уже вам докладывал раньше, восседают две благородные, почтенные княгини,— две княгини, нисколько не похожие друг на друга: одна — полная, краснощекая, другая — тощая и бледная. Полная, склонив голову, пишет; тощая зорко следит за движениями руки пишущей: «А ну как удастся узнать, что она пишет?» Порою она кивает головою и подмигивает служанке в знак вопроса: «О ком, мол, было давеча сказано, что она уже ушла?»

Девушка тоже отвечает ей знаками, но Елисабед никак не может их понять. Служанка отворачивается, прикрывая лицо рукою. Ей, видимо, и смешно, что Елисабед, несмотря на все старания, ничего не понимает, и неловко оттого, что она дерзнула рассмеяться при бариновой невестке.

Рядом на траве, животом вверх, покоится наш Луарсаб, усердно сопит, дымит трубкой и неотрывно следит за вылетающим из нее дымом до тех пор, пока не начинают слезиться глаза: «Погляжу, мол,

подымется он до облаков или не дотянет?» Тут же неподалеку, по эту сторону плетня, пониже ковра лежит знакомая нам дворняга, попрежнему уткнувшись носом в землю, с зажмуренными в истоме глазами. Когда до нее доносятся какие-либо звуки, она каждый раз через силу открывает глаза и ворчит, точно сердясь, что нарушили ее покой. Чуть подальше виден старый-престарый нечищенный самовар. Тут же стоит на коленях мальчуган, еще более, чем девушка, оборванный и грязный. Он что есть мочи дует в трубу, время от времени кидая украдчивый взгляд в ту сторону, где, наслаждаясь безграничным покоем, нежится собака. Тогда на лице мальчика мелькает нечто вроде зависти, и кажется, будто он думает: «Счастливая ты, что уродилась собакой! Хоть бы и мне собакой родиться!» Это мерзкое видение мерзостной земли нелепейшим образом сочетается с величественным южным небом, с его ровным глубоким мерцающим куполом, на фоне которого единой непрерывной чертой извивается, точно пояс, лазурная цепь горных вершин.

Время шло. Дареджан дописала молитву и передала листок девушке, добавив при этом:

— Скажи, пускай делает, как я наказывала!

Затем она обратилась к Елисабед и, чтобы занять ее, вновь завела беседу. Луарсаб все еще утопал в грезах.

— Как у вас в этом году хлеб уродился? — спросила Дареджан.

— Клянусь вами, хуже, чем в прошлом! Ваш деверь надеется собрать все же тридцать арб! — прихвастнула Елисабед.

— Это, батоно, хороший урожай! Тридцать арб — не шутка! У нас будет столько же, а ведь вспахали мы вдвое больше, чем вы, — солгала в свою очередь и Дареджан.

— Что вы, невестушка! Что сказать изволили!

Как это у вас может быть больше, чем у нас, вспахано? Мы в этом году много вспахали!

— Как может быть больше? Мы уже в средине июля пахать выехали, а вы и в сентябре еще не начинали.

— Клянусь, мы раньше вас начали. Мы много нынче вспахали.

— Да вот, батоно, спросите хоть у Луарсаба! Он — мужчина, ему лучше знать. Луарсаб! — окликнула княгиня супруга.

— Что? — отозвался Луарсаб, с трудом поворачиваясь к жене.

— Твоя невестка говорит, будто у нас земли нынче вспахано меньше, чем у них.

— Э, что ты говоришь, невестушка! В этом году мы вспахали вчетверо больше вас, — сказал Луарсаб. В таких случаях Луарсаб бывал непомерно хвастлив. — Что вы изволите говорить!.. Такого урожая, как у меня, ни у кого в Кахетии не бывает, да и в Карталинии мало кто соберет столько. Вот увидишь, сколько у меня на току скирд встанет, да таких... что... что... Ну, как вам сказать? Вот хотя бы с двенадцать этаких домов — да минуют Луарсаба все беды!.. Вот у меня урожай, так урожай! Точь в точь, как с виноградом в прошлом году. Столько вина, сколько у меня — никто в Кахетии не получит! А в Карталинии и половины от половины не выжмут. А то как же? Если бы не это, как бы я жил вот этак, по-царски? Откуда? Я же не сдаю арб своих в наем, как Леван! Не позорю княжеской крови, не армянин я ведь, чтоб зарабатывать да на заработок жить. Я — князь, человек из достойной семьи знатного рода!

Он хотел еще что-то сказать, но Елисабед перебила его:

— Разве правда, деверь, что Леван отдает арбы в наем?

— Правда! А то как же? Бесстыдник он, имя свое позорит!

— И Николоз, говорят, тоже отдает? — ввернула Дареджан.

— А то как же! — поддакнул Луарсаб.

— Уй, позор на их головы! Нечего сказать, достойные представители своего рода,— сказала Елисабед.

— Хотя бы князем не назывался! — сокрушенно добавила Дареджан.

— То-то и есть, что князь! — сердито подтвердил Луарсаб.— Не будь он князь, прах с ним! Будь он крестьянин или армянин,— куда ни шло! Это-то меня и убивает, что он князь. До чего народ испортился, шени чириме! Дожили до того, что князь на арбах зарабатывает!

— И каких родителей сын! — в свою очередь воскликнула Елисабед.

— То-то и есть,— подтвердил Луарсаб.

— Как может человек дойти до такого бесчестья?— продолжала Елисабед.

— Как после этого отличить князя от крестьянина? И крестьянин арбы сдает, и князь! И тот зарабатывает, и этот! Как отличить? — недоумевал Луарсаб.

— Никак, клянусь вами! — сказала невестка.

— В том-то и дело, что никак! — поддакнула и жена.

— Если бы я с голоду помирал, с голоду, и если бы у меня запрягалось хоть сто арб, я бы этого себе не позволил, жизнью своею клянусь! А ты, невестушка?

— Уй, чтоб мне раньше пропасть! Я бы скорее собственными руками себя убила, чем так унизиться! Пускай прахом идет заработанное богатство. Не княжеское это дело!

— А ты, Дареджан? — обратился пытливый князь на этот раз к жене.

— Я тоже,— сказала Дареджан.

— Ну, и я тоже не позволил бы себе этого,— произнес Луарсаб таким тоном, словно мнение этих трех собеседников определяло судьбы трех государств.

— Нет, очень все изменилось на свете, невестушка! — продолжал Луарсаб свою речь.— Народ развратился, кровь испоганилась! Какому князю в наше время могло притти в голову унизиться до того, чтобы на арбах зарабатывать? Разве мы не побили бы его камнями? Разве мы не предали бы его позору? Ну, а теперь? Да проклянет их господь! Торгуют, вот до чего дошли! Слыханное ли дело, князь — и вином торгует! О, господи, отчего не смоет их потоп! Князья превратились в армян, совсем армяне [1]. Не хватает только, чтоб с адли [2] под мышкой пошли по деревням и кричали: «товары! товары!»

— Дойдут и до этого, клянусь вами,— подтвердила Елисабед.— Избави меня боже дожить до такого времени.

— Дойдут, головой клянусь, дойдут! — с сокрушением произнес Луарсаб.— Породы-то ведь, господа, уже не осталось. Испоганилась кровь, перевелась порода.

— И вправду испоганилась,— поддержала Дареджан.

— Вот, к примеру, что сделала давеча жена Закария! — воскликнула злоязычная Елисабед.— Знаете, что сделала? Рассердилась она на слугу... Она ведь злющая, эта жена Закария!

— Да еще какая! Ужас!.. — поддакнула Дареджан.

— Так вот, рассердилась на слугу,— продолжала

[1] См. примечание в конце книги, стр. 396.
[2] Адли — старинная мера, приблизительно равная метру.

Елисабед,— да как примется за него! Скинула с ног то ли чувяки, то ли коши — верно, коши — и до тех пор била, пока не избила до бесчувствия.

— Нет, ты правду говоришь? Как в бога веруешь? — спросил изумясь Луарсаб.

— Клянусь вашей жизнью!

— Что я слышу, шени чириме? Да, может, она мальчика побила?

— В том-то и дело, что нет. Мальчишку побить — пустяки. Случается, и я поколачиваю,— сказала Елисабед.

— И я тоже, клянусь вами! — заявила Дареджан.— Что мальчик, что девушка — все одно. Никто не осудит госпожу за то, что иной раз приколотит она свою девушку. Также и мальчишку ударить можно...

— Конечно,— перебила Елисабед,— никто не осудит за то, что бьешь мальчика, но это, изволите ли видеть, был совсем взрослый мужчина. Женщина — и вдруг с мужчиной дерется! Нехорошо, клянусь вами!

— О, господи! — произнес Луарсаб, осеняя себя крестным знамением.— Что слышу, шени чириме! Женщина забылась до того, что поколотила взрослого мужчину! Побить — ничего, за это господина кто осудит? На то и господин: хочу — бью, хочу — не бью. Но мужчину должен бить мужчина! Небывалое дело, чтобы женщина его била! Неслыханное дело! Есть у нее дворовая девка — пускай девку и бьет, сколько душе угодно, так оно и следует, но мужчину... О, господи, избави меня от грехов мира сего!

— Это еще что...— принялась было снова сплетничать Елисабед, но как раз в эту минуту подали чай.

— Не забудьте, что вы хотели сказать, невестушка! — сказала Дареджан.— Прошу — чаю...

— Нет, берите сначала вы, все равно,— ответила Елисабед и схватила стакан.

Всех обнесли чаем.

Едва пригубив, Елисабед возвратилась к прерванной беседе.

— Вот про что я вам докладывала... Знаете, что этот подлый Николоз, оказывается, сделал? Задумал ухаживать за собственной дворовой девкой, и как-то в сумерки...— тут она что-то шепнула Дареджан на ухо.— Слуги подглядели, сообщили госпоже, несчастная женщина пришла и упала без чувств. Вот как, батоно!

— Неужели правда?

— Клянусь вашей жизнью, не увидеть мне вас в гробу! — солгала Елисабед и, как бы болея душою за жену Николоза, добавила: — Жаль только мне эту несчастную женщину, а то — пусть Николоз хоть голову себе о камни расшибет!

— До каких страшных времен дожить нам довелось, шени чириме! — сказал Луарсаб от всего сердца.— Второе пришествие близко, не иначе! Да что же это? Женщина ведет себя нынче совсем не по-женски, а мужчина — не по-мужски! Недаром являлись нам эти хвостатые звезды: и в самом деле, видно, близок час божьей кары. Ведь слыхом не слыхано, видом не видано, чтобы женщина била мужчину или чтобы муж неприкровенно на такие дела решался! Не стало стыда в теперешнее время, потеряли мы совесть.

— Нет, сделай он как-нибудь потихоньку, проклятый,— ну тогда бы еще ничего...— сказала Дареджан.

— Если бы втихомолку, никто бы ничего и не сказал! — перебил Луарсаб.— Разве и в прежние времена не бывало таких историй? Ведь и раньше люди все такие же были, с плотью и кровью. Однако, раньше все оставалось шито-крыто. Так дело обставляли, чтобы ни одна живая душа не узнала. Много подобных случаев и в старину бывало, да

разве вы хоть раз о них слышали? Раньше все тихонечко, разумно устраивали, потому что у людей совесть была! Теперь, батоно, уже ничего не стыдятся. Совести нынче не стало, совести! Испоганился свет!

— Воистину, все это знаки второго пришествия,— добавила Дареджан.

— Воистину! А я вот еще что узнала... Ушлите девку и мальчика, тогда расскажу,— сказала Елисабед.

Девушку и мальчика услали. Елисабед оглянулась по сторонам и, убедившись в том, что поблизости никого нет, подсела поближе. Луарсаб навострил уши и тоже придвинулся, а Дареджан, чтобы лучше слышать, заложила за ухо лечаки. Елисабед заговорила, понизив голос:

— Помните, недавно появилась на небе звезда хвостатая?

— Как же! — в один голос ответили муж и жена.

— В тот день гвелешапи — дракон — гнался за солнцем. И про это слыхали?

— Как же, как же, слыхали! — воскликнули разом испуганные супруги.

— По случаю появления хвостатой звезды и гвелешапи армянские тертеры[1] раскрыли, оказывается, подходящее место в своем карабадини[2] и прочли,— тут она заговорила еще тише,— что у князей скоро отберут крепостных.

— О, горе тебе, Луарсаб,— бледнея, вскричал Луарсаб.— Что ты говоришь? Что? Я же вам докладывал, батоно, быть потопу! Вот она, кара божья! И все по грехам нашим! Клянусь блаженной памятью отца моего Заала,— пойду изобью и Левана, и

---

[1] Тертер — священник (по-армянски).

[2] Карабадини — старинный лечебник, содержащий также ряд метеорологических и астрономических предсказаний.

Николоза, и жену Закария. От них все эти несчастья! Пускай попробуют впредь отдавать арбы в наем!..

— Чего ты так волнуешься, дорогой мой? — прервала Луарсаба жена.— Как можно верить армянскому карабадини? Ведь это они же выдумали в позапрошлом году, будто земля у быка на рогах стоит, будто рог один у этого быка сломался, и мир вот-вот перевернется. А все оказалось неправдою! Гадалка,— та, что в Гареджи,— сказала, оказывается, что никакой рог не ломался, и вообще ничего такого не происходило.

— В самом деле, об этом я и не вспомнил! — внезапно успокаиваясь, промолвил Луарсаб.— Враки, конечно! Кто посмеет, дорогая, по слову армянского карабадини отобрать у меня то, что пожаловано царем Ираклием? И еще: какие же мы будем князья без крепостных? Что́ карабадини! Будь то хоть книга Соломона, и то не поверю! Да разве можно этому поверить?

— Конечно, верить нельзя, но, говорят, слушок-то об этом прошел по крестьянству. Вот что нехорошо, клянусь вами! — возразила Елисабед.

— Слушок прошел? Подумаешь! Так вот и отняли у меня, у князя Таткаридзе, мое княжество! А разве в прошлом году не кричали: на том, мол, свете господа станут рабами, а рабы — господами? Но да будет благословенна милость господня, оказывается, что и там, как и тут, господа остаются господами, а рабы — рабами. Говорят, покойный английский царь сбросил с того света французскому царю письмо: «Не бойся, дескать, и я, и мои вельможи живем здесь еще в большем почете, нежели там, на земле, жили. Не верь тому, что у вас болтают!»

— Конечно, так оно, верно, и есть! Господь бог сам учредил, чтобы были господа и крепостные. За-

чем же ему-то отменять свое слово? Да святится имя господне! — подтвердила Дареджан.

— В евангелии сказано: кесарево — кесарю, а божье — богу. Кесари — это мы,— добавила Елисабед.

— Правильно изволили заметить, невестушка! Кто же преступит слово евангельское?— сказала Дареджан.

— Никто, жизнью вашей клянусь! — ответила Елисабед и собралась во-свояси.— Всего вам доброго!

— Прощайте, невестушка. Пустите слух среди людей, что все это враки! — посоветовал Луарсаб.

— Не худо, если б и вы то же сделали: ведь они, крестьяне, легко верят и лжи и правде. Прощайте!

Елисабед простилась и ушла. Следом за нею поплелась и обиженная ею девушка.

— Господи, какая сплетница! Какая злоязычница! — сказала Дареджан мужу про Елисабед.

— Нужно же такое выдумать, шени чириме, будто крепостных у нас отберут! — поддержал жену Луарсаб.

— А ты сейчас же и поверил?

— Карабадини, говорит, предсказало,— поди, не поверь! А вот что гадалка из Гареджи не раз изобличала армянское карабадини, я, признаться, не сразу вспомнил.

— А где был твой разум?

— Э, да благословит тебя бог! Разум на месте, да не вспомнил я! Если бы я помнил все, что когда-нибудь слышал, чего же мне больше? Был бы я Соломоном Премудрым! Да, кроме того, мало ли что творит дьявол на свете,— возможно, это тоже одна из его проделок. Чего только за грехи наши не случалось в сем грешном мире? Может, когда-нибудь и такая вещь случится! Но, как говорится, береже-

ного бог бережет,— давай всем скажем, что все это враки.

— Да, конечно, было бы не худо! Мы от этого ничего не потеряем.

— Ничего не потеряем, клянусь тобою! Сейчас же позову Дато и скажу. Дато! Дато! — крикнул помещик.

— Батоно! — послышался откуда-то издалека голос Дато.— Сейчас!

Немного времени спустя явился Дато.

— Что прикажете? — спросил Дато господина.

— А вот что: говорят, будто у нас отберут крепостных, так это все враки. Понял? Всем скажи, что враки. Царь, оказывается, написал: повешу, мол, каждого, кто скажет, что это правда, или даже только подумает! Понял?

— Понял, шени чириме,— ответил Дато.— Да разве кто-нибудь такое думает? Городят всякий вздор мальцы и девчонки, шени чириме, кто им поверит? Кому охота верить болтовне малолеток? Поговорят и перестанут.

— Так повсюду и говори, мой Дато! Да какой и вам прок без нас? Как вы без нас жить станете?

— Дай бог врагу твоему такое житье, шени чириме!

— Как-никак, а мы, словно отцы родные, о вас печемся.

— Поистине, шени чириме, вы — наш отец, мы — дети ваши! Если и случится поругаете иной раз или отберете что-нибудь, хотя бы и силком, так что же? Все нам же на пользу! Разве не сердится отец на детей своих?

— Конечно, сердится, а все-таки сын остается сыном, а отец — отцом.

— Правильно изволили сказать! А есть такие, что этого не понимают. Говорят, что мое, то моим и

должно быть, зачем, мол, барин берет. Они не понимают того, что если барин что и возьмет, так для их же пользы! Сами знать изволите: крестьяне — народ темный.

— Конечно, темный,— вмешалась Дареджан.— На то и помещик, чтоб обругать и взять. Как же иначе? Да к тому же ведь берет не чужой кто, а свой же господин.

— Правду изволили сказать: какой он чужой, если отец?— не без лукавства добавил Дато.

— Забыли, что ли, что во всем и всегда есть старшие и младшие?— спросил Луарсаб.— Вот взять хотя бы пальцы. Посмотри: один подлиннее, другой покороче. Почему? Потому что бог такими их создал! Так и во всем: одни старшие, другие младшие, одни больше, другие меньше. А ну-ка, погляди сам!

— Да разве я не смотрел, шени чириме? И большой и малый есть, но — будь благословенно правосудие господне! — он их так сотворил, что они друг другу не мешают,— сказал лукавый Дато.

— Ну да! Во всем так: одно большое, другое малое. Как же так, чтобы между нами разницы не было? Как такому поверить?— продолжал Луарсаб. Намека Дато он не понял.

— У кого мозги в голове, тот не поверит, шени чириме, а кто безмозглый, тот говорит, будто правда.

— Как правда?— не выдержала Дареджан.— В чем провинились мы перед царем, чтобы он вдруг крепостных у нас отобрал? Или вы чем вольную от него заслужили? Как вы этого не сообразили?

— Говорят, шени чириме, будто умные люди написали, что так всему миру лучше будет. Вранье, должно быть.

— Вранье, а то как же?— вскричал Луарсаб.— Какой умный человек, если он не иудино отродье, этакое скажет?

— Да поразит гром такого умника! — присыпала проклятьем Дареджан.

— Как это может быть правдой? Ты знаешь, что сказала гадалка из Гареджи? — спросил Луарсаб.

— Нет, шени чириме. Что же она сказала?

— А то, что все это враки!

— Попробуй, не поверь такой прозорливице! — добавила Дареджан.

— Я вперед знал, что враки, шени чириме. Ну, что путного выйдет для нас без господ? Крестьяне говорят: покинутый храм — чертям добыча. Так и с нами будет. В соблазн только вводят и нас, крестьян, и князей: для всего мира, мол, лучше будет. Но разве в это кто поверит?

— Если меня не будет, так пусть хоть весь мир пропадет, до последнего корня. Так и Бодбели говорит: «Пусть не останется камня на камне», — сказал Луарсаб. — Для всего мира, говорят, лучше? Когда не будет нас с тобою, к чему нам этот мир? А ну его к праху! Так ведь, Дато?

— Воистину, шени чириме. Вранье все это. Я многим говорил, что вранье, да что-то не верят.

— Ты скажи: барин сам, собственными устами сказать, мол, изволили. Неужели и тогда не поверят? — распорядился Луарсаб.

— Тогда, конечно, должны поверить, шени чириме!

— Так всем и передай, мой Дато.

— Воля ваша. Прикажете уйти?

— Ступай!

Дато удалился. Кто знает, как смеялся в душе этот льстивый раб!

— Нет, он понял, что враки, — сказала Дареджан, когда Дато ушел.

— Умный человек, оттого и понял, — ответил Луарсаб.

V

— Все это прекрасно,— а что у нас к ужину сегодня? — спросил Луарсаб свою супругу как-то под вечер, в тот час, когда уже курам время садиться на нашест.— Дареджан! Не слышишь, жена? Что у нас сегодня к ужину?

— Как что, дорогой мой? Слава богу, всего у нас вдоволь,— успокоила Дареджан.

— А все же?

— От обеда осталась превосходная холодная говядина, есть превосходный свиной филей, превосходный...

Она хотела еще что-то назвать, но при одном упоминании о свином филее восхищенный Луарсаб прервал ее:

— Уф, уф, уф! Этот свиной филей, тобою клянусь, кое-чего да стоит. У меня сегодня вечером что-то разыгрался аппетит.

— Есть еще балык, пешкеш от того человека, что вино у нас купил. Так жир и течет...

— Уф, и это хорошо! Еще?

— Хлеб да сыр, да душевный мир.

— И это не плохо, тобою клянусь! Такого ужина, как у нас с тобою, и у царя не бывает!

Разыгрался аппетит у помещика, набил он чубук и, в ожидании ужина, нетерпеливо заходил по тесной комнате. Погруженный в какие-то размышления, он время от времени неожиданно восклицал:

— Свиной филей? Клянусь тобою, хорошо!

Ужину, как и всему в сем бренном мире, пришел конец. Ублаготворенный Луарсаб, валяясь на тахте, предался заботам о грядущем дне. Как же иначе? — Хозяин он был домовитый.

— Вот и ужин с божьей помощью одолели. Теперь подумаем о завтрашнем дне. Завтра ведь то-

же кушать надо,— так уж создал человека благословенный господь! Чего бы нам поесть завтра?

— Завтра?— призадумалась Дареджан, как будто ей на долю выпало разрешение трудной задачи.— Завтра? Постой, дай сообразить... Завтра? Как ты насчет арталы?

— Уф, уф! Клянусь тобою, прекрасно придумала! Как я насчет арталы? Я — как ваци[1], совсем как ваци,— ответил неуемный в обжорстве своем князь.— Молодец Дареджан! Хорошая, жирная артала, как ее наш Тедо готовит, с чесночком,— стоит целого царства, как бог свят! Очень хорошо! А еще? Этого же нам не хватит.

— А если добавить хорошую чихиртму[2]? — с лукавой улыбкой вопросила княгиня.

— Чихиртма? Чихиртма, а? Нет, моя милая, бозбаши[3] лучше,— возразил после краткого раздумья Луарсаб.

— Затвердил свое! Чем лучше?

— Ва! Бозбаши с ткемали[4]! — воскликнул Луарсаб таким тоном, словно был охвачен изумлением: такая умная женщина и не понимает простой истины.

— Жизнью твоею клянусь, Луарсаб, бозбаши ничем не лучше чихиртмы, приготовленной как следует.

— Ва! — вскричал Луарсаб, приходя в еще большее изумление.— Чихиртма лучше бозбаши с ткемали? Бозбаши само по себе чего стоит, да еще с ткемали? Что ты говоришь, что? А ну-ка, обмакни кусок хлеба в жирный бозбаши! Да ведь один

---

[1] Ваци — козел-самец; смысл — «я молодец!»

[2] Чихиртма — куриный бульон, заправленный уксусом и яичными желтками.

[3] Бозбаши — суп на баранине.

[4] Ткемали — приправа из кислой сливы.

этот кусок хлеба мне слаще целого котла чихиртмы. И после этого ты станешь меня убеждать, что чихиртма лучше? Значит, я уже не человек, нет шапки у меня на голове!

— Какой ты! Затвердишь что-нибудь, так и не сдвинешь тебя с места,— не без досады сказала Дареджан заупрямившемуся мужу.

— А то как же? Порядочному человеку иначе нельзя. Разве хорошо, если мужчина сегодня скажет одно, а завтра другое? — спросил Луарсаб и с победоносным видом подбоченился.

Дареджан почувствовала, что попалась, да так, что и возразить нечего. Посрамленная, она поспешила переменить разговор, как у нас говорится — закинула слово на крышу.

— Так ты считаешь, что бозбаши вкуснее?

— Конечно, вкуснее.

— Ну, значит, у тебя нет никакого вкуса! — заявила вконец разобиженная Дареджан.

Луарсаб вспыхнул, но сдержался, хотя в голосе его прозвучала легкая досада.

— Это у тебя нет вкуса, раз ты считаешь, что чихиртма лучше, а у меня он есть: я-то ведь предпочитаю бозбаши.

— Что ты плетешь?— по-настоящему обозлилась Дареджан.— Как бозбаши может быть лучше чихиртмы, когда при одной мысли о чихиртме у меня слюнки во рту текут,— особенно, если я голодна! А подумаю про бозбаши — и ничего. Значит, чихиртма вкуснее. Ты и теперь свое твердить не перестанешь?

Княгиня произнесла это так убежденно и едко, как будто хотела сказать: «И глуп же ты! У меня вот какой довод, а ты все плетешь свое».

Но и у противника ее хватило ума, чтобы выдвинуть против нее еще более веский довод. Правда, он не сразу нашелся; ему спервоначалу пришлось

крепко подумать, но потом,— дай бог вам милости,— он ловко отбил удар.

— Так ты стоишь на своем?— начал Луарсаб и встал с места.

— Да, стою на своем!

— Так хорошо же... У тебя от чихиртмы слюнки текут, когда ты голодна, а у меня от бозбаши — даже когда я сыт. Вот хотя бы сейчас: я ведь вечером побольше твоего покушал, но когда представлю себе наполненную до краев миску бозбаши, да хлеба в него накрошено доверху, да соком весь хлеб набух, да сверху еще хороший кусок бараньей ножки... Что ты говоришь, жена! Помереть мне на месте, если ты хоть что-нибудь в этом смыслишь: бозбаши — царь супов, так же, как осетр — всем рыбам царь. Да где тебе знать, ты — женщина!

— Как тебе можно верить, когда ты этого даже не знаешь: сказано, что лосось царь рыбам, а не осетр. Ты всегда так врешь...— злорадно выкрикивала княгиня, довольная тем, что уличила мужа во лжи.

Луарсаб немножечко смутился, но не подал виду и решил ради сохранения достоинства доказать во что бы то ни стало, что царь рыбам — осетр.

— Заладишь теперь! Говорю, осетр!

— Лосось!

— Эй, осетр, жизнью клянусь! И теперь не поверишь?

— Лосось, лосось! — кричала княгиня.

— Почем ты знаешь, что лосось?

— А ты почем знаешь, что осетр?

Вот тут-то Луарсаб и попал в западню, да в какую! Спасения не было! Он рвался придумать что-нибудь, хотел даже сказать, так-де написано в карабадини, но сообразил, что Дареджан начитана больше него, и не посмел.

Умная женщина была Дареджан, как это уже из-

вестно читателю. Увидя, что Луарсаб не нашелся, что ответить, она напустилась на него еще самоувереннней:

— Говори, откуда знаешь? Ну, что? Не знаешь, так не спорь. Ну-ка, сознайся теперь, разве чихиртма не лучше?

Дареджан рассудила, что если Луарсаб сдастся, то разве только тут же, на месте, попав в западню. Только тогда, когда он в таком бедственном положении, но никак не в другое время, есть надежда заставить его согласиться, что чихиртма лучше. Оттого-то она так неожиданно и перешла на чихиртму.

И приуныл же Луарсаб, читатель! Он стоял, понуря голову, точно малое дитя, уличенное в краже сахара, и не знал, что предпринять. Луарсаб чувствовал, что супруга загнала его в тупик, что он потерпел поражение, но признать это считал ниже своего достоинства. При других обстоятельствах он, быть может, и уступил бы, но дело на этот раз было не шуточное; речь шла о том, кто поставит на своем, и всякая уступка казалась унизительной. Правда, был момент, когда он считал себя окончательно разбитым и чуть было не склонился к признанию преимуществ чихиртмы, но как раз в это мгновение очам его предстала дымящаяся миска бозбаши с накрошенным доверху лавашем [1], вспомнилась и баранья ляшка, красующаяся поверх нее, и это видение вновь вскружило голову Луарсабу: он приободрился, дух в нем взыграл, он забыл и про стыд, и про поражение и сказал решительно и смело:

— Знать не знаю! Пусть даже и вправду лосось царь рыбам, а все-таки бозбаши лучше чихиртмы.

— Чихиртма, человече!

— Бозбаши, женщина!

---

[1] Лаваш — грузинский пшеничный хлеб, выпекаемый тонкими листами в «тонэ».

— Эх, ты опять неправ, как давеча, а не хочешь сознаться,— укоризненно сказала Дареджан.

— Сама ты неправа!

— Смотри-ка! Кто, как не ты, сказал, что осетр — царь рыбам?

— Я этого не говорил, это ты сказала,— солгал Луарсаб, приписав жене собственные слова.— Я сказал, что лосось.

— Гляди-ка, гляди-ка, шени чириме, что он придумал! — воскликнула Дареджан, не на шутку рассердившись.

— Кричи, сколько влезет! — тихонько сказал Луарсаб и направился к выходу. В дверях он повторил еще раз: — Я сказал: лосось.

Произнести и удалиться было делом одной секунды.

— Пусть святой Георгий и некресская богоматерь лишат своей милости того, кто врет! — крикнула ему вслед разъяренная жена, возмутясь столь бесстыдной ложью.

Не берусь судить, пренебрег ли Луарсаб этим проклятием, или не расслышал его, знаю лишь одно: что оно прошло для Дареджан безнаказанно.

Не раз случалось, что муж и жена, раскрасневшись в пылу спора, до полуночи доказывали яростно друг другу свою правоту по столь же глубокомысленным поводам. «Чего бы нам покушать сегодня?» — говорили они поутру. «Чего бы нам покушать завтра?» — говорили они к вечеру. То была их духовная пища, на этом они упражняли свой разум; таковы были поводы, по которым они обменивались мыслями.

Разве знали они, что поведением своим, своею жизнью гневят они бога, вдохнувшего в них свою душу?

— Как это так? Я гневлю бога? — изумившись, переспросил бы Луарсаб.— Я не пропустил ни од-

ной церковной службы, я никого не убил, я ничего ни у кого не украл,— чем же мог я прогневить бога?

Ты прав, мой Луарсаб, ты никого не убил, никого не обокрал, одним словом, ты не делал ничего, чего не следовало бы делать,— и то хорошо. Это лучше, чем ничего. Но я спрошу тебя об одном: совершил ли ты то, что должен был совершить?

— Да,— ответишь ты,— я ел и пил, не было ни единого дня, когда бы я остался голодным!

Но разве это ответ? Ты говоришь, что не пропустил ни одной церковной службы. А какой прок? Всякий раз ты слышал там слова Христа: «Будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный». Разве ты стремился к этому хоть единое мгновение в своей жизни? Нет, ты жил не для этого! Ты жил для того, чтобы есть и пить, а не ел и пил для того, чтобы жить, а жить — это значит стремиться быть совершенным, как совершенен отец твой небесный.

VI

Двадцать лет прошло с той поры, как Луарсаб и Дареджан впряглись в одно ярмо, с той поры, как оба они укрылись под сенью единой судьбы. Поразительна история их бракосочетания.

Луарсаб жил еще общим хозяйством со своим братом, когда ему исполнилось двадцать лет и захотелось жениться. Так захотелось, что просто невтерпеж, но он не знал, чью девушку взять в жены. Хотелось и богатую, и из благородной семьи, да к тому же красавицу писаную. Девушки, обладающие всеми этими качествами, в наших краях наперечет. Но Луарсаб пока что высматривал — авось, попадется такая. Однако, нигде не сыскав, задумал он в сердце своем: сшить черкеску с широким позументом, про-

сторные суконные шальвары, также украшенные позументами, сколотить двадцать тумани и отправиться в город. При этом в мыслях у него было: «Прокачусь этак раза два на дрожках по улицам,— авось, попадется в сети какая-нибудь девушка богатая, знатного рода, благородной семьи. А если нет — мало ли там армянок, возьму хоть тысячу тумани приданого!»

В конце концов Луарсаб узнал, что ему незачем ездить далеко: у князя Гдзеладзе, отпрыска очень именитой семьи и знатного рода, оказалась на выданьи дочь, как говорили, девушка невиданной под солнцем красоты, да еще в придачу к ней, точно к спине пришитые, двести тумани серебра наличными. Затрепетало сердце Луарсаба, загорелось что-то внутри, и по целым дням мысль о невесте приятно щекотала его. Но он никак не мог придумать, как наладить это дело. Господь помог ему: в один прекрасный день объявилась сваха. Сваха, подосланная самим Гдзеладзе, пожилая, почтенная на вид, бедная вдова, промышляла этим благородным ремеслом с тех пор, как умер ее муж. Ее называли «лже-княгиней», потому что злополучный ее муж всю свою жизнь «искал княжества»,— добивался восстановления своего княжеского титула,— да так ничего и не добился[1]. Будем называть ее так же и мы.

Лже-княгиня пользовалась в княжеских кругах славой чрезвычайно красноречивой особы. Говорили, что во всей подлунной не сыскать такой опытной и ловкой свахи. Поэтому за услуги свои она взимала не малую мзду. Но надо отдать ей справедливость: однажды взявшись за дело, она доводила его до конца. Вот почему Гдзеладзе остановил на ней свой выбор и, вручив пять тумани в виде задатка, обещал добавить еще пятнадцать, когда дело будет

---

[1] См. примечание в конце книги, стр. 397.

окончательно слажено. Хотя к Луарсабу ее подослал Гдзеладзе, но бывалая лже-княгиня прикинулась, будто явилась по собственному почину, чтобы таким образом сорвать и с него малую толику, поскольку Луарсаб будет себя чувствовать обязанным ей.

События разыгрались в доме одного дворянина, справлявшего свадьбу, на которую в числе других гостей был зван и Луарсаб. Лже-княгиня приходилась жениху теткой.

На второй день после свадьбы слегка подвыпивший за обедом Луарсаб отправился в беседку подремать. Солнце уже склонилось к закату, когда вдруг кто-то разбудил его легким толчком. Луарсаб приоткрыл глаза и увидел некую почтенную, пожилую женщину.

Он тотчас же вскочил.

— Садитесь, шени чириме, отдыхайте,— сказала лже-княгиня.— Простите, что я нарушила ваш покой, но когда я вспомню, какой нежностью, каким вниманием окружала меня ваша мать, каким уважением и любовью, сердцу моему становится больно за вас... Вот таким (она протянула руку совсем низко от земли) я носила вас на руках и забавляла. Мы с вашей матерью были большими друзьями, не могли жить друг без друга. Большая любовь была между нами. Сестры не живут так, как мы жили. Вы, верно, не помните матери?

— Нет, мне и двух лет не было, когда она умерла,— ответил Луарсаб, все еще не понимавший, что нужно этой княгине.

— Конечно, как вам помнить! Когда она, несчастная, отдавала богу невинную свою душу,— и как я только пережила такую утрату? эх, слава тебе, господи, на все твоя воля! — когда отдавала она свою невинную душу, я сидела у ее ног. Она услала всех, кроме меня. Отца вашего, кажется, тогда уже не было в живых.

— Он прожил еще лет шесть после этого,— возразил Луарсаб.

— Верно, верно, как же я могла забыть? — воскликнула лже-княгиня, делая вид, будто и в самом деле забыла.— Вот что значит старость, изменяет мне память! Да, он еще изволил жить! Вот что стало с моей головой! Ведь собственными устами изволил он мне сказать: «Сестра Хорешан, я знаю, как вы с женой любите друг друга. Поди, сядь у ее ног. Ей будет приятно видеть тебя, приятнее даже, чем меня». Любезный человек был ваш отец, благородный, повсюду известный, всеми уважаемый. И не только в христианском мире — даже лезгины питали к нему благоговение и страх, его знали и в Дагестане. И от русских ему тоже был большой почет. Впрочем, как вам помнить все это? Вы были маленький-премаленький. Да, о чем бишь я? — переспросила она Луарсаба.

— О том, что имя отца моего знали в Дагестане и от русских ему был большой почет,— подсказал Луарсаб.

— Нет, не то! Забыла, к чему все это начала, никак не вспомню. Вот, батоно, что значит старость: забываю, о чем говорила минуту тому назад! Отец ваш умер тому уж двадцать лет — не диво, что запамятовала...

— Двенадцать лет,— поправил Луарсаб.

— Хотя бы и двенадцать, все-таки нет ничего удивительного. К чему же я все это говорила? — призадумалась лже-княгиня, как будто и вправду не знала, к чему разговор затеяла. Знала, превосходно знала, но ломала голову, как бы снова не проврatься, как проврaлась уже насчет смерти отца. Луарсаб же стоял столбом, не соображая, для чего пожаловала к нему княгиня и к чему клонятся ее речи.

— Да,— вспомнила княгиня после некоторого раздумья.— Вот о чем я вам докладывала! Когда по-

койная мать ваша отдавала господу невинную душу свою, она всех услала, кроме меня, и, оставшись с глазу на глаз со мною, сказала — а голос у нее был чарующий: «Не долго мне осталось жить на свете, сердечный мой друг Хорешан. Знаю, что крепко меня любишь. Вот останетесь вы — ты и мои сироты. Будь же им матерью». Сказала — горе мне, пережившей такое несчастье! — и зарыдала. И у меня слезы так и текут, так и текут ручьями; долго мы с нею плакали. А потом отдала она богу свою ангельскую душеньку. Оказывается, я в отчаянии, словно безумная, металась. Думали, не снесу горя, сойду с ума. Большая была между нами любовь, жили мы с нею так, как будто у нас едина плоть и един дух. Мать ваша была такая женщина — да упокоит господь ее душу во царствии своем,— такая была женщина, всем бы на нее молиться, словно на икону. Вот какая была! Теперь такой не найдешь. Разве нам, хоть похваляемся,— женщины, мол,— с ней сравняться? На третий день, по христианскому обычаю, предали мы ее пречистый прах земле. Созвали превеликое множество духовенства. Говорили, будто отец ваш хотел пригласить самого архиерея, чтобы отдать ей последний долг, но не нашли, оказывается, лошадей, чтобы послать за ним дрожки. Остались вы, крошки-сиротки, вы и брат ваш Давид, совсем-совсем маленькие. Я тут же полюбила вас. Уже тогда к вам больше лежало мое сердце, не знаю уж почему,—ведь Датико тоже ею рожденное дитя, но все же вы были мне милее. Вы не помните меня, верно?

— Нет, не помню.

— Да, разумеется, и не можешь помнить! Тебе было что-то около трех лет, когда мой муж умер — горе мне, потерявшей его! — с тех пор я не выхожу за порог своего дома, так и живу — безутешная, бесприютная, одинокая вдова. Радость мне не в ра-

дость, весь мир мне кажется в траур одетым. Простите мою смелость, я, может быть, наскучила вам? Что поделаешь? Обидела меня судьба, испепелила, печали и заботы одолевают меня! Что долго рассказывать,—скажу коротко... Вам было примерно года три, когда я потеряла мужа. И пришлось нам разлучиться. С тех пор я вас не видела, но сердцем я всегда была с вами. Как повстречается мне кто из ваших мест, все о вас спрашиваю. Как-то ночью — и трех месяцев не будет — уснула я. Гляжу — а я уже крепко спала — предстал очам моим некий прекрасный ангел, чистый, светлый, весь в сиянии. Я вам сон рассказываю, но сон этот был такой, что он мне до сих пор кажется явью. «Хорешан,— сказал мне дух воплотившийся,— я душа твоего сердечного друга, светлая, беспорочная». Я сейчас же обняла колени духа вашей матери — то изволила быть ваша мать. «Не обнимай моих колен! — молвила она снова.— Ты наполнила мне сердце печалью. Зачем ты покинула детей моих, Давида и Луарсаба? Давид еще ничего, он хоть жену себе нашел и устроил свою судьбу. Но почему же ты не заботишься о Луарсабе?»

«Три ночи подряд являлась она мне во сне и каждый раз повторяла все то же. Истинно так, не умереть мне, не оплаканной вами! Но даже если б не случилось этого, я, как вы изволили слышать, поклялась ей перед господом заменить вам мать. И вот сегодня настал этот день. Вы уже взрослый молодой человек. Чуть я увидела вас, сейчас же догадалась, из-за кого потеряла голову эта несчастная девушка. Да посрамит господь перед твоею силою и статью силу и стать Карамана[1], красоту Тариела[2]

[1] Караман — герой повести «Караманиани» (XVI—XVII вв.).

[2] Тариел — герой поэмы Ш. Руставели «Носящий тигрову шкуру».

и разум Гардакешана[1]! Едва увидела я вас, тотчас же поняла, отчего загорелось сердце бедной девушки. «Бедной», говорю я, потому что вы, быть может, вовсе не думаете о ней, она же тает.

Луарсаб обрадовался и невольно еще пуще заломил папаху. Гордо закинув голову, провел рукою по тоненьким, только что пробившимся усикам, расправил плечи и приосанился. Так ему стало приятно, что сначала он даже не нашелся, что ответить. Он, разумеется, еще не знал, кто эта девушка, но тем не менее просиял.

— И девушка недурна собою,— продолжала лжекнягиня.— Какой ты Караман, такая же она Салбихураман[2]. Соединить вас, и будете вы точь в точь Тариел и Нестан-Дареджан[3]. И семьи и рода она не плохого. Род их записан на одной странице с Мухран-батони[4]. Прекрасная девушка, прекрасный род, прекрасная семья и родство знатное: один дядя майор, другой — дианбеги у татар, да и деньги наличные водятся. Чего желать больше? К тому же и мать твоя этого хочет. Ангел этот мне еще прошлой ночью сказал: «Обязательно устрой это дело!»

— Сколько у нее денег? — спросил Луарсаб.

— Тумани двести наберется.

— Наличными?

— Все червонным золотом; дома спрятаны, завязаны в мешочке.

— Уж не дочь ли это Гдзеладзе?

— Кто вам сказал?

— Я знаю.

— А все-таки?

---

[1] Гардакешан — герой повести «Караманиани».

[2] Салбихураман — героиня «Караманиани».

[3] Нестан-Дареджан — героиня поэмы Руставели.

[4] Мухран-батони — владетельные князья Багратион-Мухранские, младшая ветвь грузинского царского дома.

— Знаю, она. Разве в моем сердце не живет образ этой девушки? — Луарсаб, сказав это, застенчиво улыбнулся.

— Как так? Ты ее видел?

— И в глаза не видал, но знаю.

— Если так, то вы позволите мне говорить от вашего имени? Как обрадуется девушка!

— А отец? Небось, тоже будет рад! — заявил Луарсаб, у которого от похвал лже-княгини закружилась голова.

— Нет, не будет, вами клянусь! — нарочито осложнила дело лже-княгиня.

— Разве не он вас подослал?

— Что вы, помилуйте! Если бы они меня прислали, дело было бы сделано, раз и ваша на то воля. Беда в том, что отец решительно против.

— Против? — воскликнул огорченный Луарсаб.— Чем же я плох для него? И род наш не хуже, и семья. Чего еще?

— Да вот, сами изволите знать, спесивый он человек.

— Значит, ничего не выйдет?

— Как не выйдет? Тут только надо хорошенько постараться, да и ловкость нужна.

— Значит, удастся его уговорить?

— Как знать? Надо половчей обойти, да и то — бог знает! Упрямый он человек...

— А ловкой быть — ваше дело.

— Что правда, то правда. Да одною моей ловкостью что возьмешь?

— Чего же еще? Все, что в силах,— беру на себя: платить за услуги и мы умеем.

— Уй, дорогой мой, дорогой... Разве я об этом говорю? Ваш род исстари славится щедростью! Как мне не знать? Да, кроме того, разве могу я взять что-нибудь у сына твоей матери? Мне каждый кусок поперек горла станет! Нет, дорогой, на

это я, сам понимаешь, не пойду. Но... сила в том, что «взятка даже в аду светит». Тебе придется потратить не меньше двадцати тумани, чтобы подкупить ее близких. Есть там один человек, слово которого для Мосэ Гдзеладзе — печать. Поистине оно для него фирман[1]. Надо его уговорить.

— Где же мне сразу добыть двадцать тумани? — возразил удрученный Луарсаб и насупился.

— Насчет этого не беспокойся. Ты выдай мне вексель, а уж деньги я добуду.

— Твоя воля, хоть сейчас! — ухватился обрадованный Луарсаб за предложение лже-княгини.

Лже-княгиня, увидав, как легко дался ей в руки Луарсаб, подумала: «Да он, оказывается, глуп. Почему же я не запросила больше?» — и, чтобы исправить свою оплошность, изобрела вот что:

— Предупреждаю тебя, сыночек, что с нас возьмут большие проценты.

— Большие? Все-таки, сколько?

— Семь шаури[2] на тумани.

— Что же делать, придется дать. Как говорится: по нужде и цена.

— Так слушай меня: ты сперва отказывайся. Кто бы что тебе ни говорил, крепко стой на своем. Авось удастся, когда этот пес даст согласие, взять его хорошенько в тиски и побольше вымотать, понимаешь? Я для тебя же все стараюсь. Мне-то какая выгода! Понял?

— Понимаю, как не понять? Стоять на своем, отказываться...

— Ну, теперь дело за мною. Завтра утречком велю написать вексель, ты подпишешь. Остальное я уж улажу.

— Вексель вперед?

---

[1] Фирман — на Востоке: высочайший указ.

[2] Шаури — пять копеек.

— А как же? Кто же без векселя доверит деньги? Будь у меня, сам понимаешь, я бы не отказала. Не стану же я отказывать сыну твоей матери! Да откуда им быть у меня, у вдовы бесприютной? Придется у ростовщика-армянина взять. Ну, а армянин, сам знаешь,— вроде еврея...

— Знаю, знаю.

— Потом, когда все устрою — вдова я ведь бесприютная,— может, угостишь меня разок-другой,— прибеднилась лже-княгиня, чтобы разжалобить Луарсаба.— Род ваш славится гостеприимством.

Луарсаб любил, когда хорошо отзывались о его роде. Ему только преподнеси такое — черкеску с себя снимет и на тебя наденет.

— Одно мне скажи: девушка какова? Все переговорили, а об этом забыли,— хватился под конец Луарсаб.

— Грамоте хорошо обучена, рукодельница — чего еще тебе нужно? — ответила она.

— На что мне грамота? Что я ее в мудрецы прочу, что ли? Ты мне лучше скажи, лицом хороша она? Румяная?

— И не спрашивай! Красавица писаная!

— Так чего же мне упираться? — вопросил Луарсаб, по телу которого от последних слов княгини пробежала сладостная дрожь радости и желания.

— Нет, ты упрись! Говорю это для твоей же пользы, потому что ты сын той, которая мне дороже сестры. Сам знаешь, корысти мне нет никакой... Для спасения души моей берусь за это дело. Ведь Мосэ Гдзеладзе мне ничего не даст. Ах, хотя бы удалось уговорить его и устроить счастье сына твоей матери! О своей пользе я и не думаю вовсе!

— За мною не пропадет! Красивая? — снова, расплываясь в улыбке, спросил Луарсаб.

— Говорю,— писаная красавица.

— И за нею двести тумани?

— Может, и больше — от нас с тобой зависит.

— Может, и больше? А что вы скажете, ведь, пожалуй, недурно? — произнес Луарсаб таким тоном, как будто он только-только собрался выбирать.

— Ты, вижу, не решил еще твердо, от всего сердца,— сказала лукавая лже-княгиня, чтобы выведать, крепко ли засело в душе Луарсаба желание жениться на Гдзеладзе, и если крепко, то вымотать из него еще что-нибудь.

— О, что вы говорите?

— Как, что говорю? Если не решил еще твердо, не осрами меня. Лучше, давай, сразу откажись.

— Как так отказаться, когда я уже зажегся, благодаря тебе, любовью к этой девушке, и любовь эта точно уголь пылает во мне? Как же я откажусь от нее? Чем она плоха для меня?

— Значит, решено?

— Решено!

— Уй, милый ты мой! Наконец-то исполню я долг свой перед твоей матерью и обет перед богом,— если, конечно, Мосэ Гдзеладзе не слишком заупрямится.

— Подкупи того человека, которого поминала, а я уж упрусь, буду стоять на своем.

— Хоть бы никому, кроме него, не пришлось давать! Вдруг понадобится и другим?

— А ты подели двадцать тумани пополам.

— Уй, что я слышу! Как можно? Это же не простые люди, не станут они марать рук десятком тумани, все это князья, знатные, не так-то просто их подкупить. Сразу видно — молод ты еще!

— Мне и двадцати нет,— солгал Луарсаб. Ему было полных двадцать.

— А ей около семнадцати. Будете вы с нею настоящие голубки. Эх, хоть бы увидеть мне вас рядышком, плечо к плечу. Вот будут завидовать!

— Скорее, ради бога, если все это и вправду так,— взмолился Луарсаб в нетерпении.

— Ах, если бы ускорить дело зависело только от меня,— пусть враг твой умрет так скоро, как скоро я бы все уладила. Но загвоздка — этот проклятый отец! Однако, бог не без милости, не тревожься.

Так закончились первые переговоры со знаменитой свахой. С этого дня Луарсабу и во сне и наяву грезилась эта писаная красавица-девушка и мешочек с двумя сотнями тумани. Уж очень разгорелся у него аппетит. До того распалился Луарсаб, что каждый раз, вспоминая о девушке, он потягивался всем телом и приговаривал, жадно облизывая губы:

— Писаная красавица, двести тумани червонцами, а пожалуй, и больше... А, что скажешь, Луарсаб: недурно ведь? Недаром говорится: «Дай мне счастье, а там выбрось хоть в навозную кучу!»

VII

Хотя лже-княгиня из корыстных расчетов и затягивала понемножку дело, однако, поскольку обе стороны изъявили согласие, оно должно было прийти к быстрой развязке. Кроме расчетов княгини, были в этом деле еще кое-какие препятствия: во-первых, девушке было уже двадцать лет, а поговаривали, будто даже и все двадцать один. Это бы еще ничего, тут нетрудно извернуться, девушка — не лошадь, по зубам не угадаешь, но горе в том, что уж очень была она безобразна. Как тут проведешь? Глаз жениху не завяжешь. Правда, можно было на первых порах показать другую, а как приедет он венчаться, обвенчать насильно, но лже-княгиня побаивалась, как бы ее потом не оттаскали за косы. Оттаскают — беда не велика, если удастся при этом поживиться

как следует, но двадцать тумани не деньги! Правда, она и с Луарсаба взяла вексель, да ведь не сунешься к нему за деньгами после того, как бедняга попадет, благодаря ей, в этакую западню! Задушит и причаститься не даст. Пожаловаться и представить вексель дианбеги? Что из этого выйдет? Луарсаб опорочит вексель, а если не пойдет на это,— все равно, дианбеги возьмет половину. Прах с нею, с этой половиной, лишь бы дело не раскрылось! Что станется тогда с лже-княгиней? Посадят, чего доброго, в тюрьму? «Нет,— думала княгиня,— пусть вексель лежит у меня. Когда придет время, пошлю напомнить. Заплатит — хорошо, а нет — пускай пропадает... Одним словом, вексель — дело неверное: либо так, либо этак. Не стоит надвое ладить. Береженого бог бережет; надежнее будет заставить Мосэ Гдзеладзе набавить наличными — вот это дело! — тумани десять и, собравшись с духом, поднадуть Луарсаба, а жалобу подавать не стоит. Разыграется история, дело получит огласку, чего доброго, может случиться, пришьют сюда же и другие дела — такая пойдет хатабала[1]... и чего ради? Нет, не с руки мне это: люблю работать начистоту!»

Таковы были соображения лже-княгини, когда она въезжала на арбе в деревню Гдзеладзе с видом богомолки, поспешающей к празднику в какой-то древний храм, на всенощное бдение[2].

На следующее утро перед лже-княгиней предстал сам Мосэ Гдзеладзе и пригласил ее к себе в дом. Завязалась беседа.

— Ну, как же, сестра моя, более драгоценная, чем родная сестра,— орел или решка?[3] — спросил Мосэ Гдзеладзе.

---

[1] Хатабала — кутерьма, переполох.

[2] См. примечание в конце книги, стр. 398.

[3] Орел или решка — взамен грузинского загадывания «мальчик или девочка».

— Вай, решка! — отозвалась с притворной горестью лже-княгиня.

— Как? Не берет?

— Нет.

— Почему же, что он говорит?

— Не нравится ему девушка. Вы уж не обижайтесь: урод, говорит.

— О горе тебе, Мосэ! Разве он ее где-нибудь видел?

— Нет, не видел, но слух до него дошел.

— Если ты, сестра моя, не забудешь моих хлеба и соли и поможешь — дело наладится.

— Но, дорогой, меня просить не приходится. Ты знаешь,— жизни не пожалею, чтобы тебе услужить.

— Если так,— погоди...

Мосэ вышел и немного погодя привел красивую, статную девушку. Он поставил ее перед лже-княгиней, повернул ее так, повернул этак и затем приказал ей уйти.

Видавшая виды лже-княгиня не заблуждалась насчет того, что сие происшествие означает, но притворилась, будто ничего не понимает. Мосэ Гдзеладзе подошел поближе и уселся рядом с нею.

— Понравилась? — начал Гдзеладзе.

— Прелесть! — с невинным видом ответила далеко не невинная лже-княгиня.

— Она будет еще лучше, если нарядить ее в платье моей дочери...

— Еще бы. Вдвое краше станет!

— Так что же ты скажешь, если мы тому, кто пожалует с обручальным подарком, покажем, вместо моей дочери, эту девушку, приодев ее как следует? — спросил Мосэ и взглянул ей прямо в глаза, чтобы вычитать в них ответ.

— Но жених-то ведь все же пожалует после сговора. Как с ним будешь?

— Зачем допускать до этого? Назначим свадь-

бу на третий же день. Он так и не успеет повидать девушку.

— Но венчаться же он придет?

— Это уж мое дело! Ты только до того помоги,— остальное беру на себя. Обвенчаю насильно — и все!

— Нет, дорогой, говорю тебе заранее: я умываю руки,— в таком деле участвовать не буду.

— Почему?

— Он же слышал, что она урод.

— Не твоя печаль,— прервал ее Мосэ.— Тот, кто придет с обручальным подарком, скажет, увидав эту девушку: вздор городишь, такой девушки глаза мои еще не видели. Не удастся — дам ему пять тумани,— и дело с концом. Так у меня запоет, что...

— Он пошлет своего брата.

— Тем лучше. Брат и без взятки расскажет то, что увидит собственными глазами! А в крайнем случае, я и денег не пожалею.

— Нет, дорогой, этого греха я на себя не возьму. Вот тебе твои пять тумани задатку, я умываю руки.

Пройдоха-сваха извлекла две двадцатипятирублевые ассигнации и отдала их Мосэ.

— Предаешь, значит? — жалостно воскликнул Мосэ.— Хочешь семейство мое погубить? Не жаль тебе, значит, дочери моей? Эх, как вероломен свет! Все, оказывается, впустую: и хлеб, и соль, и почет, и любовь, и дружба. Что же, воля твоя. Знай только: ты поразила мое сердце отравленной стрелой, сразила меня свинцовой пулей, как поганый лезгин, погубила христианскую душу мою!

Мосэ рассчитывал разжалобить ее этими словами, но он и представления не имел о том, что за особа была эта лже-княгиня! Да разве была бы она лже-княгиней, если бы ее можно было опутать словами?! Хотя лже-княгиня и посмеивалась в душе, она все же нахмурилась, как будто нивесть как огорчена, но не в силах ничем помочь.

— Клянусь тобой, Мосэ,— сказала лже-княгиня с огорчением в голосе,— и чтобы мне на том свете не взглянуть прямо в глаза моему несчастному мужу — ты ведь образ его и подобие, до того похож! — клянусь твоей жизнью, я головы своей не пожалею, чтобы услужить семье твоей, но ведь служба службе рознь.

— Ну, так что же, что рознь? — ответил Мосэ. Заметив, что лже-княгиня идет на уступки, он слегка приободрился.— Ну, так что же? Разве мы не умеем ценить услуги? Нашла тоже неблагодарного! Я обещал тебе двадцать тумани? Пусть будет двадцать пять, благослови тебя господь!

— Нет, дорогой мой, суть не в деньгах. Оттаскают меня на старости лет за волосы. Душу свою загублю.

— Пусть будет двадцать семь!

— Нет, дорогой мой, деньги тут ни при чем: дело такое, что трудно на него решиться.

— Но устроить можно? Пусть будет двадцать восемь!

— Отчего не устроить, устроить можно, но кто пойдет на такой риск?

— Пусть будет двадцать девять,— надбавлял мало-помалу Мосэ, отмечая при этом про себя, как с каждой надбавкой лже-княгиня становится все покладистее и покладистее.

— Очень уж оно рискованно и опасно, но почему не устроить? Устроить все можно.

Лже-княгиня, ловкая лже-княгиня чрезвычайно хитро произнесла эти последние слова; казалось, она и слышит, но не обращает никакого внимания на то, что Мосэ надбавляет по тумани, и думает только об одном: можно ли устроить дело или нельзя? Давно уже лже-княгиня знает, что все устроится, но, запуская руку в котел, она непрочь вытащить кусок пожирней. Если бы Мосэ не предупредил ее,

она бы сама ему предложила тот же план. Ведь сама же она сказала Луарсабу, будто невеста — красавица писаная. Не могла же она после этого показать ему какую-то уродину. Она затем именно и пожаловала, чтобы дать совет Мосэ с возможною для себя выгодою. Но раз Мосэ предупредил ее,— вопрос о мзде наполовину улаживался. Лже-княгиня даже обрадовалась и подумала: «Теперь не надо сдавать, отказ так отказ, тут-то я и поживусь».

— Пусть будет тридцать,— накинул еще Мосэ, избравший правильный путь.— А больше никак не могу.

— А почему бы и нет? — снова завела княгиня свою канитель, поскольку ей удалось догнать до тридцати.— Почему бы и нет? Почему не устроить, устроить можно, да помолвка должна состояться при мне, для того чтоб все как следует вышло. Вот только горе в чем,— не могу же я показаться в этом платье!

— На здоровье, избавлю тебя и от этого горя,— поспешил согласиться Мосэ, радуясь тому, что удалось окончательно уговорить ее,— платье тоже за мной.

— Вот что я тебе скажу, слушай внимательно: я заставлю его послать с обручальным подарком брата. Ты как следует принаряди девушку. Смотри, как бы кто не проговорился. А свадьбу обязательно сыграем через три дня. Устрой обязательно так, чтобы жених не успел повидать девушку. А там,— как знаешь, остальное уже не мое дело.

— Деньги все до копейки отдам тебе в ночь помолвки, а теперь, если хочешь,— возьми обратно эти пять тумани задатку.

— Нет уж, пожалуйте все десять тумани. Как знать, на что понадобятся, не бегать же к тебе за ними!

— Хватит пока и семи с половиною.

— Будь милостив, десять! О тебе же хлопочу. На твои же дела истрачу, если понадобится. Не для себя ведь прошу.

— Как? Разве эти десять тумани пойдут не в счет тех тридцати?

Лже-княгиня рассмеялась:

— Как же иначе?..

— Так бы сразу и сказала! Я подумал было, что ты еще на расходы по делу требуешь.

— Нет, дорогой, беру в счет тех тридцати! А вот на платье мне пожалуйте поскорее. Надо, чтобы успели пошить.

— Извольте, десять тумани, из них и шейте, потом сочтемся.

Лже-княгиня согласилась и просчиталась.

Что долго рассказывать! Мосэ и княгиня как порешили, так и сделали. Надежную сеть раскинули они вокруг Луарсаба и крепко-накрепко опутали его.

Спустя две недели Луарсаб, пребывавший в восторге,— все, мол, идет так ладно! — послал к Гдзеладзе с богатым обручальным подарком своего старшего брата Давида. Давида приняли с большим почетом. Гостей Мосэ не позвал ни души, чтобы не раскрылся обман, а Луарсабу написал, чтобы и тот не разглашал событиия. Вот оно, это письмо, в подлинном виде, со всеми его достоинствами и погрешностями.

«Мой превосходительный счастливый именитый зять:.

Хотя я очень счастлив потому что есмь днесь через тебя осчастливленный старик и сердце мое исполнено радостью блаженством как вы будете зятем нашим и глаза мои отверзлись потому что увидали весну сего превратного мира пребывая сим в великой радости в которой я есть мой превосходительный именитый зять коего прошу удостоить при-

слать обручальный дар дабы избежать проволочек народу много не присылай потому что человек я старый подвержен недугам и слабости и почет беседа и пир которые я уже не в силах которые весьма обременят к свадьбе которого хозяином вы будете в моем доме созовем народу много и у вас большое почтенное родство имеется и я не без родственников и много позовем как подобает великому именитству вашему и семье и дому моему:.

В прочем пребывайте в счастьи от Иисуса сына божия прошу вашего счастья которого желаю видеть ваш тесть сиятельный князь Мосэ Ношреванов сын Гдзеладзе:.»

Само собой разумеется, что после этого письма любезный Луарсаб не стал посылать к нему много людей. Он отправил к Гдзеладзе только Давида и еще кого-то при нем, дабы не обеспокоить будущего тестя, раз он нездоров. Давиду же поручил основательно сговориться насчет денег, о том, когда их отдадут на руки, и обстоятельно разглядеть девушку.

Мосэ встретил Давида с большим почетом. Вместо дочери он показал Давиду красивую дворовую девушку, предварительно ее нарядив. Давид, увидав девушку, обомлел, и — что скрывать? — в его сердце шевельнулась зависть, в особенности, когда он сравнил с невестой сухопарую жену свою. Ужинали всего вчетвером — Давид, некто, сопровождавший его, сам Мосэ и его взрослый сын. Гостившая в доме Мосэ княгиня ужинала с дочерью. Мосэ принес извинения, что не созвал, сколько полагается, народу, чтобы почтить столь именитых и сиятельных гостей.

— Что поделаешь, шени чириме, свойственник мой новоявленный,— говорил Мосэ Давиду.— Болен, не хватило бы сил занять гостей как следует. Не примите за скупость, шени чириме! Куда годится боль-

ной,— тем более как хозяин дома! Не будь этого — дай бог вам столько богатства, сколько у меня родственников и близких друзей! Но не пошло бы им на ум веселье на меня глядючи. Я и предпочел не звать вовсе. Пускай пройдет помолвка вот этак, по-домашнему,— зато свадьба на моей совести будет. А что насчет свадьбы изволил мой зятюшка приказать?

— Чем скорее, говорит, тем лучше,— ответил Давид.— Не сочтите за лесть, но увидь он эту девушку, головой клянусь, в ту же минуту обвенчается!

— Красавица писаная,— добавил гость.

— Благодарение господу, господь даровал мне сие. На все воля господня,— произнес Мосэ.— Я счастлив, жизнью вашей клянусь, что девушка вам понравилась.

— Дай бог здоровья невесте! — Давид взял чашу в руки.— Дай бог им сладко прожить до старости!

— Благодарю вас, шени чириме,— Мосэ поклонился всем.— Так значит, чем скорее, тем лучше?

— Он так и просил вам доложить,— ответил Давид,— и сам я, говоря правду, то же самое посоветую брату. К чему затягивать дело?

— И по-моему, так оно лучше,—отозвался Мосэ.— Девушка, прямо сказать, сохнет тут,— хоть и не годится отцу говорить такое, да ведь не чужие мы, нечего перед вами таиться,—девушка так и сохнет тут...

— А он там, клянусь вашей жизнью! — перебил Давид.

— Так сыграем свадьбу, когда вы прикажете,— предупредительно сказал Мосэ.

Одним словом, порешили, что жених явится во вторник к вечеру и в ту же ночь их обвенчают.

Наутро Давид повел речь о деньгах. Мосэ заверил его, что на следующий же после свадьбы день он собственноручно передаст двести туманы и все

червонным золотом. Ударили по рукам. На следующий день невесту уже не стали показывать Давиду, и он отправился восвояси.

Усадив Давида на коня, распростившись с ним и оставшись в одиночестве, Мосэ в превеликой радости потер руки и улыбаясь сказал сам себе:

«Молодцом повел я дело! Теперь одна забота — поддеть на крючок княгиню, придумать какой-нибудь повод и не заплатить ей ни гроша сверх того, что я уже дал. Позор, если она меня проведет!»

Он был погружен в размышления на сей счет, когда лже-княгиня (Мосэ был вдов, и она играла у него в доме роль хозяйки) радостно кинулась ему навстречу.

— О, как хорошо все устроилось! — сказала лже-княгиня.— Поздравляю вас со счастьем дочери! Ну, и потрудилась же я! Трясло меня, вся в поту — не видать бы мне земли над тобою,— так и трясло: вот-вот догадаются, думаю, вот-вот погибель! Да помог господь, ни о чем не догадались.

— Скажите,— возразил Мосэ,— вся в поту, трясет ее! Благословенная моя, можно подумать, что впервые такое дельце обделываешь! Трясет! А не это ли и есть ваше ремесло? Трясет ее, видите ли!

Лже-княгиня вздрогнула.

— Шутишь или вправду говоришь? — спросила встревоженная лже-княгиня.

— Какие там шутки!

— Ах, теперь ты так заговорил?

— Теперь говорю то же, что и раньше.

— Дай бог тебе всего наилучшего! Если так,— отпусти меня и поступай, как знаешь.

— Ступай, куда хочешь, никто тебя не держит.

— Конечно, никто не держит, но отдай мне то, что обещал, и дай бог тебе всякого добра. Говори обо мне, что хочешь,— я не обижусь.

— То, что обещал? Жалко мне и того, что дано, а ты рассчитываешь еще с меня получить?

— И это по совести? Гонял старую женщину, как почтовую клячу, срамилась я перед всем народом, довела дело до конца, а теперь ты вот как со мною разговариваешь? Это по совести?

— Замолчи, а не то...

— Нет, это по совести, я тебя спрашиваю, это по совести?

— А это по совести: таскаешься из деревни в деревню, свахой по домам бегаешь, это по совести? А что родную племянницу, девушку на выданьи, в прошлом году за десять тумани к дианбеги отвела — это по совести? А когда она забеременела, не ты ли зельем снабжала и помогла ей выкинуть — это по совести?

Сердце поднялось к самому горлу лже-княгини, она утратила присущую ей в такого рода положениях находчивость, осторожность и хладнокровие.

— Ах, так! — крикнула разъяренная лже-княгиня.— Так ударь меня собственной ногой по голове, если я не расстрою все дело!

— Покрой мне голову своим лечаки,— спокойно отозвался Мосэ на угрозу,— если я сейчас же не упрячу тебя в хлев, пока не сыграем свадьбу! Что ты со мною сделаешь? Жаловаться пойдешь? Не думаю, чтобы ты рассчитывала на дианбеги! Много грехов на твоей шее, все они один к одному приложатся. Пожалуй, тогда для тебя и в Сибири местечка не сыщется, лже-княгиня ты этакая! Это ведь уже не тот дианбеги, которому ты девчонок сватала и играла им точно мячом. Миновало то времячко!

Однако, и эти слова не образумили разгневанную лже-княгиню. Она была попрежнему вне себя от негодования, в противном случае она не стала бы ни злобствовать, ни угрожать, а притворилась бы такой тихоней, так замерла бы, что все развеялось бы

без следа. Но теперь, как уже сказано, рассудок ее был помрачен злобою, и она снова крикнула Мосэ:

— Упрячешь? Уй, да порази гром твою паскудную голову! Упрячет, видите ли! Что я тебе, крепостная девка, или твоя уродка дочь?

— Что? Я тебе сейчас покажу, что ты похуже дворовой девки! Увидишь, как придется тебе посидеть в хлеву,— отнюдь не шутя сказал Мосэ.— Хоть и повешу тебя — никто мне слова не скажет! Но береженого и бог бережет: чтобы ты не наплела на меня,— сейчас же покажи, что у тебя в кармане!

Наш честный, благородный князь кинулся к лже-княгине. Лже-княгиня попыталась было оказать ему сопротивление, но затем — дай бог вам милости! — все-таки соизволила извлечь из кармана синий платок, в котором было что-то завязано.

Побледнела лже-княгиня, в горле у нее пересохло. Не могла возразить ни слова. Мосэ развернул платок и, обнаружив в нем оставшиеся неприкосновенными свои же десять тумани, мгновенно переправил их в собственный карман. Попалась ему под руки какая-то бумажонка. Развернул — это был вексель, тот самый вексель, что лже-княгиня выманила у Луарсаба. Пока Мосэ был занят им, к лже-княгине возвратились исконные ее свойства: ловкость, хитрость, изворотливость. Лже-княгиня подумала: «Крики и угрозы надо бросить, не то в самом деле запрет меня в хлев! А впрочем, если и запрет — ничего, пять-шесть дней промелькнут, точно сон; напишу домой, будто готовлю приданое и до свадьбы домой не вернусь. Никто ничего не узнает, вырвать бы мне только эти десять тумани. Хоть их-то не потерять!»

Мысли эти с быстротою взмаха ресниц пронеслись в сознании хотя и ложной, но находчивой княгини.

— Кто тебе это дал? — спросил Мосэ, показывая вексель.

Ответ у лже-княгини был готов:

— Ты, конечно, мне теперь не поверишь, что я взяла этот вексель только ради твоей же пользы. Я подумала: если Луарсаб как-нибудь невзначай узнает, что мы его обманули, показав совсем не ту девушку, и станет отказываться от венчания,— мы предъявим ему этот вексель и скажем: «венчайся, не то предъявим это дианбеги и заставим отсчитать все до копеечки». Вот для чего я взяла,— но ты не поверишь, ты гневаешься, а я всей душой о тебе болею.

— Если так, почему не показала мне вексель до сих пор?

— Покажу, думаю, а он, понадеявшись на это, перестанет стараться, себе на беду. Не угадаешь ведь, все мы люди, все грешные...

— Теперь на этом хочешь меня провести?

— Я же сказала: не поверишь. Если хоть один единственный разочек надломится доверие к человеку, ему уже не верят. Так и со мною. Думаешь, обманываю? Изволь, возьми, если хочешь, этот вексель, зачти ему в счет двухсот тумани, а с меня довольно и этих десяти, мой хороший.

— Меня не проведешь!.. И вексель и десять тумани останутся у меня, а тебя я посажу не в хлев, так в чулан, чтобы ты не выдала меня до свадьбы. Потом делай, что хочешь. Бичо! [1] — крикнул Мосэ.

Появился слуга.

— Проводи эту лже-княгиню в чулан, подай ей ковер, мутаку и постель. Еды и вина чтоб было вдоволь. Однако, запри ее снаружи на замок и ключ принеси мне. Горе вам, если кто-нибудь узнает об этом!

Слуга не шевельнулся. Подумал было, что это шутка.

— Не слышишь, что ли, ты, собачий сын! —

---

[1] Бичи — малый, мальчик. Бичо — звательный падеж.

взвизгнул Мосэ. И лишь после этого слуга соизволил поверить приказанию. Подошел, схватил за руку и повлек за собою злополучную лже-княгиню, которая вдруг так съежилась, так подобралась, что казалось, вся она величиною с кулачок. Но при этом она все еще не теряла надежды как-нибудь замять эту историю и сухой выйти из воды.

Лукавая лже-княгиня вдруг спокойно, точно ничего не случилось, сказала Мосэ:

— Уй, дорогой мой, как тебе к лицу этот притворный гнев! Слуга поверил по глупости, будто ты ему серьезно приказываешь! Мужик,— где ему понять. Не сердись на него, дорогой!

Эта ловкая проделка чуть было не рассмешила Мосэ. Слуга застыл в растерянности. Ко многим еще хитрым уловкам попыталась прибегнуть княгиня, но ничего не помогло: заперли ее в чулан, а домой она написала письмо — его прочел предварительно Мосэ — о том, что она занята шитьем приданого и просит не ждать ее до среды. Написав это, она отправилась в чулан, уселась на ковер, достала веретенце, которое всегда носила с собой, куда бы она ни пошла, и принялась прясть. Сидела как ни в чем не бывало.

VIII

Давид возвратился домой к вечеру. Жена его Елисабед и Луарсаб сидели в холодке у плетня. Едва Луарсаб издали увидел брата, он кинулся ему навстречу, но спросить о чем-либо постеснялся.

Давид соскочил с коня, затянул распустившиеся чагсакрави[1], подошел и, не здороваясь с женой, прилег на ковер.

[1] Чагсакрави — ремешки на голенищах.

— Как тебе понравилась будущая невестка? — спросила жена. Луарсаб навострил уши.

— Писаная, как говорится, красавица! — ответил Давид. — Никогда в жизни не видал я такой красивой женщины!

Луарсаб обрадовался. Елисабед огорчилась тем, что невестка оказалась красивее ее.

— Правда, дорогой? — переспросил Луарсаб.

— Клянусь твоей жизнью! Такой женщины мне не приходилось видеть.

Затем он взглянул на жену и злобно добавил:

— Потерпи я немного, и мои дела пошли бы иначе!

— Что? Ты, что ли, женился бы на ней? — со злобой сказала жена. — Уй, лопни твои глаза! И выпала же мне судьба! Ведь и отец мой все не соглашался. Такие ли, как ты, за меня сватались?

— Да, конечно, не соглашался! Знаю, за русского царевича прочил. Скажи судьбе спасибо и за то, что меня удалось одурачить.

Слово за слово — разыгралась, доложу я вам, весьма основательная ссора. С этого дня сердце Елисабед преисполнилось зависти и злобы. Она возненавидела невестку, хотя и в глаза ее не видала.

«Пусть враг мой так же скоро пропадет, как я ее изведу! — проговорила про себя Елисабед. — У нас в доме не должно быть никого ни старше, ни лучше меня. Чтоб муж попрекал меня ее красотою? Чтоб ей сгинуть до этого! Такую занозу ей в глаз вгоню — жизнь свою проклянет!..»

На свадьбу Елисабед не поехала.

А в ночь свадьбы разыгрались крупные события.

Точно во вторник к утру прибыл жених в сопровождении брата и дружины[1]. В тот день невесту, само собой разумеется, никому не показали. Оказа-

---

[1] Дружиной в старину называлась свита жениха.

лось, что и Мосэ собрал великое множество народу. Мосэ созывал гостей не без умысла. В церковь отвели уже всамделишную невесту и, когда все приготовления были закончены, послали за женихом. Луарсаб вошел в церковь, и как взглянул на невесту — его точно громом поразило. Он повернулся к брату Давиду и, пренебрегая всякой любезностью и учтивостью, сказал:

— Как же, Давид, ты же говорил, что красавица невиданная?

В толпе раздался взрыв хохота, несчастная невеста вспыхнула от стыда и заплакала.

Давид вышел вперед и, увидев невесту во всем ее неподобном уродстве, обратился к священнику:

— Отец, может быть, тут еще кто-нибудь венчается? В чем тут дело?

— Венчаются князь Луарсаб Таткаридзе и Дареджан, дочь князя Мосэ Гдзеладзе,— ответил священник.

— Где же невеста?

— Да вот она.

— Луарсаб! — крикнул Давид брату.— Нас обманули, это не она, не венчайся!..

Весь народ пришел в изумление.

Расстроенный Луарсаб, побледнев еще больше, ушел из церкви. Дружина последовала за ним. Спросили коней, собрались уезжать. Оказалось, что коней куда-то упрятали. Дали знать Мосэ, что жених отказывается венчаться. Мосэ немедленно прибыл с большой толпой народа.

— Князь Давид, что это за новости? — сказал Мосэ, притворяясь возмущенным.— Жених ломает слово, когда невеста уже в церкви? Вы о чем же до сих пор думали, если не хотели моей дочери? Кто вас просил? Такие ли, как вы, князья сватали ее, умоляли, но я отказывал им!

— За чем дело стало, батоно? Вот ваша девушка,

отдавайте ее за кого вам угодно, мой же брат ее не возьмет,— решительно ответил Давид.

— Как, теперь? Когда весь свет уже знает, что твой брат женится на моей дочери, что он ее в церковь повел? Ни за что! Нет, я не позволю никому позорить меня! Или он обвенчается, или никто из вас отсюда живым не уйдет. Слыханное ли дело? Жених приехал в дом, повел девушку в церковь, и вдруг — отказывается венчаться.

— А слыханное ли дело подменивать невесту? Это не твоя дочь!

— Люди добрые, народ! Поглядите! Не к чему им привязаться, так вот выдумали, будто это не моя дочь! — крикнул Мосэ собравшимся.

— Чьей же ей быть, как не его? — зашумели приспешники Мосэ.— Можем клятвой заверить.

— Нет, господа, брат мой не будет венчаться! А вздумаете насильничать,— мы тоже не трусы,— заявил Давид и схватился за кинжал.

Женщины, сколько их было, увидав, что тут им не место, кинулись врассыпную. Невесту и каких-то двух старух Мосэ удержал в церкви, все еще надеясь на то, что свадьба так или иначе состоится.

— Не будь я князь Мосэ,— воскликнул Мосэ,— если я позволю вам опозорить свою семью! Пока я жив, клянусь, не допущу, чтоб унижали род мой! Не допущу, чтоб Таткаридзе обесчестили перед алтарем мою родную дочь! Он должен венчаться!

— Не станет он венчаться!

— Это последнее слово?

— Последнее.

— Давид,— неожиданно мягко заговорил Мосэ.— Пожалуйте сюда, в сторонку.

Давид последовал за ним. Стали в сторонке. Мосэ извлек пять тумани и тихо сказал Давиду:

— Вот пять тумани, молчи. Тебе-то что? Не ты ведь женишься?

Давид стал сдаваться.

— Как продам брата за пять тумани? — промолвил он.

— Пусть будет семь.

— Хотя бы и за семь.

— Пусть будет восемь...

— И не за восемь!

— Так сколько же ты хочешь?

— Ну хотя бы десять.

— Что скажешь насчет девяти?

— Нет, десять!

— Эх, прах с ними: пусть будет десять!

Он вынул десять тумани и передал Давиду. Давид опустил их в карман.

— Я буду молчать, а с братом устраивайся, как знаешь,— ухмыляясь, сказал Давид.

— Ты только сам не шуми, да уговори одного-двух из вашей дружины, а с Луарсабом я как-нибудь справлюсь...

— Воля твоя. Это я тебе обещаю!

— Так по рукам.

Ударили по рукам, и в ту же ночь насильно обвенчали злополучного Луарсаба. Не получил Луарсаб и обещанных двухсот тумани; вместо них Мосэ вручил ему тот самый вексель, что отобрал у лже-княгини. Луарсаб отказался было брать жену с собою, пока с ним не рассчитаются. Однако, ничего не добившись, покорился обстоятельствам и на этот раз вместе со своей Дареджан отправился домой.

Елисабед не помнила себя от радости, когда Луарсаб вместо сказочной красавицы привез жену-уродину.

— Хвала господу! — твердила, бывало, Елисабед мужу.— Хвала! Ему бы сперва найти жену получше меня, а потом кичиться и злорадствовать! Слава и благодарение господу!

Впоследствии братья по милости жен — сами изволите знать, как это бывает — поссорились и зажили раздельно.

IX

Вот таким-то образом вступил в брак наш Луарсаб. Хоть это произошло вопреки его воле и хоть обманули его и с приданым, а вместо невиданной под солнцем красавицы женили на уродливой Дареджан, но — «видать так мне на роду написано»,— подумал он и подчинился року. А в конце концов — ты уже знаешь об этом, читатель — они полюбили друг друга. Не знаю, как другие,— они-то сами, во всяком случае, считали, что любят. Говорят: «цвет к цвету пришелся — и слава тебе, господи». Встретились, пришлись цвет к цвету и сочетались друг с другом. Разве это сочетание многие у нас не принимают за любовь?

Ну и народ же грузины! Грузин равно покоряется и счастью и несчастью. Ко всему на свете одинаково равнодушный и упорно-невозмутимый, он не станет ломать себе голову ради счастья и не вступит в борьбу с несчастьем. Это равнодушие и невозмутимое упорство грузины величают удовлетворенностью. «Быть удовлетворенным,— сказал кто-то,— это значит быть счастливым». Почтенные старцы частенько говорили мне: «Мы, мол, лучше нового поколения уже потому, что удовлетворяемся малым». Я, бывало, молчал, а в голове мелькало: «Удовлетворенность — смертельная болезнь для человека. Благо новому поколению, если оно и в самом деле не знает удовлетворения. В этом наша единственная надежда: бездарные довольствуются тем, что есть — поэтому среди них больше счастливых. Даровитые редко счастливы: они стремятся к лучшему потому,

что за хорошим следует лучшее,— как говорится «лучше лучшего— конца краю не знает».

Не таковы были наши супруги: им представлялось, что нет и не может быть на свете жизни «лучше», чем их жизнь.

Они были вполне удовлетворены. Не было у них ни долгов, ни должков, ни споров, ни тяжб, и лишь одна печаль тяготила их сердца: не было у них потомства. Вот Луарсабу исполнилось уже сорок лет, Дареджан — сорок один, а господь все не посылал им наследника. Княгиня много раз перелистывала карабадини, немало испить изволила всяческих травных отваров и Луарсаба заставляла пить их, однако все было напрасно. «И чего они зря себе головы ломают,— язвительно говорила Елисабед,— чего попусту бьются? Читала да читала книгу премудрого Соломона, колдовала к тому же,— вот и пристукнуло ее за все это по голове. Господь отвратил от них сердце свое; теперь уж им ничего не поможет».

Однако наши супруги не теряли надежды. Дошла до них весть, что в городе живет некая гадалка, которая может открыть причины бесплодия. Хотя время иметь детей уже прошло для них, они все же сгоняли в город человека, снабдив его отличным багдади [1], на котором, как вам должно быть известно, гадалка ворожит тому, кто не имеет возможности самолично предстать перед нею, причем платок, разумеется, остается гадалке. Три дня спустя слуга принес им ответ: гневается, мол, на вас икона. И какая икона? Телетская! — так сказала гадалка.

Услышав это, и муж и жена разом, в один голос, воскликнули, крестясь:

— Откуда, как дозналась о нас? Слава имени

---

[1] Багдади — шелковый платок.

твоему, господи! — воскликнули и перекрестились еще раз.

— Да проклянет ее господь! Откуда и как дозналась о нас? — повторил Луарсаб.

— Как ты можешь говорить «да проклянет» про икону?

— Господи, не осуди, господи, не осуди! — закрестился князь частыми крестами. — Ай, проклятие господне, такая уж у меня привычка: само с языка слетает! Господи, не осуди!

— Как же нам быть теперь? Луарсаб, поедем?

— Да ведь далеко?

— Что делать, такова, видно, воля господня!

— Давай поближе помолимся — некресской божьей матери.

— Телетская икона обидится. Скажет, я их позвала, они ко мне не пришли, а пошли вон куда.

— И вправду, обидится! Рассердится! Взять меня, например, — я человек и ничего больше, и то рассердился бы, она же изволит быть святой иконою. Она больше моего рассердится!

— В том-то и дело.

— Так что же нам делать?

— Надо ехать!

— Сама понимаешь, ехать в этакую даль...

— Если уж ехать, то хоть не ропщи, — обидится...

— Правда, правда! Не взыщи, да славится имя твое, о, икона телетская! Приду, приду поклонюся имени твоему!

Они поверили тому, что сказала гадалка: велели Тедо запрячь арбу, перекрыли ее ковром, привязали к задку жирного барана, и в одно прекрасное утро, помянув господа, пустились по большой проезжей дороге в город. В арбе сидели княгиня Дареджан и ее служанка Ламазисеули. Луарсаб же, верхом на своем жеребце, и слуга пешком помаленьку следо-

вали за медлительной арбой. У милейшего нашего Луарсаба был весьма воинственный вид, хоть и возвышался он на коне, точно мешок, набитый ватой. На поясе у него болтались грузинская шашка и длинный лезгинский кинжал. Сзади из-за пояса торчал пистолет вороненой стали. Одет он был в черную шерстяную черкеску. Полы ее молодецки подвернуты, и концы заложены в карманы черкески. На ногах — шальвары, заправленные в белые карабахские сапоги с высокими голенищами, на икрах широкие чагсакрави с длинными, словно у купца, кисточками. На голове — синяя папаха из калмыцких смушек. Луарсаб заломил ее на кахетинский манер, а так как было жарко, он еще сдвинул ее на затылок, так что и спереди образовалась складка. Словом, будь у него в руках обнаженная шашка, с яблоком на острие, он походил бы точь в точь на понедельничного Кейна [1].

Так на пятые сутки добрались они до Телети, помолились и на следующий же день пустились в обратный путь.

Когда они, минуя Тбилиси, выехали на кахетинскую дорогу, княгиня села, поджав ноги, спиною к передку арбы и стала глядеть на город. Луарсаб спал в арбе. Разбудила и его.

— Луарсаб, посмотри, какие там чудеса! Ну и места, и до чего же велик этот город, и сколько тут домов и людей! Да славится имя господне! Дома все, видно, каменные!

Княгиня никогда не видела города.

— Конечно! Не плетеные же домишки!

— Гляди-ка, сколько церквей, гляди!..

— Знаю. Я же бывал здесь!

---

[1] Кейн — шах Ирана, в данном случае комический персонаж «кееноба» — народного действа на тему о шахе. См. примечание в конце книги стр, 398.

— А когда тебя в первый раз привезли в город, тебе не давали глотать камушки?[1]

— Как же! Я три камушка проглотил, да такие, что едва переварил их.

— И город тебе уж не повредил?

— Нет, ничего уж ко мне не пристало, потому что я камушки заранее проглотил. Вот без камушков — другое дело.

— Ну, конечно... Любопытно посмотреть. Замечательный, верно, город!

— Еще бы! Конечно, замечательный. Со всего света народ собрался, все тут толкутся: татары, кизилбаши[2], евреи, осетины, армяне, ну и русские, конечно,— так и роятся, словно мухи.

— А правда, будто там могут отрезать человеку голову, а потом снова оживить его?

— Конечно, правда! Это еще что! А вот придумали еще такую штуку, которая сама доски пилит.

— Скажешь еще!

— Головой клянусь.

— Так сама и пилит?

— Сама.

— И ни живой души при ней нет?

— Нет.

— А кто же держит пилу?

— Чорт да дьявол! Кто его знает, что за головы у этих русских!

— Это разве русские придумали?

— Конечно, они! Не деверь же твой Давид...

— Слава тебе, господи! А как фокусы всякие показывают — тоже видел?

— Какие фокусы?

---

[1] У нас существует поверье, что если человек, впервые приехавший в город, не проглотит камушек, то в городе его постигнет несчастье. В свое время и мне, автору этой повести, пришлось проглотить камушек. (*Прим. авт.*)

[2] Кизилбаши—иранцы. (См. прим. в конце книги, стр. 400).

— А вот, говорят, становится человек на спину скачущей лошади, на того человека еще человек, на того человека еще человек, а потом еще и еще...

— Какой же это фокус? Разве и я, когда мальчишкой был, не становился на всем скаку лошади на спину? — прихвастнул Луарсаб.

— Ах, чтоб тебя! Чтобы ты, да стал лошади на спину!

— Бог свидетель! Теперь уж и здоровье не то, и ловкости нет прежней, а то бы хоть сейчас показал.

— Не хвастай, я же, мой хороший, знаю тебя!

— Разве я хвастаю? Я к тому говорю, что нет тут никакого фокуса. Многое и почище этого бывает — такое, что...

— Какое?

— Как сказать! Да мало ли что бывает...

— Нет, ты скажи, чтоб и я знала...

— Всякое...

— А все-таки?

— Да не скажешь всего, мало ли что...

— А все-таки?

— Э, всего не упомнишь, говорю, всякое бывает. Далось же тебе! Какая, однако, жара... Уфф!

Не зная, что ответить, простодушный наш Луарсаб заговорил о другом. Он снял свою калмыцкую папаху и утер ею пот со лба и с лица. Затем приказал заправить трубку и, посасывая ее, опять захрапел, да так, что могло показаться, будто он не спал несколько ночей подряд.

X

На пятый день счастливые наши супруги с миром возвратились домой. Само собою разумеется, им сопутствовала надежда на появление потомства,

Миновало, однако, три месяца, но дитя не шевельнулось во чреве Дареджан. Миновало шесть месяцев, но платье на Дареджан все еще не стало тесным. Миновали и все девять месяцев, но Дареджан не испытывала никаких болей во чреве. И все-таки Дареджан не теряла надежды. Она понавесила на себя и вшила в складки платья такое множество всяких камушков, заговоренных по-разному, что и в самом деле в ней не могла не затеплиться надежда — да она и теплилась. А если Дареджан до сих пор не понесла, то все оттого, что Луарсаб укорял да попрекал икону: «Куда, мол, ехать в этакую даль?» Не будь этого ропота да попреков, младенец сидел бы уже на коленях Дареджан.

Луарсаб пребывал в дурном расположении духа. Дело даже не в том, что у Дареджан не было и признаков беременности и что икона обманула: призвала к себе, а ребенка не дала. Он озабочен был тем, что брат его, Давид, как ему сообщили, сказал:

— Когда же, наконец, подохнет этот бобыль, чтоб мне всласть похозяйничать в его имении?

Вот что убивало Луарсаба, а бездетность была в конце концов не такой уж большой бедой!

Однажды, пребывая в таком именно удрученном состоянии духа, Луарсаб лежал животом вверх на тахте, а на соседней тахте сидела княгиня Дареджан и вязала носок. Князь был в очень дурном настроении. Молча уставившись в потолок, он размышлял о том, как бы устроить так, чтобы у него родился наследник. «Разве для того мне нужен ребенок, чтобы и в самом деле иметь ребенка?— говорил он про себя.— Нет, клянусь твоей жизнью! Хочу его назло Давиду, чтоб не благоденствовать, не хозяйничать ему на моей земле. Хочу досадить ему, не дать ему восторжествовать! Не будь этой злобы, разве стал бы я горевать о том, что у меня нет ребенка? Мало ли бездетных на свете? Был бы

и я в их числе. Но не хочу, чтоб Давид процветал и благоденствовал!»

Подумал он это, повернулся лицом к Дареджан и жалобно, в превеликой горести сказал ей:

— Значит, так Давиду и простятся его слова? Так и дадим ему хозяйничать в наших имениях? Дареджан, шени чириме, если ты меня любишь, если ты меня любишь — ай, роди мне одного только сына, роди хотя бы назло Давиду, не говоря уже ни о чем другом! Дай мне только разделаться с ним, шени чириме, а потом хоть убей! Шени чириме, честью женщины тебя заклинаю! Если любишь — ай!

— Рожу, жизнью твоей клянусь, рожу, если так,— ответила княгиня таким тоном, как будто и в самом деле от нее зависело родить ей или не родить.— Прошлой ночью явился ко мне какой-то старик, борода у него до пят и вся белая-белая, точно бумага. Дал он мне во сне какое-то лекарство, приказал выпить и сказал: «Плодись, подобно Иакову». Я сейчас же приложилась к его коленям — и за себя приложилась и за тебя.

— Правда?— воскликнул Луарсаб, вновь обретая надежду.— Собственными глазами видела?

— Вот, как тебя вижу!

— Шени чириме! Значит, есть еще надежда, Дареджан-джан!

— Еще бы.

— О, драгоценная моя Дареджан! Дорогая! — Луарсаб уверовал и расплылся в улыбке.— Как он сказал?

— Плодись, подобно Иакову!

— А кто это Иаков?

Дареджан не знала, кто был Иаков. Только мельком, во время богослужения, приходилось ей слышать имя Иакова, но кто он был, где был, когда был — об этом она и ведать не ведала. Но ей по-

казалось недостойным сознаться в собственном невежестве, и она вместо того, чтобы сказать «не знаю», предпочла наврать, как это вообще свойственно в подобных случаях грузинам.

— Кто он был?— переспросила Дареджан.— Неужели ты хоть в церкви не слыхал? Он был сыном того сына Авраамова свояка, что от него отделился...

— Ну, а вот «плодись, подобно Иакову» — это что значит?

— Это и значит — «плодись»,— пояснила Дареджан.

— О, да будут благословенны уста его! Так есть надежда?

— Ты опять? Нельзя так, нельзя! Нельзя быть таким неверующим! Грешно!

— Не буду больше, не буду! Ты только роди. Хочешь, язык прикушу, только не дай Давиду восторжествовать!

— Бог милостив! Говорю тебе — не будет ему этой радости!

— Эх, хоть бы ты в самом деле родила!

— Опять! Да не будь ты таким упрямым! Как можно не верить слову святого человека? Что это с тобою случилось?

— Тьфу, проклятие господне! Чуть было опять не проговорился. А все оттого, что очень уж хочу, не то... Э, повернусь-ка я лучше на другой бок и усну, такой уж у меня язык... Знаю,— ляпну еще что-нибудь, и прогневается на меня господь.

— И выйдет, как с Телети. Все ты роптал, все твердил: далеко, мол, ехать,— вот и разгневалась она на нас, и по сей день нет у нас ребенка.

— Да ведь я тотчас же попросил у нее прощения. Почему она не простила? Велика беда, ну, вырвалось разок, что «далеко до нее ехать». Говорят, и попу в аллилуйи разок не грех ошибиться.

— Ладно уж, ладно! Что было, то было. Ты хоть теперь не гневи...

— Я лучше посплю.

— Воля твоя.

Луарсаб повернулся на другой бок и немного спустя издал обычный, могучий храп.

Ах, лучше бы не засыпать! Приснился ему страшный сон. Привиделось ему, будто Давид вне себя от радости, что нет у Луарсаба наследника. Ходит Давид повсюду и твердит: «Когда же подохнет этот проклятый бобыль, чтоб мне в имениях его всласть похозяйничать?» Ноет Лаурсабово сердце, обидно ему, сердце к самому горлу подкатывается. Что ему делать? «Господи,— говорит во сне уязвленный до глубины души Луарсаб.— В чем я погрешил против тебя, благословенный ты, зачем не даруешь мне потомства? Ты приказал — я тотчас же отправился помолиться в Телети, зарезал во имя твое барана в двенадцать абази[1] и свечей на два абази поставил тебе. Что же мне еще сделать? Церковные службы я и без того не пропускаю, постов не нарушаю, всякий год исповедуюсь и принимаю святое причастие. Спроси-ка нашего священника, согрешил ли я чем? Ты хочешь выдать меня головой Давиду? А кто сочтет все содеянные им в жизни грехи? В прошлом году, в день усекновения головы Иоанна Крестителя он, говорят, оскоромился мясом. Попадется ему кусок хлеба на земле,— он не подымет его и не приложится к нему, чего доброго, даже ногою наступит и растопчет. Никогда он не дожидается преображения и ест неосвященный виноград. В праздник святой пасхи священник еще не освятил ему стол, а он уже набрасывается, как медведь, на мясное,— такой он жадный. Причащаться он причащается, но как? Три дня только говеет,

[1] Абази — двугривенный.

всего три дня! Какое же это причастие? Все это ведомо тебе — ты, господь благословенный, — и все же ты на его стороне. Но да будет благословенна твоя справедливость! Правда, я забыл еще об одном. Есть у него борзая, так он ее со своей тарелки кормит. А еще христианин! А я ничем таким не грешен, за что же ты сердишься на меня? Взять хотя бы ласточку[1], — его и ласточка сглазит. Или удода, — и удод его сглазит. Возьми кукушку, жеребца, что хочешь возьми, — всему поддается, всякая в нем есть порча! Меня же, господи, сам знаешь, не бывало со мной ничего такого, я не поддамся. Почему же ты сердишься на меня? За то, что я не сразу поехал в Телети? Но ведь я тут же раскаялся!»

Так во сне жаловался Луарсаб богу. Затем ему показалось, что бог принял к сведению его жалобу, обратил к Луарсабу сердце свое, и вот уже миновало восемь месяцев с того часа, как Дареджан забеременела. Еще месяц — один единственный месяц — и у Луарсаба родится дитя, а у Давида лопнут глаза от злости. Радуется во сне Луарсаб, едва на ногах держится от восторга, что не отвергнута его слезница. Давид и жена его не помнят себя от злобы. Луарсаб не столько радуется ребенку, сколько тому, что Давид и Елисабед не помнят себя от злобы. И вот будто прошло еще две недели, — пройдет еще две, и родит Дареджан. Радуется, радуется Луарсаб, но вот пришла беда — Луарсаб не-

---

[1] «Взять хотя бы ласточку...» Во всем дальнейшем отрывке речь идет о народном суеверии, согласно которому встреча с некоторыми животными или птицами может принести человеку вред, если он не соблюдает известных условий. Так например, увидав жеребенка, надо становиться на камень; нехорошо, если у тебя растрепаны волосы при встрече с удодом; к несчастью — в трезвом виде увидеть впервые в году ласточку и т. д. Пренебрегать этими приметами считалось грехом, на что Луарсаб и указывает.

ожиданно заболевает и заболевает тяжело, будто даже помирает. Но умирает он так, что все продолжает чувствовать. Слышит он, как страшным голосом надрывается, причитает над ним Дареджан и горестно вторят ей деревенские плакальщицы. Слышит, как где-то в уголку хохочут и пляшут Елисабед и Давид и тащут к себе в дом домашний скарб Луарсаба. У Луарсаба кровь подступает к горлу, хочется ему встать, но знает, что мертв, потому и не встает. «Завтра же вступлю во владение имением!» — твердит Давид. Слова эти терзают Луарсаба, он страдает, хочет сказать: «Не смейте отдавать, Дареджан беременна, у нее будет ребенок»,— но помнит он, что мертв, и не произносит ни слова. Ужасно состояние несчастного Луарсаба, мертвого и в то же время живого. Но что же ему, мертвецу, делать? «Вай, в какой час настигла меня смерть! Как раз тогда, когда господь соизволил даровать мне дитя! — говорит Луарсаб во сне.— Ах, хоть бы мне вдруг ожить!»

Но как тут ожить? Вот уже принесли гроб, вот уже уложили, принарядили и поставили гроб на тахту. А на третий день пришли священники, гроб подняли и с плачем, пением понесли. Среди рыданий и церковных песнопений Луарсаб отличает ликующие напевы Давида и его жены. Он слышит все и догадывается, что его уже отпели и несут на кладбище. Хочется ему сказать: «Не хороните меня»,— но знает, что мертв, и не произносит ни слова.

Вот уже и в землю опустили несчастного Луарсаба, слышит он, как Давид, подойдя к краю могилы, говорит дианбеги:

— Завтра же ты передашь мне имение!

А Елисабед бранит его:

— Что ты вздор городишь, зачем откладывать до завтра? Неужели нельзя сегодня же вступить во владение?

Слышит все это Луарсаб, страдает, вздыхает, извивается от муки, покрывается холодным потом, содрогается всем телом,— наполовину от страха, наполовину от злобы,— оттого что и мяч и майдан[1] достанутся Давиду.

«Ах, хоть бы мне вдруг ожить!» — твердит про себя Луарсаб.

Но как тут ожить! Уже засыпают его землею, ком ударяется о досчатый гроб, а вот теперь засыпают лопатами. У Луарсаба замирает сердце, он задыхается, ему нечем дышать, и вот еще минута — и конец ему. Но где же спасение? Он слышит, как постепенно замирают в отдалении людские голоса. Все ушли и покинули его одного в могиле. У него заныло сердце, когда и Дареджан, его возлюбленная Дареджан, бросила его, ушла вслед за другими, не захотела упокоиться вместе с ним. Сердце Луарсабово разрывалось на части, он заплакал.

«Этого ли ждал я от нее? — говорит он в душе.— Погоди-ка, попадешь и ты когда-нибудь на тот свет, уж я тебе припомню». И в то время, когда он так сам с собою рассуждал, до него вдруг доносится топот ног, отплясывающих перхули[2] на могильном холме. Замер Луарсаб и стал прислушиваться. Слышит: это Давид и Елисабед, обнявшись, проходят в перхули по сырой еще могиле.

— Ну что,— подох? — кричат ему сверху.

И тут-то он, распалясь сердцем, заметался со страшною силой, хотел приподняться, сорвать гробовую крышку, раскидать землю, выбраться из могилы, накинуться на них и предать их позору. С плачем и стенаньем рванулся он, хотел выпрыгнуть из того, что представлялось ему могилой, и грохнулся с тахты на кирпичный пол. Тут он продрал гла-

---

[1] См. примечание на стр. 395.

[2] Перхули — хороводный танец.

за. В голове невыносимо шумело от ужаса, внушенного сном. Он так и застыл на кирпичном полу, с открытым ртом, с вытаращенными, как у безумца, глазами. И как же он был смешон! Бледный, в холодном поту, он был так оглушен и испуган, что долго не мог притти в себя и не только не догадался встать, но лежал пластом, без движения. От страха потное лицо его покрылось мертвенной бледностью. При падении все в комнате, конечно, задрожало. От этого сотрясения и проснулась Дареджан, которая спала тут же рядом, на соседней тахте. Она в первую минуту, не подозревая, в каком состоянии находился Луарсаб, вскрикнула:

— Луарсаб, слышишь? Землетрясение!..

Луарсаб, все еще находившийся во власти сновидения, не отозвался. Дареджан приподнялась и тогда только увидала, что Луарсаб, весь белый, лежит неподвижно на кирпичном полу и, как бы в припадке безумия, бессмысленно таращит глаза. Лицо Дареджан исказилось:

— О, горе твоей Дареджан! Что случилось с тобою, жизнь моя, дорогой мой?

Но и эти слова Дареджан не дошли до Луарсаба. Сон сковал его таким страхом, что он все еще не мог преодолеть его, и протекавшие перед ним события казались ему продолжением сна. Вот почему, хотя глаза его были раскрыты, он попрежнему ничего не видел и не воспринимал. Да, все представлялось ему сном, и одно только смущало его: «Меня же похоронили, а ведь я будто в своей комнате? Как же это случилось?»

Эта мысль сбила его с толку. Вот почему, вместо того чтобы ответить на вопрос Дареджан, он, в беспамятстве, уставился на нее своими страхом налитыми глазами так, как будто видел ее, но не верил, что перед ним Дареджан.

Дареджан охватил ужас. Уж не сошел ли он с

ума? Она сорвалась с тахты и кинулась к распростертому на полу Луарсабу.

— Что с тобою, шени чириме, шени? Отзовись же, дорогой, сил моих нет!..

— Погоди,— Луарсаб махнул рукою, как бы говоря: «оставь, дай вспомнить».

Сказал, умолк и попрежнему не двигался с места,— так и лежал с раскрытым ртом и вытаращенными глазами. Затем он стал напряженно вспоминать, что с ним произошло. Очнувшись так внезапно и в таком необычном положении, он уже не помнил всех происшествий сна, и вот теперь он силился восстановить их в памяти.

— Шен генацвале! — умоляла Дареджан.— Скажи поскорее хоть словечко, не то я сейчас умру от страха!

Луарсаб не слушал ее, погрузясь мыслью в видения своего сна. Он стал вслух разговаривать сам с собою:

— Я умер. Дареджан плакала, а после похорон, когда меня все покинули, и она тоже изменила мне. Того ли я от нее ждал? Бросила меня одного, не захотела лечь со мной в могилу! А казалось — любит! Погоди же!.. А Давид этот, собачья душа! А невестушка моя, дворовая сука! Перхули заплясали, а? Я вас ужо, погодите! Вот, оказывается, я и не умер вовсе, задам же я им! Что же мне было делать, если я был мертв?

Много еще всякого вздора наплел наш Луарсаб. А бледная Дареджан слушала его, не понимая ни слова.

— Шени чириме, Луарсаб,— с дрожью произнесла Дареджан.— Ты во сне или наяву? Ответь мне, я едва жива от страха, глядя на тебя.

— Едва жива? Почему ты не была едва жива, когда кинула на меня землю, когда в черную землю одного зарыла?

— Ты о чем, шени чириме? Скажи, о чем?

— Не стоит объяснять! Что толку в пустых слезах, надо было со мною там остаться! Как тебе не стыдно, как ты мне еще в глаза смотришь?

— Уй, вот когда я погибла! — взвизгнула Дареджан и, не медля ни мгновения, выбежала на балкон, чтобы позвать людей. Она теперь окончательно убедилась в том, что дьявол стукнул Луарсаба по голове и лишил его ума. Никак не подозревала она, что Луарсаб все еще погружен в свои сонные видения.

— Помогите! Помогите! — взывала Дареджан с балкона, простоволосая, растрепанная, и била себя при этом кулаками по голове.— Помогите! Горе мне, дожившей до этого дня. Собачья участь твоя, Дареджан!

Княгиня надрывалась от крика и что было мочи колотила себя по голове. Эти вопли окончательно протрезвили Луарсаба. Он вскочил с кирпичного пола и, как был, с обнаженной грудью, кинулся узнать, что случилось с Дареджан.

Дареджан показалось, что Луарсаб за ней гонится. Она опрометью бросилась к лестнице, поскользнулась и с грохотом скатилась вниз по ступенькам. На ее отчаянный крик и стенания сбежались дворовые.

— Ловите! Вяжите его! — визжала Дареджан, порядком пострадавшая при падении.— Держите его, не то он нас всех загрызет! Горе тебе, грешная моя голова! Дождалась того, что муж твой стал сумасшедшим! — пронзительно кричала злополучная княгиня и изо всех сил колотила себя по голове, как будто это она повинна в безумии Луарсаба. Луарсаб совсем оторопел. Теперь уже ему пришло в голову, что жена сошла с ума. Он застыл от ужаса на месте. Бедняга стал плакать: у него было такое чувствительное сердце.

— Не кричи, жена,— горестно всхлипывая, воскликнул он, окончательно приходя в себя и успокаиваясь.— Кто сошел с ума, душа моя? Я в своем уме.

Дареджан окинула его взглядом и увидела, что Луарсаб — все тот же ее Луарсаб, ни безумный, ни умный, ни плави, ни члави [1]. Однако, у нее все еще оставались сомнения: «Сумасшедшие иной раз приходят в себя, так бывает»,— подумала она.

— А ну-ка, посмотри мне в глаза, посмотри прямо,— крикнула Дареджан снизу и пристально уставилась на него.

— Смотрю, душа моя! — сказал Луарсаб, глядя ей в глаза.

— А что ты плел давеча?

— Когда, шени чириме?

— Когда на полу лежал...

— Мне приснился сон, я вспоминал его...

— А зачем ты лежал на полу?

— Мне очень дурной сон приснился: будто меня похоронили, я хотел выскочить из могилы и свалился на пол.

— Правда, шен генацвале? — обрадовалась Дареджан.— Вуй, срам на мою голову, а я на весь народ кричала, что муж мой сошел с ума!

Дареджан поднялась на балкон к мужу с улыбкой на устах. Луарсаб тоже оскалил зубы.

— Ты вправду подумала, что я сошел с ума, душа моя?

— Вправду, милый!

— Проклятие господне! А мне показалось, что это ты с ума сошла. А оба здоровехоньки, благодарение господу! Когда с лестницы падала, не ушиблась?

---

[1] Плави — плов, члави — обиходно-разговорная параллель к «плави». Смысл фразы — «ни такой, ни этакий, ни то, ни се».

— Ничего, пройдет! Как увидела, что ты в своем уме, про все забыла.

— И я тоже.

— Уй, шени чириме, шени! Что стало бы со мной, если бы ты вправду сошел с ума?— сказала Дареджан и, радуясь тому, что Луарсаб в своем уме, ущипнула его за щеку.

Луарсабу эта ласка доставила удовольствие. Не желая оставаться в долгу, он в свою очередь ущипнул ее и, сладко улыбаясь, сладким голосом добавил:

— Ий!

Вот как все это произошло...

XI

Луарсаб рассказал ей все, как было, от начала до конца. Дареджан истолковала этот сон так: ровно через девять месяцев у них должен родиться ребенок.

— Как так?— спросил Луарсаб.

— Ты же плакал во сне?— спросила, в свою очередь, Дареджан.

— Плакал.

— И я плакала?

— И ты плакала.

— А плакать — к радости. Какая же может быть у нас радость, как не ребенок? Значит, как родится у нас ребенок, радость и сбудется.

— В самом деле, слезы — к радости! Наверное, сбудется. Сон дорогой, спасибо тебе! Вот лопнут глаза у Давида! Вот когда запляшет он перхули! А ну-ка, господи,— теперь твоя воля, на тебя вся надежда.

В эту минуту Ламазисеули приоткрыла дверь и в радостном возбуждении ворвалась в комнату.

— Барыня, барыня! — кричала девушка.— К сыну Чамчиашвили, к тому, которого бешеная собака укусила, привели какую-то знахарку. Женщина эта, оказывается, и гадать умеет. Не желаете ли, чтоб она вам погадала? Говорят, она сразу все отгадывает, что у кого на сердце, что кому на роду написано.

— Золотые твои уста, моя Ламазисеули, золотые! — радостно отозвалась Дареджан.— Ступай, приведи ее немедленно. Скажи, денег подарят.

Девушка стремительно повернулась и кинулась бежать.

— Дареджан, шени чириме, Дареджан! Сбывается сон! — радостно вскрикнул Луарсаб и осклабился.— Ва, чего тебе еще? Сам бог да прямо к нашим воротам прислал гадалку. Ведь это добрая примета?

— А то как же! Я же говорила, а ты все не веришь. На что же я надеялась, когда говорила, что рожу. Сколько времени уже мне сердце предвещает.

— Мне тоже сердце что-то давно предвещало, и вот как сбылось! Теперь-то лопнут глаза у Давида!

* * *

— Что с ними случилось? Торопят так, что больного пришлось бросить! — выпытывала на ходу у Ламазисеули маленькая, сгорбленная, скрюченная, морщинистая старушонка.

— Откуда мне знать? Верно, слыхала ты — бездетные они...

— И без тебя знаю, что бездетные,— перебила ее пройдоха-гадалка, великая мастерица своего дела.

Ламазисеули, по глупости своей, удивилась: «Откуда она все знает?»

— Значит, и про то знаешь, что они в город к гадалке посылали и та сказала: «помолитесь телетской»? — спросила девушка, вопросительно глядя на нее: «Посмотрим, что она на это скажет».

— А как же, милая,— это-то и есть наше ремесло, этим кормимся, как же мне не знать?— ответила лукавая старушонка так уверенно, что могло показаться, будто она и в самом деле знает.

— А что мы в Телети ездили, тоже знаешь?

— Говорю же тебе, дочка, это и есть наше ремесло! Этим живем, как нам не знать?

Гадалка очень обрадовалась в душе тому, что ей попалась такая глупая девушка и что ей удалось выведать по пути кое-какие полезные сведения. А девушка бесконечно дивилась старухиной прозорливости. Ей, глупой, даже и в голову не приходило, что сама же она обо всем рассказала и что, не будь ее,— ни о чем бы не знала старуха.

Девушка вела гадалку мимо конюшни. Гадалка пошарила взглядом и заприметила какую-то яму. «Пригодится»,— подумала она.

Супруги нетерпеливо поджидали гадалку. Наконец, она явилась. Едва войдя в комнату, поздоровалась и тут же засыпала их ловко рассчитанными речами:

— Коршуна спросили: выбирай — детей ли не иметь, воды ли два месяца не пить? — Воды не пить.— Мула спросили: А ты как? — Детей не иметь. Вас никто не спрашивал — почему же детей у вас нет? И через кого такое заклятие на вас?

Муж и жена изумленно переглянулись: как она угадала так быстро? Луарсаб разинул было рот, не поняв сначала смысла ее речей, но когда понял, как будто испугался, перекрестился и произнес с таким выражением, с каким мы говорим, когда грянет гром:

— Да святится имя господне! Что слышу, шени чириме? Женщина, ты что, в сердце у нас читаешь?

Гадалка не отозвалась, как будто такого рода похвалы ее вовсе не трогали. Она озабоченно обратилась к девушке:

— Подай-ка мне чашку с чистой водой, нож —

да чтобы черенок у ножа был чёрный! — уголек и пшеницу нового урожая.

Пока девушка ходила за всем этим, Луарсаб и Дареджан сидели, словно проглотив языки. «Дьявольские штуки,— думали они.— Иначе откуда бы ей знать?»

Попробуй-ка помяни дьявола, не проглотив при этом язык от страха!

Девушка принесла все, как ей было приказано. Старуха уселась на пол. Кинув в воду одно пшеничное зерно, она взяла нож и уголек и зашевелила губами, как бы произнося заговор. Затем уставилась на воду. Супруги со страхом и трепетом ожидали, какая им откроется судьба.

— Вы посылали в город к гадалке,— начала колдунья.— Гадалка попалась вам правильная, она верно сказала: помолиться надо телетской иконе.

Вот когда и мужем и женою овладел беспредельный страх! Они вытаращили друг на друга глаза. Никогда в жизни не приходилось им слышать о такой прозорливости.

Старуха же, как будто ничего не замечая, шевелила губами и кидала в воду зерно за зерном.

— Правильно сделали,— снова начала она,— правильно сделали, что поверили той гадалке и пошли на богомолье к телетской! Да осенит вас благодать Телети... Но...

Тут старуха оборвала речь; еще пристальнее вгляделась в чашу: казалось, она ищет в воде какие-то знаки.

— Но что?— в один голос вскричали муж и жена.

— То, что эта гадалка, видно, не все прозреть может. Немногого нехватило. Ведь если бы она все угадала, как могло случиться, чтобы Телети вам не помогло?

— Вот, Дареджан, а ты все говорила, что я виноват! Выходит, не моя вина,— сказал Луарсаб жене, не отрывая от гадалки оцепенелого взгляда.

— Погоди, нашел время! Ей-ей умру от страху! Ах, что это за женщина, шен генацвале! — говорила перепуганная насмерть Дареджан.

— Да, гадалка виновата! — снова начала колдунья.— Ее вина. Если бы хватило у нее разумения — младенец уже лежал бы у вас на коленях. Да, лежал, если бы...

И снова хитрая баба прервала свою речь и еще с бóльшим напряжением уставилась на воду. Луарсаб и Дареджан обратились в слух.

— Телетская помогла бы вам — да не оставит она и впредь вас милостью своею! — Телетская помогла бы,— тянула гадалка, попрежнему не подымая глаз,— если бы в доме у вас не было джадо [1].

Перепуганные до потери сознания Луарсаб и Дареджан, дрожа, воскликнули разом:

— Вай, горе дому, обреченному на погибель!

— Не бойтесь, джадо потеряло свою силу, оно у меня в руках.

— А ну, покажи, если в руках,— попросил Луарсаб. Однако ему самому было страшно взглянуть, и он сказал Дареджан:

— Я не могу смотреть, я закрою глаза, а ты посмотри.

— Нет, милый, сам смотри, а я закрою глаза! — ответила бледная от страха жена.

— Чего вы боитесь? — успокоила их гадалка.— Ведь не в руках же оно у меня в самом деле. Джадо у вас во дворе.

— Где, дорогая, где? Эй, люди, живее на помощь! — заорал барин.

---

[1] Джадо — заклятый предмет, носитель несчастья.

— За конюшнею яма — в ней и есть джадо.

— Люди! Эй, люди, скорей! Ну-ка, шени чириме, люди! Кто хочет милости господской, люди? Подарю черкеску! За конюшней яма! Эй, люди, живее, шени чириме!

Так среди комнаты вопил пораженный ужасом Луарсаб, а рядом дрожала Дареджан. Губы у нее посинели, но все же она остановила мужа:

— Чего в комнате надрываешься, разве кто услышит? Выйди во двор и пошли людей.

— Нет, дорогая, на этот раз выйди ты, а потом я хоть сорок раз пойду.

— Иди же, чего ты боишься, не задушит же тебя джадо! — убеждала княгиня, но ей и самой было страшно.

— Нет, дорогая, ступай ты! Что, в самом деле? Богом заклинаю, выйди, если любишь, выйди!

— И не стыдно тебе? Меня, женщину, посылаешь, — а еще мужчина и шапку на голове носит!

— Какое там мужчина, нашла время! В доме, сказано тебе, джадо.

— Я позову людей, — вмешалась гадалка. — Стоит ли вам из-за этого беспокоиться?

— Да, дорогая, позови сама! Видишь, мы расстроены, — попросил Луарсаб. — А ничего, что мы одни в комнате останемся?

— Ничего.

Гадалка вышла и послала дворовых извлечь джадо. Дворовые долго блуждали вокруг конюшни, но там никакой ямы не нашли. Пришли и доложили барину:

— Нет там никакой ямы, и откуда ей там быть?

— Горе мне! — воскликнул Луарсаб. — Видите, джадо отвело им глаза, что же с нами будет?

Гадалка усмехнулась.

— Пойду я сама. Джадо мне глаз не отведет, —

сказала она.— Идите и вы со мною, чтобы собственными глазами увидеть.

— Нет, дорогая, мы и так поверим! — сказал Луарсаб, которому было страшно итти.— Ступай без нас, сама посмотри,— все равно, как будто и мы видели.

Старуха вышла, слуги последовали за нею. Спустя короткое время она принесла какие-то тряпки.

— Не входи сюда! — кричал Луарсаб, забившись в угол.— Не вноси! Вели сжечь там же! Там же!

«Джадо» сожгли.

XII

На другой день Луарсаб призвал дворовых слуг, принимавших участие во вчерашних событиях, и завел с ними следующий разговор:

— Яма вправду была?

— Вправду видели,— не во гнев вашей милости,— ответили дворовые. Зачем им было перечить?

— Так, значит, своими собственными глазами видели?

— Обоими глазами, так, как тебя, батоно, видим.

— Слава тебе, господи! Сколько лет здесь живу, до старости дожил и ни разу не видел там ямы! Вот чудеса! И как она проведала? Ну, и прозорливица, по всему видать!

— Такое уж у нее ремесло, шени чириме, оттого и знает,— ответили дворовые.

— Видно, так оно и есть, а не то... Ой, прокляни ее господь! Ну, а кто-нибудь из вас эту яму раньше видел или слыхал о ней?

— Как могли видеть, чего не было! — пробурчал какой-то юноша. Он горделиво стоял в сторонке, положив руку на рукоятку кинжала.— Ребята чего-то

наковыряли, а колдунья говорит: яма. Что тут странного?

Конечно, все это было сказано так, чтоб Луарсаб не услышал.

— А тебе-то, брат, какая печаль?— шепнул ему пожилой, умудренный опытом крестьянин. — Видишь, барину приятно, чтобы была яма. Пускай думает, что есть она! Тебе-то что? Не во гнев тебе будь сказано,— обратился затем лукавый раб к господину,— яму там до сегодняшнего дня никто не видел и слышать о ней не слыхал. А я в этих местах живу с самого рождения, помирать скоро время придет. Сами изволите понимать, шени чириме, это колдуньина проделка.

— Да разве она колдунья?

— А то как же! В Иванову ночь, когда ведьмы шабаш свой справляют, шени чириме, они — да проклянет их господь! — усаживаются верхом на метлы и летят к своему господину. Говорят, будто и мать Читурашвили вылезает в трубу через камин, садится на метлу, словно на коня, и — летит!

— Слыхал и я об этом. Сколько чудес-то на свете! Хвала тебе, боже! — Луарсаб перекрестился.— Значит, и мать Читурашвили гадать умеет?

— Да разве всякая гадать может, шени чириме? Главный, который есть у них, когда они под шабаш к нему с подарками приходят,— этот главный, оказывается, им говорит: «тебе дарую я уменье ворожить!» И второй тоже говорит: «тебе знахаркой быть»,— так-то!

— Так оно, должно быть, и есть! Откуда иначе ей знать, что там яма? И умница же, верно, тот главный.

— Говорят, умнее Соломона Премудрого!

— Так сразу и видно! Слава тебе, господи! — он снова перекрестился и отправился в комнату к Дареджан,

— Слыхала, жена, каких дел натворила эта негодная, беззубая старуха? — сказал он жене. — У них-то ведь главный есть, — так она самая первая из его приближенных. Ай, прокляни ее господь! Что это я видел, шени чириме!

— Будет, бога ради, не напоминай! До сих пор меня трясет от страха.

— Вот она, прозорливость! Сколько людей с самого рождения в моем доме живут, и никто до нынешнего дня не знал, что там яма. Что она натворила, шени чириме!

— Кто знает, уж не дьявол ли сидит в ней, прости господи?

При упоминании о дьяволе супруги перекрестились и трижды плюнули в его сторону.

— А теперь... Как знать... Но если и теперь у нас ребенка не будет, значит бог уж совсем на нас рассердился, — сказал Луарсаб.

— Экой ты! Даже говорить об этом не надо! Я так уверена, как будто ребенок у меня уже на коленях лежит! Чего только она ни угадала? Поди, не верь ей!

— Само собою! Я то же говорю... Если бы господь бог не научил людей ворожить — слава мудрости его! — что было бы с нами? Кто бы нашел джадо?

Супруги примолкли, продолжая мысленно перебирать поразительные события минувшего дня. Наконец, Луарсаб заговорил снова:

— Дареджан, она все это в воде увидала, а? Ты как думаешь?

— Пожалуй! Дай бог тебе жизни, она ведь в самом деле в воде увидала.

— Не знаю, но мне так кажется.

— Богу одному известно! Может быть, и вправду так.

— Не знаю, однако, так мне показалось,

— Тобою клянусь, так оно и было!

— Почем знать? Но, по разуму моему, так оно выходит.

— Мне сердце то же самое подсказывает, клянусь жизнью Луарсаба.

— Зерна пшеничные, которые она в воду бросала, и круги, которые от них расходились, может быть, это самое и было?

— Может, и так. Наверное оно «то» и есть.

— Что «то»?

— «То», что ты сказал.

— Я же говорю тебе, что это так! — сказал Луарсаб, гордясь тем, что он отгадал.— Наверняка так оно и было, старуха-то ведь все-таки не дьявол, чтобы такое чудо сотворить!

— Так, так,— а я ведь подумала на нее,— господи, грех-то какой! — что она дьявольское отродье.

— Прямо удивляюсь тебе! Какое же она дьявольское отродье, когда у нее даже рогов нет? У дьявола непременно должны быть рога!

— Э, будто я не знаю, просто так подумала!

— Ну, тогда дело другое.

И оба супруга замолчали. Они были убеждены, что нынче поняли и угадали то, что вчера в присутствии колдуньи им казалось непонятным.

— Это я ведь угадал! — хвастливо заявил Луарсаб.

Как ни любила Дареджан Луарсаба, но ей все же хотелось, чтобы честь разгадки принадлежала ей, а не Луарсабу: тщеславие равно присуще и глупцу и мудрецу.

— Как будто и я не разгадала бы, если бы мне захотелось? — возразила Дареджан.— Не хотелось, а то я вчера уже все объяснила бы!

— Заладишь теперь свое!

— Ей-богу, правда.

— Э, тебя ведь не переспоришь! Хоть сам Соло-

мон Премудрый явись, ты и ему скажешь: «я умнее тебя». Отчего бы тебе не уступить разок. Я же тебе не чужой, а муж.

Не знаю, уступила ли ему Дареджан, или нет, знаю только, что Луарсаб был очень огорчен тем, что Дареджан оспаривала у него честь разгадки.

XIII

Гадалка внушила супругам твердую уверенность в том, что Дареджан родит. И даже тень сомнения не колебала эту надежду. Эта уверенность привела к тому, что в один прекрасный день Дареджан показалось, будто в утробе у нее шевельнулся младенец. Понятно, счастливая Дареджан тотчас же сообщила эту благую весть Луарсабу.

— В самом деле, шевелится?— воскликнул Луарсаб вне себя от радости.

— Как тебе не стыдно, дорогой мой! Я почтенная женщина, и то чуть не подпрыгнула от радости, но вспомнила: не скинуть бы,— а ты не веришь!

— Уй, так бы и обнял тебя, душа моя! Молодец, что не подпрыгнула, а то еще выкинула бы! И как это ты только сообразила в радости такой?.. А я, бог свидетель, подпрыгнул бы и так подпрыгнул, что, случись упасть,— треснул бы, как огурец! Вот когда лопнут глаза у Давида! А ну, пускай теперь пляшет перхули! Давай-ка мы с тобою сегодня хорошенько кутнем: велим открыть красное вино получше, да и выпьем за здоровье нашего младенца. Ура-аа! — завопил Луарсаб, а так как он по своему обыкновению лежал на тахте вверх животом, то задрал при этом ногу и не опускал ее до тех пор, пока не отгремело его «ура».

Случилось это в обеденное время. Приказали открыть непочатый кувшин с красным вином. Убеж-

денные в том, что у них родится наследник и что у Давида с присными его лопнут глаза, супруги на радостях подвыпили за обедом. Особенно разошелся основательно захмелевший Луарсаб. Елисабед утверждала, будто и Дареджан любит выпить. Я же знаю только, что на этот раз она опорожнила за обедом стакана два-три. Луарсаб осушил три стакана подряд за здоровье еще не родившегося младенца и, говоря «аллаверды»[1], передал свой стакан Дареджан. Дареджан, хотя и была слегка навеселе, однако, соблюдая женское свое достоинство, приняла от него стакан, но пить не стала.

— Пей, дорогая, пожалуйста! — говорил ей захмелевший Луарсаб.— Не порть мне веселья. Неужели ты не выпьешь за здоровье нашего ребенка? Если мы с тобою не выпьем, то кому же за него пить? Рассердится на нас господь и скажет: «я даровал им ребенка, а они даже не выпили за его здоровье». Не раздражай милосердного господа, он и так едва взглянул на нас милостивым оком своим. И мне веселья не порть, выпей, пожалуйста!

Произнеся это, он еще раз поднес ей стакан.

Дареджан приняла стакан, но при этом так смутилась и так взмахнула ресницами и улыбнулась такой вкусной улыбкой, что я тотчас же догадался, что княгиня и без того уже навеселе. Приняла стакан и выпила до дна. И забавная же была княгиня: ее понемножку разбирал хмель, уж и щеки ее раскраснелись, как маков цвет, и к губам пристала улыбка и никак с них не сходила. Нижняя губа ее опустилась, слюни потекли изо рта, помутневшие глаза слипались — одним словом, Дареджан захмелела. И Луарсаб был пьян. Он распустил поводья отяжелевшего от вина языка и понес всяческую

---

[1] Аллаверды — буквально: «дай бог здоровья», а во время пира — предложение сотрапезнику выпить.

бестолочь. Дареджан все качала головою и все смеялась да улыбалась.

— Я хоть голову за Кахетию сложу! — заплетающимся языком говорил пьяный Луарсаб.— Мне и головы за нее не жаль! Не будь ее,— не было бы и кахетинского. И чем же я был бы тогда? Кто бы тогда помянул мое славное имя? Если сегодня почитается имя Луарсаба, этим я обязан вину. Если я нынче человек, то я человек только благодаря соку этого черного винограда! Нет в Грузии никого, кто бы мог выпить столько, сколько я выпиваю, великий я выпивала! Умей я к тому же петь, меня бы не одолело вино всей Кахетии! То-то и есть, что не умею! Пение умеряет хмель. А так мне и желать-то больше нечего: брюхо у меня — хорошему питуху впору, войдет в него хоть четыре чапи [1]. Помнишь того имеретина? Того, что приходил,— я, мол, от Дадиани «поверния» [2]. Не «поверния» он вовсе, клянусь тобою, его нарочно подослали имеретины: а ну-ка иди, говорят, есть в Кахетии некий богатырь Луарсаб Таткаридзе, ты только напои допьяна этого богатыря, и мы отдадим за это половину Имеретии. Увидел он меня, тотчас же понял, что я за человек, потому-то взял и назвался «поверния», чтоб не опозорить свое имя. Ты не подумай, что хвастаюсь — имя мое прогремело до татарской земли, слава обо мне и до Имеретии дошла! Вот этот негодный твой Луарсаб до того довел горячку имеретина, что... что... он попросил пощады... Сам, собственными устами сказал мне: «Ты Бакбак-дэви — богатырь настоящий». И палец передо мной согнул [3] и тихонько шепнул мне на ухо: «Ты выиграл заклад, половина Имеретии — твоя». Если бы я подал

---

[1] Чапи — мера жидкости, приблизительно в полтора ведра.

[2] «Поверния» — искаженное «поверенный».

[3] Сгибание указательного пальца — знак покорности.

жалобу,— оттягал бы, разумеется, эту половину. Но ведь тогда еще нам и собственные наши земли некому было завещать, на что мне была Имеретия? Теперь есть у нас наследник,— да благословит бог твое чрево! В нем сидит сейчас маленький Саткаридзе и, кажется мне, плещется в красном вине. Уй, шени чириме! Дай, поцелую крепко, взасос, эти нежные губки. А теперь, раз у нас есть наследник, давай-ка подумаем насчет его свадьбы! Знаешь что, Дареджан? Ты ведь у меня мудрая женщина, да и я — по милости господней — не дурак: как стукнет ему четырнадцать лет,— а ну-ка, сосчитай, когда стукнет, как будто не так уж долго и ждать, скоро стукнет,— и как только стукнет, сейчас же обвенчаем. Чего нам ждать? Ну, а на его свадьбе ты лезгинку не спляшешь? А я — пошли господи тебе милость свою! — так спляшу, да еще вприсядку, что пыль столбом пойдет. Когда я, значит, перепил того имеретина, знаешь, что я ему сказал? Ступай, говорю, и там, где свое скажешь, там и про мое расскажи, и имеретинам скажи, что сока всей вашей виноградной кислятины не хватит мне и на глоточек, а глоток — так и вовсе за вами останется. Вот мы какие, говорю, люди в Кахетии! А то как же? Признайся, если в бога веруешь: хорошо ведь я сказал?

— Хорошо и благородно!

— Если так, давай еще раз присосусь к твоим щечкам — как земляничка они. Ну, а теперь, Дареджан, скажи,— спляшешь на свадьбе сына лезгинку?

— Отчего не сплясать?

— О милая! Давай-ка, знаешь что сделаем? Будто уже свадьба! А ну-ка... разок, спляши по-своему дидоури [1], а я спою тебе «гандидури» [2]. Если лю-

---

[1] Дидоури — танец дидойцев-лезгин.

[2] Гандидури — танцовальная песня.

бишь, ай! Вроде, будто свадьба... Я буду петь «Нежную ветку ореха». Ай, да... нежная ветка... ореха... Чупри-чупар, чупри, моя Дареджан!.. Ура!.. Ай, гиди!.. Браво! Шапку кидай в потолок! И отделал же я имеретина!.. Кахетинец, шени чи... ри... мее... славно... булькает вино... из... ку... лы[1]!.. Отделал... же я... имеретина... И пусть... у Давида... лопнут гла... за, ураа! — ревел захмелевший Луарсаб на песенный лад, плел околесицу и так в этом бреду и заснул.

XIV

— Ты, видно, никогда не кончишь? — спросит меня заскучавший, а может, и раздосадованный читатель. Как нет? Кончу, но знаете чем? Тем, что счастью Луарсаба наступит конец.

— Как, неужели даже такое прочное счастье тленно? Что же тогда нерушимо и незыблемо в мире? — воскликнет огорченный читатель в один голос со мной.

Нерушим и вечен только мир, читатель, да еще одна прекрасная, умная грузинская пословица: «Родине на благо, когда сын отца лучше». Что касается поговорки «не сходи с проторенных дорог», она прокралась к нам из Китая, а все, что носит на себе печать Китая, без сомнения, будет разрушено милостью божьей и вашей, любитель проторенных дорог, но все-таки любезный моему сердцу грузин!

Прошло известное время и, в силу закона непрерывной изменчивости сего тленного мира, многое изменилось на земной поверхности. Наши супруги

---

[1] Кула — узкогорлый кувшин. Луарсаб пытается петь застольную песню: «Кахетинец, шени чириме, славно булькает из кулы».

так и не дождались потомства. Дареджан разыскала где-то знахарку и стала лечиться. Знахарка дала ей какого-то снадобья, Дареджан пила его две недели, а на третью — протянула ноги.

Остался вдовцом бедняга Луарсаб. Отпустил бороду, облачился в траур. Все свое счастье он похоронил вместе с Дареджан. Лишь две радости остались ему в этом бренном мире: одна — добрый аппетит, другая — когда господину хотелось уснуть, у ног его садилась Ламазисеули и чесала ему пятки и лодыжки. Вот и все, что осталось ему в утешенье. Почтенное брюхо его отвисло, пожелтели щеки, когда-то алые; впали и потускнели большие воловьи глаза, отощал его пухлый, с тремя складками подбородок, сморщился совсем, как гуда-легви[1], и исчезла с его лица присущая только ему, своеобразная вечная улыбка. Одним словом, пришел конец доброму молодцу. Вот, что делает скорбь! И, наконец, как на грех, кум преподнес ему в день преображения пол-литры[2] форелей. Он с горя основательно приналег на них, заболел воспалением желудка и отправился к праотцам.

Луарсаб умер так, как умирают многие из нас; те, от чьего бытия миру ничего не прибавилось и от чьей смерти ничто не убавится.

Стерлись с лица земли следы пребывания этих двух существ. Для чего они приходили и зачем ушли? Неужели они прожили полвека только для того, чтобы обрести три аршина земли и четыре сосновые доски? Или, быть может, ради того, чтобы на могильном камне было запечатлено: «князь Луарсаб Таткаридзе и супруга его княгиня Дареджан жили столько-то и столько лет, а потом сконча-

---

[1] Гуда-легви — сорт инжира.

[2] Литра — старинная грузинская мера веса, равная девяти фунтам.

лись»? Ведь никаких других свидетельств не осталось о том, что они жили и были на этом свете! «Прохожий, прости и помяни»,— гласит надпись на их могильном камне.

Неужели они прожили на свете полвека лишь для того, чтобы в конце концов быть вынужденными извиняться, просить прощения? Теперь я понимаю, почему издавна на могильной плите грузина повелось высекать: «Прости и помяни». Видимо, этот обычай прощения и поминания имел свой смысл и свои основания. Но я не стану разъяснять их, читатель. Если у тебя доброе сердце и острый ум,— ты и сам не хуже меня поймешь. А нет — так не стоит и толковать! Я только попусту огорчу тебя и вызову в тебе гнев. Гнев же этот лишит зоркости взгляд твой настолько, что если даже ближний твой больше, чем ты, болеет душою, ты все же не почувствуешь его боли и примешь за предательство слова, огорчившие тебя.

Я кончил, а ты, читатель, делай, что тебе будет угодно. Хочешь — смейся, хочешь плачь после того, как прочитаешь эту повесть. Ты найдешь в ней повод и для первого и для второго. Если тебе приходилось когда-нибудь, широко раскрыв глаза, наблюдать и продумывать то, что совершается вокруг, ты должен был заметить, что часто один и тот же предмет вызывает в одних смех, в других — слезы. Я видел как-то старую, одетую в лохмотья женщину, с голыми, потрескавшимися ногами. Кто скажет, какие беды довели ее до пьянства? В пьяном угаре она утратила и женское и человеческое достоинство. Я видел однажды, как эту несчастную женщину окружили городские ребята, и она, точно шут, за пять грошей плясала и кривлялась перед ними в течение часа. И я заметил, что многие из ребят смеялись, а у других щемило сердце при виде этого несчастного существа. Кто из них был прав? Те, кто

смеялись, или те, кто плакали? И те и другие, потому что одни видят только глазами (а на взгляд это было действительно смешно), а другие — и глазами и рассудком. Рассудок же редко смеется. Значит, случается и так, что одно и то же явление и смешно и печально до слез,— все зависит от того, каковы твои свойства. Если тебе дана такая сила разума, что, как бы горька ни была истина, ты все же смело, стойко идешь ей навстречу, и если при этом и сердце твое таково, что ты в состоянии пожалеть несчастного, сбившегося с пути,— тогда такая смешная история скорее всего вызовет у тебя слезы. Если же нет,— смейся, сколько вздумается! Смейся и заодно негодуй на автора этой повести и возведи на него небылицы,— ты ведь любишь сочинять небылицы! — будто я предаю грузинское дело хотя бы тем, что рассказываю о всяких смешных сторонах грузинской жизни, а не скрываю их, подобно иным малодушным патриотам. Знаю, читатель, что, к нашему несчастью, трудно среди вас сыскать человека, который не боялся бы правды, знаю это — и все же, как бы ты ни сердился, говорю в глаза и как друг, что Луарсаб и Дареджан вышли из твоего же лона, вскормлены твоей же грудью. Смеясь над ними, ты как бы смеешься над собою, а если заплачешь — это добрый знак: ты скорбишь о том, что мы таковы, значит в тебе возникло желание исправиться!

Дай бог, чтоб это было так!

Если я тебя люблю, читатель,— так в надежде на то, что это желание исправиться проснется в тебе не сегодня, так завтра. Не отнимай у нас этой надежды! Не думай, что этой повестью я хочу тебе досадить. Я хочу добиться лишь одного: показать тебе — насколько это в моих силах — твое дурное, твое зло, чтобы ты знал, что̀ подлежит исправлению. Ведь пока ты не взглянешь в зеркало или пока кто-нибудь другой не укажет тебе, что на лице твоем не все в

порядке, ты же не знаешь об этом? Пусть эта повесть будет зеркалом, а я, если хочешь, тем, кто указывает. Вглядись повнимательнее, может быть, что-нибудь и увидишь. Знай и то: только враг твой, увидав что-нибудь неладное на твоем лице, скроет это от тебя. А друг — немедленно поднесет тебе зеркало, чтобы ты привел себя в порядок и не срамился перед людьми. И я обращаюсь с тобою, как доброжелатель. Я поднес тебе зеркало. Как же ты можешь сердиться на меня за это? Неважно, если это зеркало окажется надтреснутым, а местами и в пятнах. Я дал тебе то, что у меня было. Помог тебе так, как умел. Но, если ты все же не перестанешь враждовать со мной,— воля твоя! Мне не страшна такая вражда. Я только огорчусь, что обманулся и в тебе, что и ты не тот, за кого я тебя принимал. Тогда мне остается скрестить руки и сказать: я криком своим предсказываю зарю, а рассветет или нет — про то знает бог. Но если бы не было меж нами вражды, то и мы хорошо бы знали, когда наступит этот рассвет!

А впрочем, пребывайте с миром и простите раба вашего...

1858—1863 гг.

СЦЕНЫ ИЗ ВРЕМЕН ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЕСТЬЯН

Камера мирового посредника. Стол, за столом сидит мировой посредник, рядом стоят несколько крестьян, два помещика сидят на стульях.

Посредник. Ну, Глаха Чриашвили, пришел ты раньше всех, тебе первым и говорить. Какое у тебя ко мне дело?

Глаха Чриашвили. Зовут меня, сами знать изволите, шени чириме, Глаха Чриашвили. Прадед мой, говорят, дворянином был, еще во времена Нугзара Эристави, а было это, когда кровавые дожди шли. Так сказывают, а не то откуда мне знать про все это? Был бы я старик — ну, тогда дело другое; да сила-то в том, что не так уж много мне лет. Барин мой... прокляни его, господи,— все забываю, что он уже не барин, да привычка, как говорится, сильнее правды! Нет-нет, да обмолвишься: барин, мол. Уж вы не прогневайтесь, шени чириме!

Посредник. Никто на тебя за это гневаться не станет.

Глаха Чриашвили. Нет, уж вы меня не сбивайте, шени чириме. Крестьяне мы, легко всему верим. Как же гневаться не станете, когда приказ вышел — взыскать двадцать пять рублей со всякого,

кто впредь бывшего своего помещика барином величать станет, да всыпать ему в придачу пятьдесят розог.

Посредник. Кто тебе это сказал?

Глаха Чриашвили. Раз уж мы крестьяне, так, по-вашему, и закон-положения[1] не знаем, шени чириме?

Посредник. Так вот, чтобы все вы отныне знали: попадись мне в руки тот, кто распускает в народе такие вздорные слухи, я с него взыщу, и строго взыщу! А тебе советую впредь ни при ком подобных глупостей не повторять. Все это вранье. Стыд какой: толковые люди, а верят всякому вздору! Дальше что? Говори, чего ты хочешь?

Глаха Чриашвили. Я? Мира вам и долголетия, шени чириме!

Посредник. А еще чего?

Глаха Чриашвили. Чтобы миловали вас бог и государь.

Посредник. Если ты, милейший, только за этим пришел, то благодарю тебя, можешь итти домой. Видишь, люди меня дожидаются, мне надо выслушать их жалобы тоже.

Глаха Чриашвили. Нет, шени чириме, и у меня к вам кое-какая просьба есть. Дай тебе боже долгую жизнь, послушай меня малость. Обождут немножко — какая разница! Разрешишь доложить, шени чириме?

Посредник. Сказано: выкладывай, а ты, точно хевис-бери[2], изливаешься в молитвах да пожеланиях. Благословлять, что ли, пришел! Говори, что нужно?

Глаха Чриашвили. А нужно мне вот что, шени чириме. Прадед-то мой еще во времена Нугзара Эристави дворянином был, а было это, когда кро-

[1] Подразумевается — «положение об освобождении крестьян». В грузинском тексте «закон-канони».

[2] См. примечание в конце книги. стр. 398.

вавые дожди шли... Так сказывают, откуда мне знать! Не такой уж я старый, чтобы помнить Нугзара Эристави! Знаю только, что было это о ту пору, когда кровавые дожди... *(Посредник, видимо, потеряв терпение, пожимает плечами.)* Не извольте гневаться, шени чириме, дайте все по порядку рассказать про заботу мою сердечную, как в законположении сказано...

Посредник. Кто же тебе мешает? Только, пожалуйста, не слишком распространяйся, покороче говори.

Глаха Чриашвили. О, дай тебе господи долгие дни! Так я, если прикажешь, все с начала начну и до конца дойду...

Посредник. Как хочешь начинай, хоть с конца, хоть с начала, только сказывай поскорее, какое у тебя ко мне дело.

Глаха Чриашвили. Вот за это благослови тебя бог! Так я с начала начну.

Посредник. Изволь.

Глаха Чриашвили. Значит, все расскажу тебе, все по порядку, шени чириме! Поспешность, шени чириме, сами хорошо изволите знать, до добра не доводит. Судья — ухо царево, и я должен рассказать тебе все, как следует, от начала до конца. Ежели замутит кто реку у источника ее, она до самого устья мутная течет. Вот потому-то я по порядку все от самого что ни на есть начала объяснить хочу; потому что всякое дело, если его изначала как следует построить, так до конца ладится, точно прозрачный ручей течет. Вам это еще лучше, чем мне, известно, где мне понять такое? Я — человек темный, крестьянин, отродясь в суде бывать не приходилось, даже к дверям не подходил — не знаю, какого они цвета будут, черные или красные? Может, и белые, кто их знает? В глаза не видел! Правду говорю, вот побожусь, да минует меня и ваш и господа всевышнего

гнев! Потому-то и приходится все с начала начинать. Лучше оно так выйдет, если все по порядку от самого что ни на есть начала рассказывать. Прадед мой был дворянином — в старину было дело, во времена Нугзара Эристави, когда, верно изволили слышать, кровавые дожди шли. Так говорят — да минует меня гнев ваш,— иначе откуда мне знать о тех временах? Не так уж мне много лет! Правда, в бороде и в усах седой волос пробился. Но сила-то в том, что мне не так уж много лет. Вы не смотрите, что я седой! Работа меня измаяла, шени чириме, работа. Собрать бы вместе весь пот, сколько я на барщине пролил, море целое выйдет — да минует меня гнев ваш! А то почему бы мне сломаться так рано? Мне много-много... самое большее... *(Задумывается.)* Да чего уж тут тянуть — да продлится жизнь твоя! Еще намедни, когда ты изволил к нам в деревню заехать — там вон церковка небольшая есть, ты еще в ней народ собирал; та самая, в которой ты нам царское слово объявлял,— как раз на том месте, против родительского дома,— так вот церковь эта вряд ли на пять лет раньше, чем я на свет родился, построена. А сколько с тех пор времени пройти могло? Пусть так же погибнет враг твой, как быстро тот, кто этому учен, на счетах прикинет!.. Он так и сказал бы: не так уж много, мол, времени прошло, да сила-то в том, что на взгляд меня всякий за столетнего примет. Работа да барщина — не свой брат! — а я вовсе не такой уж старый. Самое большее, как докладывал вам, та церковь лет за пять до меня построена. Я это к примеру говорю,— про церковь-то. Церковь — церковью, вы это лучше меня понимать изволите, да сила-то в том, что живой человек — это совсем другое дело, значит, чего уж тут речь длить? — да продлится жизнь твоя! — Человек все-таки совсем другое дело! Да если и не так оно, все-таки церковь-то ведь — что такое?

Камень да известка, а человек — совсем другое дело, так что...

Один из помещиков *(очевидно, выйдя из терпения)*. Дай тебе бог здоровья, складно говоришь.

Глаха Чриашвили *(не замечая насмешки)*. Что поделаешь, шени чириме, сказать иной раз лучше, чем не сказать.

Тот же помещик. А бывает и так, братец, что иной раз и слово повредить может!

Другой помещик. Не трогай его, не перебивай, я его знаю! Опять все с самого начала заведет,— врагу не пожелаю!

Один из крестьян. Что это ты, брат, все тянешь, точно ткач основу, никак кончить не можешь?

Глаха Чриашвили *(крестьянину)*. Черепаха ножку высунула: и я, мол, тоже рогатая скотина. Тебе, сынок, и горя мало. В чужой беде всяк мудрец. Ты спроси лучше, какая меня забота грызет.

Посредник. Спрашивать-то спрашиваем, да толку мало! Никак никто не поймет, какое у тебя дело.

Глаха Чриашвили. Начал я складно, а вы все мне кончить не даете. Значит, докладывал я вам, та церковь вряд ли на пять годов старше меня будет. Разве я старый? Да сила-то в том, что, если правду сказать, из моей доли воды тоже немало утекло. Проживу я еще самое-самое большее — от силы если — с пяток лет; ну, может быть, не пять, так семь, не семь, так десять, скажем. Работа здорово измаяла меня, вот что, шени чириме. Убелила меня, точно снег, да убелит вас так же господь!

Посредник. Спасибо за пожелание, что дальше?

Глаха Чриашвили. А то, шени чириме, что прадед мой дворянином был, а докладываю-то

я вам о делах давнишних, о том времени, когда Нугзар Эристави на свете жил, когда дожди кровавые шли, так, говорят, не то...

Посредник. Как видно, ты сегодня не кончишь! Давай, вот что я тебе посоветую: стань немножко в сторонку; я вот этих раньше про их дела расспрошу, а потом уж ты мне про свое расскажешь. Тебе же лучше, обдумаешь, по крайней мере, как следует.

Глаха Чриашвили. Дай тебе, господи, долгой жизни! Отлично сказать изволил. И в самом деле оно лучше, очень даже хорошо выходит. Памятью соберусь, может, еще складнее доложить придется. Сами изволите знать, крестьянин я. Правда, в деревне слава у меня такая, что мастер я говорить. Да сила-то в том, что все-таки откуда мне знать, как при вас говорить полагается, чтобы достойно вышло! Крестьянин я, горемыка — и все. Промеж своих еще кое-как слово сложить могу, а перед вами, пожалуй, уж лучше мне подумать! Прекрасно сказать изволили — тихо, про себя соберусь памятью: крестьянин ведь я, про многое позабыть мог, выходит значит, что и половину половины доложить вам не успел, а вот обдумаю, да припомню как следует, да и расскажу складно, как сказку складывают, так что вы...

Посредник. Хорошо, хорошо! *(Другому крестьянину.)* Теперь твоя очередь. Что скажешь?

Входит пожилая вдова-помещица.

Вдова *(скороговоркою)*. Клянусь — это все знаки второго пришествия,— господи, помилуй нас! *(Крестится.)* Что же это такое, шени чириме? Крестьян наших... кровью собственной мы их добыли...— и вот в клочки разорвали грамоты царя Ираклия [1], под-

[1] Здесь речь идет об Ираклии II (ум. в 1798 г.) последнем фактически независимом царе Грузии, объединившем Восточную Грузию (Карталинию и Кахетию).

твержденные двенадцатью его печатями! *(Крестьянам.)* Радуетесь, небось, вы, злосчастные? И-и! *(Проклинает их.)* Да обрушится гром на вшивые ваши головы! Гляди-ка, какие гордые, как головы подняли, а вчера еще, точно черви, пресмыкались! У-у! чтоб вам пропасть!

Посредник. Прошу вас не трогать их и осмотрительнее выбирать выражения. Вы не на рынке. Если у вас есть заявление, я приму его от вас несколько позже, я должен раньше выслушать их, они пришли раньше вас.

Вдова *(попрежнему скороговоркою)*. Ни за что, клянусь вами! Как вы могли такое подумать? Чтоб я ждала, пока будут говорить они? Значит, я уже не вдова благородного человека, значит, я...

Посредник. Успокойтесь! Выполнением установленных правил вы никак не унижаете своего дворянского достоинства. Справедливость требует, чтобы тот, кто раньше пришел, и ответ по своему делу получил раньше.

Вдова. Ни за что, клянусь вами! У дворянина всегда преимущество перед крестьянином, как и у князя перед дворянином, когда бы он ни пришел. И мы законы знаем! Если мы в двенадцати школах не учились, так вы уж вообразили, будто мы ничего не понимаем! Мы законы царя Вахтанга читали [1]. Если и эти законы отменены, так не скрывайте же, по крайней мере, от нас! *(Крестьянам.)* Ах, вы, змеиное отродье, радуетесь, небось!

Посредник. Покорнейше прошу их не трогать и осторожнее выбирать слова из уважения к месту, где вы изволите находиться.

Вдова *(задыхаясь)*. Да, хорошие времена настали для нас, благородных! И вы, сын нашей родной земли, человек благородной плоти и крови, стои-

---

[1] См. примечание в конце книги, стр. 399.

те за них! Чего же нам от вас ждать? *(Крестьянам.)* Поглядите, поглядите, как ухмыляются эти нечестивцы! *(Обращаясь к помещикам.)* А вы чего молчите? Вы что, не мужчины? Слова, что ли, сказать не можете? Видите, небо над нами рушится! *(Посреднику.)* Ну, стоит ли мне говорить? Какого правосудия ждать от вас, если вы за них стоите! Вы сказали благородной вдове: тщательнее, мол, выбирай слова пред крестьянами! Нам одно остается: сложить руки на груди да в воду. Другого исхода у нас нет! Что я слышу, шени чириме: перед мужичьем да еще держи язык за зубами! Что мы после этого? *(Крестьянам.)* Радуетесь, да? Погодите! Ядом отрыгнется вам ваша радость! *(Посреднику.)* Скажем, благословенный государь отобрал у нас крестьян; но дворянства нас он ведь не лишил? Чем же мы заслужили такое отношение?

Посредник. В третий раз прошу вас дать мне возможность выслушать заявления этих крестьян. Потрудитесь сесть, придет и ваша очередь.

Вдова. Что? Значит, я ровня им? Значит, я должна стоять в одной очереди с этими кахетинскими свиньями? Пусть раньше закатятся дни мои...

Посредник *(выходя из терпения)*. К крайнему моему сожалению, вы употребляете столь неуместные выражения, что я вынужден попросить вас удалиться.

Вдова *(несколько одумавшись)*. Почему, шени чириме, за что? Сказала «кахетинские свиньи» — вот и все! Разве это неправда? Не их, что ли, оценили, батоно, по двадцати пяти рублей за штуку?..[1] А ведь кахетинские свиньи, клянусь, иногда подороже продаются. Этим дуракам и в голову не приходит, что им следовало бы еще от себя рублей по

[1] Выкупная цена крестьянской «души» в Грузии была назначена в 25 рублей.

двадцать пять надбавить, чтобы за человека человеческая цена получилась. Вот до чего совести у них, у этих крестьян, нет! Они даже себе цены не знают. А вы еще требуете слова на их счет поделикатнее выбирать! Как еще прикажете выражаться? Стóят они того! Прощайте, дай вам бог всякого блага, а мы свою породу унижать не станем. Прощайте, упаси меня боже еще раз обратиться к вам! Вы, оказывается, на стороне крестьян! Прощайте!

Посредник. Всего наилучшего!

Вдова. Значит, вы меня прогоняете? Не желаете выслушать заявление благородной дворянки?

Посредник. Я вас не гоню, если вы будете терпеливо ждать своей очереди и вести себя, как следует.

Вдова. Этого я ни за что себе не позволю! Избавь меня бог когда-нибудь жаловаться вам! Нет, благородным дворянам у вас справедливости не найти!

Вдова удаляется, но в соседней комнате сталкивается с другим помещиком. В камере посредника слышны их голоса.

Помещик. Куда это вы, невестушка?

Вдова. Прямо в ад, деверь мой, прямехонько в ад! Горе нам с тех пор, как сюда понаслали таких судей!

Помещик. Почему?

Вдова. Говорит, раз ты помещик и благородный, не имеешь, говорит, права стать впереди крестьянина. Перед крестьянином, говорит, в рот воды набери, откроешь, говорит, рот, так со страхом и трепетом слова выбирай, а на крестьянина и жаловаться не смей! Для вас теперь двери правосудия закрыты, крестьяне, говорит, теперь все. Я на вашу жалобу никакого внимания, говорит, не обращу! Крепостное право отменено! Вы, говорит, что теперь собой представляете? Вот такими именно словами: что вы, говорит, теперь собой представляете?

Помещик (*с ужасом*). Нет, ради бога!

Вдова. Да, так и было, не увидеть мне вас в гробу!

Помещик. Так и сказал: что вы, говорит, теперь собой представляете?

Вдова. Именно этими словами. А потом еще... (*Задумывается и вспоминает.*) Так и этак, говорит: вы теперь что собой представляете! И при ком? Вся комната полна этим собачьим отродьем!

Помещик. Не может быть!

Вдова. Посмотри и поверишь. Боже упаси ходить к нему с жалобой, к этому проходимцу, к этому вашему «мируа»[1], или как там его...

Помещик входит в камеру. Вдова подглядывает в щель, настороженно слушает.

Помещик. Честь имею представиться господину «посладнику»[2]. Я...

Посредник. Я вас хорошо знаю. Пожалуйста, садитесь. (*Подает ему стул.*)

Помещик садится.

Помещик (*про себя*). Верю, но дивлюсь хвосту[3]. Посредник не так уж страшен.

Растворяется дверь, и снова стремительно вбегает вдова.

Вдова. Хоть вы и не желаете выслушать мою жалобу, но я не отступлю от своего! Я все-таки расскажу вам, на что я жалуюсь! Если вы откажете в правосудии — благословение государю, у него есть судьи повыше! Не вам одному решать наши судьбы!

Посредник. Вот стул, садитесь. Я должен раньше выслушать заявление этого крестьянина. (*Крестьянину.*) Что у тебя?

---

[1] Искаженное слово «мировой» (посредник).

[2] Искаженное слово «посредник».

[3] Обратившиеся в поговорку заключительные слова басни о том, как клятвенно отпирался вор, у которого из-под полы торчал хвост украденного петуха.

Второй крестьянин. Я, шени чириме, насчет того жаловаться хочу, что помещик у меня виноградник отнял, а виноградник-то этот еще деды мои сажали.

Посредник. Давно это было?

Второй крестьянин. Лет десять-двенадцать тому. Я в ту пору еще подпаском в ночное ходил.

Вдова *(перебивая жалобщика)*. Я не допущу, чтобы он раньше меня принес свою жалобу! Я — жена дворянина, во мне благородная кровь! Вот мое дело. Мой крестьянин...

Посредник *(сердито)*. Сударыня, прошу дать мне возможность выслушать сперва его! *(Крестьянину.)* Как ты сказал? Когда отобрали у тебя виноградник?

Второй крестьянин. Лет этак десять-двенадцать тому, шени чириме.

Вдова. Мой крестьянин...

Помещик *(вновь пришедший)*. Невестка! Подожди малость, чего ты все в разговор суешься!

Вдова. Ждать? Кого ждать? Эту дрянь? Велика важность,— помещик у него виноградник отобрал! Хорошо еще, что его самого не променял на собаку. Не видите разве, какое время настало? На что жалуются? Ах, если бы мы это предвидели,— я бы вам показала! Выменяла бы я вас всех на щенят! Повремени, говорит! Извините, я не такая, чтобы сесть, когда скажут, и встать, когда прикажут! У меня звание дворянской жены. Я везде могу защитить свое достоинство. *(Посреднику.)* Удивляюсь, право, зачем вы слушаете подобные сказки! Был у него виноградник, помещик отнял его. Подумаешь, велика важность! Помещик, видите ли, осмелился! *(Крестьянину.)* Гром на ваши головы! Жалуются! На помещика, видите ли, жалуются! Ах, куда ушло то время, когда за такие слова помещик разложил бы тебя да содрал шкуру с ног до головы! Жалуется,

подумаешь! Уй, чтоб вам пропасть! Разве они смеют жаловаться на господ? Да что это я?.. Вы ведь за них стоите, им все дозволено... Где искать защиты?

Посредник (*выйдя из терпения*). Я долго и терпеливо слушал ваши пустые речи. Но так как я убедился в том, что этим бестолковым речам нет конца, прошу или оставить нас в покое и отправиться домой, или же сесть и молчать, пока не настанет ваша очередь.

Вдова (*скороговоркою*). Мой крепостной две недели тому назад выдал замуж дочь. Священник обвенчал их без моего разрешения, а теперь они мне брачной не платят![1] Прошу взыскать согласно закону и обычаю, а священника — расстричь! (*Крестьянам.*) Что, получили? Что, не пожаловалась раньше вас? Теперь хоть до вечера сидеть могу! Добилась-таки своего! Не пикну больше, клянусь вам, не пикну, ни звука. (*Садится на стул, победоносно оглядываясь по сторонам.*)

Посредник (*крестьянину*). Тебе, братец, не вернуть виноградника. Ты же сам говоришь, что отобрали его у тебя лет десять-двенадцать назад.

Второй крестьянин. Да, давно это было, надо правду сказать.

Вдова (*своему деверю*). Слышишь, деверь? «Братцем» его зовет! Позор на его голову! Нас из дому гонит, а вшивого мужика братцем величает!

Второй крестьянин. Так, значит, шени чириме, мне никак, никак дела не поправить?

Посредник. Если дело по закону вести, — ничего не выйдет. Но я переговорю с твоим помещи-

[1] Родители крепостной девушки, выходившей замуж за крестьянина, принадлежавшего другому помещику, выплачивали своему барину брачную повинность деньгами.

ком, авось удастся его уговорить, и он вернет добровольно.

Второй крестьянин. Спасибо вам, шени чириме. *(Уходит.)*

Вдова *(тихо деверю)*. Чей это человек? *(Деверь тихо отвечает — чей.)* Вот что! Помещик его — большой человек, потому посредник и не хочет помочь этой погани... А я-то дивлюсь, как это он, думаю, крестьянину отказывает! Оказывается, и не говори,— он все-таки боится того помещика!

Посредник *(первому помещику)*. Вот и ваш крестьянин по моему вызову явился. Какие у вас к нему претензии?

Первый помещик. Вижу. За ним недоимка в пять тумани. Сколько ни напоминал,— не платит.

Посредник *(крестьянину этого помещика)*. Правда ли то, на что жалуется твой помещик?

Крестьянин. Ай, ай, правда! *(Помещику.)* И чего это вы, батоно, беспокоились! Ведь докладывал я вам: послал я арбы во Владикавказ; как вернутся, сейчас же заплачу.

Посредник. Значит, ты готов уплатить эти деньги?

Крестьянин. Ай, ай, как же иначе? Неужто я стану из-за такого пустяка грех на душу брать? Сколько себя помню, шени чириме, я господ своих содержу, а из милости к ним бог и меня от щедрот своих награждает. Разве можно, чтоб я своему помещику изменил? Бог мне воздаст за это. *(Помещику.)* Батоно, коли уж очень деньги вам нужны, я сегодня же у кого-нибудь призайму. Только бы вам беспокойства не было! Сказали бы мне, милостивец вы мой, что крепко нуждаетесь! Был бы я изменником господу, если бы не добыл, хоть бы голову пришлось для этого об камни расшибить! Неужто заставил бы вас жаловаться? Горе мне! Неужели довел бы я дело до того, чтоб жаловаться?

Посредник. Хвалю, что ты так усердно выполняешь свои обязанности. Ступай, достань и отдай.

Крестьянин. Ай, ай, сегодня же отдам. *(Помещику.)* Пойдем, батоно, вместе?

Помещик встает и уходит вместе с крестьянином.

Старый помещик *(про себя)*. Кто сказал, будто крестьяне отвратили от нас свои сердца? Солжет тот, кто скажет это! Хороший человек всегда хорошим останется.

Посредник. Да, он, видимо, порядочный человек! *(Старому помещику.)* Теперь давайте разберемся в ваших делах. Ваш бывший крепостной, Иако Шайашвили, ищет с вас участок земли, которым он владел по праву собственности. У него, как вы видите, и купчая имеется. *(Показывает бумагу.)*

Старый помещик *(с улыбкой)*. Я, шени чириме, человек старого закала, читать не умею. *(Крестьянину.)* Иако, что это за земля?

Иако Шайашвили. Это, шени чириме, та самая земля, что овражком зовется, рядом, значит, с землей моих родичей, неровная, холмистая земля.

Старый помещик. Разве эта земля кому-нибудь продана? Когда же?

Иако Шайашвили. Дед наш, значит, купил у вашего деда.

Старый помещик. В первый раз слышу. Если это так, на бумаге должна быть подпись моего деда. Покойный прекрасно умел писать. Впрочем, если земля принадлежит тебе, зачем же ты отдавал мне за нее мою долю?

Иако Шайашвили. Ты помещик мой был, я и платил. Разве мог я против тебя итти? Не так мы с тобой жили, чтобы мне пожаловаться на тебя, как у других случается. Зачем долю отдавал? Затем отдавал, что за тобою у меня никогда в жизни ничего не пропадало. Мы с тобой не как помещик и

крепостной жили, а вроде как взаимно обязанные. Ты меня содержал, я — тебя. Для нас помещичья власть не отменена. Так и знай, что и на будущее время я все тот же твой верный Иако.

Старый помещик. Если так, мой Иако, бумагу эту ты должен был прежде всего мне показать. К чему было вмешивать третье лицо? Мы и без них поладили бы. Да, кроме того, неужто я не отдал бы тебе пахоты. Ты ведь всю свою жизнь честно мне служил!

Иако Шайашвили. Не обижайся, шени квнесаме. Как знать! Дело наследственное! Будь ты да я вечны, как небо,— ни о чем бы я не тревожился: при тебе я бы не стал беспокоиться. Но как угадаешь, что случится, когда нас не станет? Бумагу надо утвердить. Может, она и неправильная,— кто ее знает? Не сердись на меня, шени чириме! Дело наследственное, батоно! Однако, если ты в самом деле недоволен, пусть так же скоро погибнет твой враг, как скоро Иако выбросит эту бумагу, лишь бы тебе обиды не было!.. Чтобы я потерял тебя из-за двухдневной пахоты? Чтобы я позволил этому лоскутку любовь нашу разрушить?

Вдова *(ворчит)*. О, ты, змея полосатая, фарисей ты эдакий! Так в душу и лезет! Уй, быть бы мне твоею помещицей!

Старый помещик. Прав ты, Иако: дело наследственное. *(Немного волнуясь.)* Я не спорю. *(Посреднику.)* Прочитайте, пожалуйста, что тут написано. Вот видите, господин посредник, хлеб-соль крепка и между нами,— между помещиком и крепостным.

Посредник *(читает бумагу, которая заканчивается словами)*. «Руку приложил Утрути... швили».

Старый помещик. Утрути — это так деда моего звали. Раз так,— даже если бы я и позабыл о хлеб-соли и верности твоей, я бы все равно не нарушил воли дедовской, хотя бы она плевка каса-

лась. Помещик я, правда, небогатый, и двухдневная пахота для семьи моей тоже что-нибудь да стоит, но как бы там ни было, подпись деда для меня не какая-нибудь грязная тряпка. Бери землю, мой Иако, помогай тебе бог честно возделывать ее.

Вдова *(бурчит)*. «Бери!» — говорит. Жалует, точно Мухран-батони[1]! Как же, скажет он тебе спасибо.

Старый помещик *(видимо задетый)*. Сестра, всякий волен поступать по-своему. Я не Мухран-батони. Я один из тех небогатых дворян, у которых есть скромный кусок хлеба, и они стараются, чтоб он пошел им впрок. Скажет он мне спасибо или не скажет, — это его дело. А я, как поступал до сих пор, так буду поступать и впредь, до гробовой доски. *(Крестьянину.)* Иако, что скажешь, — как жили мы с тобой, так и впредь жить будем?

Иако Шайашвили. Умереть мне, если не так! Я — твое горе, ты — моя радость, как же мне иначе жить с тобою?

Старый помещик *(расчувствовавшись)*. Господи, благословенно буди твое правосудие! Неразлучимых кто разлучит? *(Посреднику.)* Составьте нам, шени чириме, бумагу. Я подпишу ее, а то *(трясет обеими руками на себе пояс)*, видите, вот-вот от голода помру.

Посредник. Сейчас, мой батоно. *(Пишет соглашение, потом читает.)*

Старый помещик. Очень хорошо. *(Деверю вдовы.)* Не умею писать. Вот тебе моя рука, подпишись за меня! *(Помещик подписывает.)* Теперь можно и домой итти. Так ведь?

Посредник. Пожалуйста. Благодарю вас за полюбовное соглашение. Даже со стороны приятно ви-

---

[1] Мухран-батони — владетельные князья Багратион-Мухранские.

деть такого рода дружественные отношения между вами.

Старый помещик. Что и говорить: впрок это пойдет, впрок, помяните когда-нибудь мое слово! *(Весело крестьянину.)* Пойдем-ка, Иако, сядем с тобою под ореховое дерево и еще разочек затянем: «Я, гордый слуга своего господина, не боюсь я тебя, вражья сила!» А другие пускай говорят, что им вздумается. Прощайте!

Крестьянин и старый помещик уходят.

Посредник *(третьему крестьянину)*. Ты ведь их бывший крепостной? *(Указывает на деверя вдовы.)*

Третий крестьянин. Ай, ай, ихний!

Вдова *(печально, про себя)*. Ой, горе тому, кто это видит! Бывший, говорит, а не просто крепостной. Господи, до чего дожили!

Посредник. Ваш бывший крепостной жалуется, что в феврале нынешнего года вы отобрали у него землю в размере трехдневной пахоты.

Деверь вдовы. Правда! Моя земля, я и отобрал, как повелел всемилостивейший государь наш.

Посредник. Вы неправильно поняли: правительство со дня обнародования лишило помещиков права отбирать что бы то ни было у крестьян. Пока не составлена уставная грамота, крестьянин сохраняет за собою все, чем владел.

Деверь вдовы. Грамота давно составлена, уверяю вас, и лежит у меня в шкатулке! Я про грамоту царя Ираклия говорю. Развернуть ее — всю эту комнату от стены до стены покроет! А чтоб было крепче, на ней двенадцать печатей царя царей и подпись самого султана! Вот и невестка моя хорошо знает...

Вдова. Как не знать? Ею только и дышим! Что бы с нами без нее было? Не будь этой грамоты, вы

все, верно, у нас взяли бы да передали этим проклятым крестьянам.

Посредник. Я не о той грамоте говорю!

Деверь вдовы. Иной, правду вам сказать, у нас не водится. Не так ли, невестка? Нет у нас другой?

Посредник. Конечно, той грамоты, о которой я вам докладываю, у вас быть не может. Она только составляется. Называется она «уставною грамотою». В ней должно быть установлено: что причитается с вас крестьянину и какие платежи он должен производить вам.

Деверь вдовы. Жизнью вашей клянусь, что от меня крестьянину решительно ничего не причитается! А если вы устроите так, чтобы мне с него что-нибудь причиталось — это уж ваше дело. И зачем беспокоить вас составлением бумаги? Мы и без бумаги довольны будем! Ему следует, сказали вы? Да что ж может причитаться с меня моему крепостному? Что он, брат мне, что ли? Клянусь, не хочу никакой новой грамоты! Как же так? Брось, говорит, грамоту царя Ираклия и сочиняй новую? Всемилостивейший государь захотел — и освободил крестьян. Но земля, согласно повелению его, принадлежит помещику. Оставьте же мне мое, а им оставьте свободу! И никакой грамоты, никаких хлопот... Распростились и — с богом! Не так ли, невестушка?

Вдова. Разумеется, клянусь вами! Вы хотели правды — вот вам и правда!

Посредник. Может быть, у вас земли мало? Сколько у вас земли?

Деверь вдовы *(видимо обиженный)*. Откуда вы взяли, что у меня мало земли? *(Хвастливо.)* У меня без всякого преувеличения приблизительно... больше чем четыреста или пятьсот дгиури[1].

Вдова *(посреднику)*. Запишите в книгу, шени

[1] Дгиури — см. сноску на стр. 22.

чириме,— вы единственная надежда моих сирот! — что половина принадлежит сиротам моим.

Деверь вдовы. На что это похоже, невестушка? Слова не дашь сказать человеку, все привязываешься. *(Негромко.)* Я его обманываю!

Вдова *(негромко).* Так бы и сказал — благослови тебя бог,— разве я хоть слово проронила бы? *(Вслух.)* Да, и все это только его личная доля, если не все пятьсот, так чуть-чуть поменьше. Но сколько бы там ни было, половина принадлежит моим сиротам. Запиши в книгу, шени чириме, чтобы начальство знало.

Посредник. Я спросил вас потому, что в случае, если бы пахоты у вас оказалось меньше шестидесяти дгиури, вы имели бы право через два года отобрать всю землю у бывших ваших крестьян. Но сейчас отбирать нельзя, ни в коем случае.

Деверь вдовы *(сердясь).* На что это похоже, невестка? Лезешь в рот, не даешь подумать! Ну где у нас наберется четыреста или пятьсот дгиури пахоты, как ты расписала?

Вдова. Кто же говорит, что столько? Не только пятисот дгиури не наберется, пожалуй, и тридцати не будет,— я про обе доли говорю. Что вы, п-я-т-ь-с-о-т! Если бы на самом деле столько было, пускай бы тогда досталось и этим проклятым.

Посредник. Все это мы позже расследуем. А в настоящее время вы обязаны вернуть бывшему вашему крепостному тот участок, в размере трех дгиури.

Деверь вдовы. Почему? Земля-то моя! Такова ведь и воля всемилостивейшего государя!

Посредник. Да, земля ваша.

Деверь вдовы. Если моя, и отдайте ее мне, хочу, чтоб моя была! Хочу сам пользоваться своею землею! Вот путаница! Твоя, видите ли, и не твоя! Слыхано ли такое дело?

Посредник. Земля ваша, но крестьянские на-

делы правительство отдало в пользование крестьянам, чтобы они могли прокормить семьи, справиться с царскою и помещичьей податью. А вам, в знак того, что земля ваша, он обязан вносить определенную плату.

Деверь вдовы. Не понимаю. Вы мне только скажите: чья земля?

Посредник. Я уже имел честь доложить,— помещичья.

Деверь вдовы. Если она помещичья, зачем отдаете ее крестьянину? Значит, на словах она моя, а на деле — его! Да, теперь я понимаю... Зачем вы так долго терзали меня, любезный? Так бы прямо и сказали — не твоя, мол!

Посредник *(видимо, теряя терпение)*. Одним словом, ту трехдневную пахоту, которую вы, согласно вашим же словам, отобрали в истекшем феврале, вы должны вернуть крестьянину!

Деверь вдовы. Значит, возвратить надо во что бы то ни стало?

Посредник. Без всякого сомнения. Если же она не должна ему принадлежать, то в свое время ее отберут по закону.

Вдова *(деверю)*. Говорила я тебе: ты для него — низкий плетень! Захочет — перепрыгнет... Отчего он тому вон крестьянину виноградник не возвратил, если это так?

Деверь вдовы. Я полагаю, закон один для всех, как для великих, так и для малых. Давеча вы изволили сказать тому крестьянину, что коль скоро помещик отобрал у него виноградник, то уже ничем нельзя помочь делу, мне же вы изволите говорить, что коль скоро я отобрал, то должен отдать. Где же тут справедливость?!

Посредник. Там были одни обстоятельства, тут — другие.

Деверь вдовы. Вовсе нет! И там была ото-

брана земля и тут. Там дело еще сложнее. У человека отобрали возделанный им виноградник, а мой крестьянин над моей пустошью ни капельки поту не пролил. Не так ли, невестушка?

Вдова. Так, клянусь вами! Хотите правды — вот вам и правда!

Посредник. Все это так, но вы забываете, что там земля отобрана давным-давно, а тут — после манифеста.

Деверь вдовы *(как бы обрадовавшись)* Прекрасно, отлично! Это вы хорошо сказать изволили. Остановимся на этом. На кресте и евангелии готов присягнуть, что, когда я отобрал землю, манифест об отмене крепостного права еще не был обнародован. В нашей стороне о нем еще и слуху не было!

Посредник. Отмена была обнародована в 1864 году, 8 ноября.

Деверь вдовы. Это что в городе читали?

Посредник. Ну да.

Деверь вдовы. Я и говорю, что меня там не было. У меня есть сын — единственный. Извините, что клясться перед вами решаюсь — так пусть умрет у меня этот единственный единородный сын, если я был там тогда! Или еще — хорошо, что свидетель под руками — спросите мою невестку. Не так ли, невестушка?

Вдова. Так оно, так! Он правду говорит. В самом деле, я ему еще сказала: давай, говорю, поедем, деверь мой. И у нас, говорю, есть крепостные. Узнаем, в чем там дело. Но — сами изволите знать наши грузинские обычаи — поленился он, не поехал. Однакож, видите, как хорошо вышло, что не послушался он бабьего совета. Будь он там, как объявляли, лишился бы ведь права отымать земли у крестьян!

Деверь вдовы *(самодовольно)*. Как будто я

вперед не знал! Человек должен все предвидеть. В самом деле, просто до смерти пристала ко мне невестка, а я ни за что не поехал.

Посредник. Возможно, что вас там не было. Но что же из этого следует?

Деверь вдовы. Да то, что мне объявлено не было. Кажется — ясно.

Посредник. Было вам объявлено или не было, к закону это не имеет никакого отношения. Я вам докладываю только, что после 8 ноября 1864 года помещик не имеет права отбирать что бы то ни было у крестьян.

Деверь вдовы. Эх, любезные, благослови вас бог, закон в ваших руках! Как захотите, так и повернете!

Вдова. Конечно, конечно!

Посредник. Я напишу решение, а если вы усмотрите в нем какую-нибудь несправедливость, сделайте надпись, что недовольны, и потом подайте жалобу.

Вдова. Много чего мы усматриваем! Да кто нас слушает?

Деверь вдовы. Эх, благодать над тобою, куда нам жаловаться? Вы полагаете — я семь, что ли, школ прошел?.. Едва фамилию свою подписать умею. Коли отдаете ему землю, отдавайте, бог с вами! *(Вдове.)* А ведь все ты мне, старуха, наделала! Тут же и подтвердила, пятьсот, мол, дгиури. Где ж у нас пятьсот, а? Ну где?

Вдова. Что? Старуха? Чтоб глаза твои лопнули! Хорошо еще, что при свидетеле! *(Посреднику.)* Разве не сам он сразу сказал, шени чириме, будто пахоты у него пятьсот дгиури. *(Посредник улыбается.)* Нет, вы не смейтесь, а прямо скажите: не он ли первый сказал? Вот, кстати, и доказательство: я еще перебила его: половина, мол, доля моих сирот. А потом, когда он сказал: где же у нас столько

земли,— я тоже подтвердила: где же столько? Не так разве было?

Деверь вдовы. Так или не так, я тебе... *(Гневно уходит.)*

Вдова *(вскакивает, кричит в дверь)*. «Я тебе»?! Не больно я испугалась, сова ты совиная! *(Возвращаясь к посреднику.)* Страшный лжец, этот проклятый! Не объявили, говорит! Врет, клянусь вами, и объявили ему, и все, что угодно. Крестьянам от него житья нет. Будь я на вашем месте, я бы его в тюрьму засадила. Бунтовщик он, грубиян! Не объявляли, говорит! А вы сразу догадались. Догадались, верно, когда я вам подмигнула,— врет, мол. И кого обманывает! Вас обманывает! Ах, он, подлюга! Отлично сделали, что отказали ему! Такому человеку так и надо. *(Тихо.)* Правду вам сказать, он и на руку не чист, в Сибирь ему прямая дорога!..

Посредник. Бросьте, расскажите лучше, какое у вас ко мне дело.

Вдова *(встает, с подобострастием)*. Уж я доложу, государь мой преславный, мудрец и мудрец меж мудрецами, заступник вдовых и сирых, покровитель сирот, великий и блаженный, щедрый и смиренный! Две недели тому бывший мой крепостной выдал замуж девку за безродного какого-то, такого же осла, как и сам он. Послала я к нему девушку свою, велела сказать: что же ты, дочку замуж выдаешь, а о брачной повинности позабыл? Он и ухом не повел. Тогда я сама к нему махнула, говорю: что же ты, мол, насчет повинности думаешь? — «Ступай,— говорит,— откуда притащилась»,— именно такими словами и ответил, пусть я в гробу вас увижу, если вру! Не деверю же я своему чета и не ровня его безобразной жене, чтобы лгать вам. Именно так и ответил. Это еще ничего. Подбоченился, батоно, встал передо мной, точно Мухран-батони, приподнял у меня на глазах плечи и опустил их передо мной,

передо мною, клянусь вашей жизнью! Если он теперь так поступает и говорит при мне, в нарушение веры и законов царя Вахтанга, то что же он себе потом позволит, шени чириме, когда свобода,— не дай ему бог дожить до того дня! — когда свобода въестся в кость и в кровь? Ну, рассудите сами, вашим высоким умом: что он позволит себе потом? Будь я на вашем месте,— конечно, не мне вас учить! — будь я на вашем месте, отодрала бы я его хорошенько русскими розгами, взыскала бы с него брачную повинность в двойном размере и отдала бы ее несчастной вдове бесприютной, с сиротами на руках. Доброе дело вам зачлось бы добром, а мне, вдове бесприютной, пожаловали бы то, что определено законами, печатью и повелениями царя Вахтанга, и я благословляла бы век день вашего зачатия. А его бы я на вашем месте хорошенько отодрала, чтоб во второй раз не повадно было, а то — бунтовщик он, и ничего больше! Они, государь мой великий, похожи на свиных вшей: посади на ногу,— доберутся до головы. Вы их не знаете, клянусь вами! *(В это время входит бывший крепостной вдовы. Завидя его, вдова прерывает речь и в ярости накидывается на него.)* Ты еще чего сюда приплелся, собачье отродье? Чего языки развязали? Постой, постой! Увидишь, как затравлю я твою жену псами, змею этакую!

Крестьянин. Видишь, шени чириме, по этой-то причине я и пришел к вам! Нет нам от нее житья, батоно. «Зачем, говорит, царь вас освободил!» Всю деревню извела бранью да попреками. Освободил нас царь,— наша, что ли, в том вина?

Вдова. Чья же вина? *(Посреднику.)* Чья вина? — не увидеть мне вас в гробу! *(Крестьянину.)* Будто мы не знаем, что вы прошение за прошением строчили, втихомолку по судам таскались, не надо нам, мол, господ! Ах ты, подлюга! Сами мы, что ли,

пошли да попросили: возьмите у нас крестьян! *(Посреднику.)* Будь я на вашем месте, я бы его за такую ложь в Сибирь сослала! Погляди-ка, нас же еще обвиняет, на нашу шею хочет взвалить беду всего мира! Ну, разве это не бунт? Клянусь вами,— бунт!

Крестьянин *(посреднику, умоляя)*. Дай мне какое-нибудь средство против нее, да продлит бог дни твои! Делайте со мною, что угодно, только избавьте меня от нее! Вся деревня от ее клятв да проклятий в тоску впала. Вскочит чуть ли не на заре, выбежит на балкон и давай встречных да поперечных проклинать, да приговаривать: «Что, радуетесь, а? Радуетесь, да? Ах вы такие, сякие!» Обо мне и говорить нечего: дня не пройдет, чтобы семью мою не огорчила. Дай бог вам долголетия — хоть переселите меня куда-нибудь, выведите только из этого ада!

Вдова *(напускаясь на него)*. Что? Переселить? Кого это? Кто смеет тебя переселить? Забыли о царе Ираклии? Значит, пожалованная им грамота, за двенадцатью царя царей печатями, силы лишилась? Вот в ней-то и сказано, что ты, со всеми твоими чадами и домочадцами, отдан мне в полное рабство. Ты хоть на месте тресни, а это так!

Крестьянин. Не рабы мы уже вам, калбатоно[1], нет и нет!

Вдова. Ах ты, собачий сын! Я тебя в навозную яму зарою, как дворняжку. *(Посреднику.)* Нет, милостивый государь, если они теперь господами нашими стали, так прямо нам это и скажите! Если же нет,— то зачем вы, любезный, позволяете ему меня, пожилую женщину, супругу благородного дворянина, поносить? Разве прилично, чтобы собачье это

---

[1] Калбатоно — звательный падеж от «калбатони» — госпожа.

отродье смело говорить мне: мы вам больше не рабы?

Посредник (*гневно*). За непристойную и недопустимую выходку я вас, ваше благородие, штрафую тремя рублями, а если вы будете продолжать, привлеку вас к судебной ответственности. Сил моих больше нет!

Вдова (*струсив не на шутку*). За что, государь мой великий? Я вам ни одного дурного слова не сказала! Я только к этой скотине обращаюсь! Не извольте сердиться, государь мой великий! Вы изволили определить три рубля? Так вот, взыщем с того крестьянина брачную повинность втройне, как блаженной памяти царя Вахтанга закон предписывает. Тогда не то что три рубля,— все шесть получить извольте, а остальное уж мне отдайте! Бог свидетель, разве я не исполняю закона? А мой крестьянин — этакая дрянь! Смотри-ка, только собралась я на него жаловаться, а он предупредил меня!.. Изумительно, откуда только они все узнают? С тех пор, как слух об отмене крепостного права громом ударил по свету, эти подлецы просто какими-то прозорливцами стали!.. На-днях вот, когда сильные дожди шли — крыша у меня земляная, не выдержала. Вышла я на двор. Это собачь... чуть было не обмолвилась! — это змеиное отродье рядом со мною живет,— позвала я его и так мягко, ласково, словно мать, говорю ему: «Сын мой, Георгий!..» (*Крестьянину.*) Да поразит тебя святой Георгий! (*Посреднику.*) «Сын мой, Георгий»,— говорю,— если это не правда, пусть увижу я вас в гробу! — именно этими словами говорю: «сын мой, Георгий, честный мой, хороший мой» — клянусь вашею жизнью, так именно и сказала! — «поди сюда, возьми своими ловкими и благодатными руками лопату и поправь мне крышу, как умеешь. Как будто я тебе мать, а ты мне сын,— говорю,— дай, мол, бог тебе за это до-

жить до моего возраста!» — клянусь вам, так именно и сказала! — «Что, мол, это для тебя?» *(Задумывается, припоминает ласковые слова, но не может припомнить.)* И много еще прекрасных слов я ему сказала, красивых, точно жемчуга, по-матерински, как сами изволите знать мой характер, ласково так, мягко. И что же? Над волком хоть читай, хоть не читай евангелие, — волком останется! Раскрыл он, сударь, рот — чтоб он у него черною землею наполнился! — раскрыл рот, да так меня отделал, так оттрепал, что и передать нельзя! Чего он только мне ни надерзил — не увидеть мне вас в пробу! Разве можно такое снести? Но так как в евангелии сказано... *(Крестьянину.)* Да минует тебя его благодать! *(Посреднику.)* Так как в евангелии сказано: «долготерпением вашим спасете души ваши», то я и стерпела, точно в рот воды набрала. Сами изволите знать, какой характер у степенной, благородной женщины! Разве я позволила бы себе вступать в спор с этим собачь...— чуть опять не обмолвилась! — с этим двуногим ослом?.. Я сказала ему только: «Хорошо, сын мой, дай бог тебе всякого блага», — да отвернется бог от него! Сами изволите знать мой характер, словно мать родная, спокойно так! И что же? Разве дойдет до них сердечное, ласковое слово?.. Вот как было дело, милостивый государь мой! Я уверена, что вы арестуете этого несчастного, посадите в тюрьму. Но, умоляю вас, не велите его бить очень крепко! Неженка он у меня, хватит с него за глаза — на радость и на горе — сорока, а то и шестидесяти русских розог. Что поделаешь: растила я его, жалко все-таки! Прошу вас покорнейше не наказывать строже! Что бы там ни было, я их, это змеиное семя, все-таки своими считаю: точно родных сыновей растили мы их, жалею их очень!.. Так будьте милостивы, не велите драть его сверх меры. Если шестидесяти ударов покажется

вам мало, прибавьте еще двадцать, ничего, вынесет. Но больше — видите, на коленях умоляю — не прибавляйте! Одно нужно: чтобы сек его русский. Грузины, сами изволите знать, в таких делах — народ ненадежный. Не умеют бить, как закон и правила предписывают! И это я, клянусь вами, ради его же пользы говорю: будет считаться, что высекли, а он все прежним ослом останется! Снова посмеет дерзить и скажет: пусть, мол, секут, не больно ведь! Характер у него испортится, а я не хочу, чтоб он испортился! Как сына растила, все мои заботы о нем прахом пойдут! Ведь нельзя, все-таки, чтобы мы, помещики, о них не думали. Не дал бог им своего разума. *(Крестьянину.)* Чтоб ты ослеп! Вы бы радовались, если б мы глотки себе перерезали, а мы вот так к вам милосердны, что не лишаем вас, несмотря ни на что, своих забот и попечений! *(Посреднику.)* Итак, прошу вас, восемьдесят ударов, так и быть, но не больше!..

1865 г.

У ВИСЕЛИЦЫ

Маленькая повесть

I

Лето было в разгаре. Опаленные солнцем долины и горные склоны поблекли и пожелтели. В тот день, описанием которого мы начинаем нашу повесть, стоял такой зной, солнце так неистово пылало, что земля, словно раскаленное тонэ, вся окуталась испарениями. Истомленные, измученные зноем люди едва дышали.

Вот в такой именно день несколько распряженных арб с вином стояли вереницею у самого края Лочинского ущелья[1]. От засухи речка в ущельи пересохла, и вода едва сочилась между камней по скалистому руслу. Несчастные аробщики, совершенно обессиленные жарой, подперли передки арб козлами и улеглись в тени. Все спали, разметавшись под арбами, только несколько парней помоложе стояли у края мелкой заводи. Подвернув полы, они черпали воду деревянными мисками и обливали задыхающихся буйволов. Буйволы валялись тут же, в воде, широко раскрыв пасти. Невдалеке, у края той

---

[1] Лочинское ущелье — в Кахетии, в долине реки Иори.

же лужи, сбились в кучу волы. Глаза у них были закрыты, они размахивали хвостами, отгоняя назойливых мух.

Солнце склонилось. В раскаленном, душном воздухе почувствовалось какое-то движение. Оно отозвалось и здесь, в этом затихшем уголке. Протирая глаза, поднялись аробщики, освежили лица холодной водой и, собравшись запрягать, стали сгонять скотину, которая, едва зной пошел на убыль, разбрелась по лугам и стала жевать пожелтевшую от засухи траву.

— Хо-о... Хио! Собачья тварь! — и многое еще, покрепче доносилось сквозь шум, поднятый аробщиками.

Уже запрягли, и передовой аробщик поднял прут, чтобы стегнуть волов и тронуться с места, как вдруг из-за выступа ущелья на дорогу вышли двое юношей, оба в куртках из солдатского сукна. На голове у одного из них была солдатская фуражка старинного образца, без козырька; другой был в огромной папахе. Она так глубоко сползла на уши, что ясно: подлинный хозяин этой папахи и нынешний обладатель ее — совсем разные лица.

Этому, в папахе, было, верно, лет шестнадцать-семнадцать. Первому — не более четырнадцати или пятнадцати. Лицо старшего не казалось особенно привлекательным. Его тонкий, острый подбородок, узкие, быстрые, беспокойные глаза и привычка беспрестанно мигать ими явно свидетельствовали о том, что в теле этого юноши скрыто черствое сердце. Второй, помоложе, чем-то походил на старшего и в то же время отличался от него. Было что-то общее в чертах лица, в его рисунке, но в то же время младший казался более привлекательным. Его черные глубокие глаза под нахмуренными бровями глядели жестко. Он был угрюм и замкнут. Казалось, его терзает что-то, но он через силу сдерживает себя,

только бы не выдать снедающее его волнение. Первый призводил впечатление юноши, который, если даже и пойдет по доброму пути, то все равно ничего замечательного из него не выйдет, а если пойдет по злому пути, так и тут окажется способным всего лишь на мелкое, трусоватое воровство. Второй же был отмечен совсем другим знаком.

— Здравствуйте! — сказал аробщикам старший.

— Ай, здравствуйте! — последовал ответ.

— Вы, верно, в город?

— Ты здорово угадал! — насмешливо крикнул кто-то из аробщиков.

Старший принял эту насмешку с улыбкой и даже как бы с подобострастием. Младший еще сумрачнее сдвинул брови. Гнев молнией озарил его лицо, но он быстро овладел собою. Он сделал некоторое усилие, чтобы подавить свои чувства.

— Да проклянет бог злого человека! — воскликнул старший.— Мы были в Тукурмишской школе[1]. Мы братья, князья...

— Бежан! — с упреком крикнул старшему брату младший и взглянул на него так, что тот оборвал на полуслове. Очевидно, младшему не понравилось что-то в словах брата, и он рассердился. Бежан замолчал было, но затем быстро вернулся к прерванному рассказу, уже не обращая внимания на брата.

— Мы братья, князья, — продолжал Бежан. — Отец прислал нам из города тумани, велел нанять, как отпустят, русскую повозку и ехать домой. И мы — да поразит бог злого человека и весь род его! — сговорились с одним русским, чтобы он

---

[1] См. примечание в конце книги, стр. 399.

свез нас в город, и отдали ему восемь рублей. Он согласился, а по дороге напился в духане, выкинул нас из повозки, сам уехал домой, а нас так и бросил. Вещи и восемь рублей увез с собой, собачья душа!

Младший совсем разволновался. Он повернулся спиной к аробщикам и к брату, уставился невидящим взглядом в пространство, а потом стал упорно глядеть на заходящее солнце.

— Увез черкеску с позументами, она одна пять тумани стоит, вот какая! — начал вновь старший.— Впрочем, прах с ней, с черкеской! Старая она, заведу себе новую, отец наш человек состоятельный...

Младший резко обернулся к брату, еще более взволнованный и возмущенный.

— Довольно, будет, Бежан! — сказал младший гневно, но вместе с тем, казалось, просительно.

Бежан продолжал, попрежнему не обращая на него внимания:

— Два дня мы ничего не ели. Нехорошо поступил он с нами, чтоб ему пропасть, ему и близким его! Что же нам теперь делать тут, в чужом краю?

— Горе моему создателю! — отозвался старый аробщик.— Какая тут чужбина? Послушать вас, выходит, вы к татарам попали? Страна эта — христианская Грузия. И хлеба вам дадим, и вина разопьем и повеселимся наславу. Горе злому человеку, что взял на себя грех перед вами. А вам, вам-то какое горе? Довезу до города — да так, что и ветерком не обдует!

Морщинки на лбу у младшего разгладились, и точно отблеск улыбки мелькнул на его хмуром лице. Вернее, лицо его выразило некое радостное удивление, как будто он впервые столкнулся с человеческой добротой и удивился ей. А старик раскрыл

хурджин[1], протянул по хлебу и одному и другому и нацедил чареки[2] вина из маленького бурдючка.

— Горе тебе, Петрэ! — снова заговорил старик. — Даже лезгин не умирал с голоду в благословенной нашей стране. А вы чего испугались? Ешьте, дети! Не подумайте, будто скупы мы, гостеприимства не понимаем и потому дали вам только по куску черствого хлеба. Ночью я накормлю вас таким бараньим шашлыком, что сам султан губы оближет.

Петрэ посадил обоих к себе на арбу. Передовому аробщику крикнули, чтобы ехал. Караван тронулся. Запылила сухая дорога.

В тот же день, в ту пору, когда в деревне принимаются за ужин, аробщики распрягли арбы на городской окраине. Наступила ночь, и они хотели избежать лишних расходов, связанных с ночевкой скотины в городе. Аробщики сняли с арб по одному, по два привезенных издалека полена и разложили костер. Петрэ зажарил шашлык для своих молодых спутников и угостил их, как мог.

Поужинали. Усталые аробщики разлеглись и крепко уснули. Скотина разбрелась по пастбищу. Несколько аробщиков, как всегда по ночам, безотлучно стерегли скотину. Петрэ разостлал бурку и сказал юношам:

— Вы — князья, не привычно вам валяться на голой земле, как мы валяемся.

Юноши легли. Петрэ пристроился поблизости и заснул мертвым сном.

Рассвет был сизый, как голубь. Аробщики поднялись, но гостей своих Петрэ уже не нашел на месте. Он оглянулся по сторонам — их нигде не было видно.

---

[1] Хурджин — переметная сума из ковровой ткани.

[2] Чареки — старинная мера вина, приблизительно равная литру.

— Горе мне! — воскликнул старый Петрэ, убедившись в том, что юношей и след простыл.— Значит, все-таки обманули старого человека. Сбежали! Наверное, утащили что-нибудь...

Схватился Петрэ за карманы,— оказалось, что карманы срезаны. Добрый старик с горечью усмехнулся.

— А ведь обобрали молокососы меня, старого человека,— с обидою, хотя и улыбаясь, сказал Петрэ.— Поделом мне: разве можно так спать, чтобы ничего не почувствовать. Э, прокляни господи, старость! Да, сынок, пора уже мне кинуть свой лук на землю. Не напрасно твердит мне старший мой: стар ты стал, отец, не годится тебе ходить аробщиком в дальнюю дорогу. И правда, не годится. А я еще рассчитывал к Агзевани[1] за солью съездить! Ай та...та...та... Стар стал, никуда не гожусь. Как домой показаться, стыд какой! И кого обокрали? Аробщика! Я вино в город везу, а они обокрали! И кто? Грудные дети! Карманы срезали! Срезали, горе мне, горе!

— Много взяли? — спросил кто-то.

— Три рубля да десять шаури[2] мелочью,— ответил Петрэ.— Обидно, сынок, да не из-за денег обидно, стоит ли о них горевать! А как мне стыд этот снести? Молокосос обобрал меня! Кому ни расскажешь, всякий засмеет, все семейство на смех меня подымет. У сонного карманы срезали! Нет, сынок, если уж грузин напялил на себя русскую шапку — конченное дело! Тьфу, дьявол! И кто обокрал? Молоко на губах у них еще не обсохло!.. А тут старик... Ай, тай, тай, тай!.. Дай бог, чтоб им на пользу пошло, а с меня и стыда и смеха довольно.

---

[1] Агзевани — грузинское название горы Алагез в Армении.

[2] Шаури — пятак.

И он качал головою и улыбался так, как будто ему хотелось обратить все это в шутку, но в душе ему и в самом деле было стыдно.

II

Прошло четыре года. Близилась весна. Петрэ, еще более постаревший, ехал в город за жерновами для мельницы. Но как он ехал? Все такой же гордый, уверенный в себе, как и раньше. Правда, теперь у него были на то совсем другие причины.

С тех пор как с ним случилось то печальное происшествие, он уже не ездил в качестве аробщика. «Видно, не гожусь я для этого»,— с огорчением говорил он сыну. Теперь, когда приходилось везти вино, его арбою и буйволами правил сын. Сам же Петрэ, важный, как Кейн[1], восседал на огромном, раздувшемся от вина бурдюке, перекинув через него ногу. Дорожный петух[2] пребывал на арбе его сына, и за сыном же сохранялось предводительство всем караваном арб. Эта честь и видное положение сына, отличавшие его среди односельчан, доставляли Петрэ величайшее удовольствие и вызывали в нем горделивое чувство. Он радовался и думал: «Как приедем домой, я и старуху мою порадую — пусть знает, какая честь, какой почет выпали на долю нашего сына!»

---

[1] Шах Ирана, комический персонаж «кееноба» — народного действа на тему о шахе. (См. примечание в конце книги, стр. 398.)

[2] Когда караван отправляется в дальнюю дорогу, на одну из арб сажают петуха, чтобы он своим криком возвещал о наступлении рассвета. Большею частью петух находится на арбе передового аробщика. Старшинство в караване, то есть право вести первую арбу, считается среди крестьян чрезвычайно почетным; поручали это дело только надежному, предусмотрительному и хорошо знающему дорогу погонщику.

Петрэ застрял на несколько дней в городе. Задержался из-за каких-то городских дел и весь караван. Но, наконец, решили, что сегодня вечером, когда солнце повернет к закату, караван снимется с места. Петрэ нагрузил на арбу купленные им жернова и переправил их в тот заезжий двор, где стоял караван. Время перешло за полдень. В этот-то именно вечер они и собирались тронуться в путь.

Петрэ сказал себе:

— Дела у меня сейчас никакого нет, давай-ка схожу на авлабарский майдан [1]. Там много народу, услышу что-нибудь новое.

На майдане, как всегда, толпилось множество людей. Собирались кучками, шумели, галдели. Петрэ втерся в одну из таких кучек послушать, о чем толкуют.

Тут он узнал, что на Махате [2] должны повесить какого-то человека и что повесят его, как только ударит пушка. Петрэ никогда в жизни не видел такого зрелища, и его неудержимо потянуло на Махату.

«Много горя и бед пришлось мне перевидать в своей жизни,— подумал он.— Давай-ка, погляжу и на это!»

Сказал и двинулся вместе с толпою к Махате. На Махате народу — словно мух. Поодаль, у самого края площади поставлена виселица, а вокруг нее расположены войска. Просторная площадь перед виселицей оставалась свободною, так как близко никого не подпускали. Петрэ поглядел по сторонам и удивился, как много тут людей,— и мужчин и женщин.

«Пускай мужчины, вроде как я, скажем, погля-

---

[1] См. примечание в конце книги, стр. 399.

[2] Махата — холм, возвышающийся с востока над Тбилиси. (См. примечание в конце книги, стр. 400.)

зеть пришли, но женщины — какую напасть господь на них наслал,— для чего они собрались сюда? Не женское это дело!»

Наконец, он пришел к убеждению, что все это обман и что на самом деле здесь какой-то акробат или фокусник покажет представление.

«И это тоже не худо,— подумал Петрэ.— Пожалуй, так даже лучше, а то какая же это забава, смотреть, как повесят всамделишного человека? Не кошка ведь, чтоб взять да повесить. Что ни говори, человек он, и дух божий в нем есть. Теперь ясно, почему сюда собралось столько женщин. Женщины страсть как падки до всякого колдовства и представления! А вот для чего обманывал меня тот армянин, будто человека будут вешать? Деревенщина, видишь ли, всему поверит!.. Скажем, поверил, ну, так что же? Представление я ведь все-таки увижу... Но как перед богом, если бы я там же, на месте, узнал, что будут играть представление,— я бы, пожалуй, и не пошел. Ай, ай, ай, сладок грех, и проворно же на грешные дела человеческое сердце! И я вот сорвался и побежал, точно необъезженный бычок, полюбоваться, как человека будут вешать? Вон оно, сердце наше: маленькое, а сколько в нем и греха и благодати».

Много еще всякой всячины перебрал про себя наш праздно блуждающий Петрэ, вполне убежденный в том, что тут будет разыграно какое-то представление,— иначе к чему бы тут быть женщинам, да и кто бы их сюда пустил?

Наконец, кто-то крикнул:

— Ведут, ведут!

Петрэ обернулся и увидел, что солдаты ведут какого-то человека в солдатской шинели.

«А, Петрэ,— наставительно сказал он себе,— смотри, не попадись впросак, не поддавайся дьявольскому наваждению и не вообрази, что все это прав-

да. Обман и ничего больше! Засмеют тебя, скажут: деревенщина, оттого и попался!»

Однако он все же продвинулся вперед, чтобы лучше видеть происходящее. Он толкался до тех пор, пока не очутился в передних рядах. Солдаты прошли совсем близко от него,— они вели человека, одетого в шинель.

«Ай, прокляни их господи! — подумал Петрэ.— Ведь похоже на настоящих солдат. Э, одеты-то как! И ружья держать обучены. Чего только ни придумают городские... Смотри-ка, точь в точь настоящие русские парни».

Подумал и скользнул взглядом в сторону того, в шинели. Это был молодой человек,— двадцати-двадцати одного года. Едва пробившиеся усы торчали, точно у лезгина. Лицо его было желто-шафранного оттенка. Какая-то неясная мысль мелькнула в мозгу у Петрэ.

«Что это? Парень мне кого-то напоминает! Господи, дай вспомнить: где я его видел? — тщетно вопрошал он себя.— Э, да это, верно, городской какой-нибудь,— решил он, наконец.— В заезжем дворе на дню приходят, уходят тысячи людей,— как знать, может быть, я его там и видел. Какой он бледный, как будто его и в самом деле вешать собрались! Должно быть, это тот самый акробат и есть. Нет, сынок, не надуешь!»

— Вуй, горе, горе твоей матери! — восклицали женщины.— Молодой какой!

Эти восклицания смутили Петрэ.

«Вот какие они, женщины! Волос у них долог, да ум короток,— рассудил про себя Петрэ.— Как легко их провести! Сами притворщицы и колдуньи, а вот... попались! Или, чего доброго, и они тоже меня одурачить хотят, деревенщина, мол? Ай, Петрэ! Берегись, не поддавайся обману! Смотри, старина, не осрамись, как бы не стать тебе для всего этого на-

рода посмешищем! Проклятие господне на всех этих городских, мужчина ли, женщина, сейчас угадают деревенского человека,— как будто на лбу у нас написано».

— И чего ради ты пошел на такое дело, несчастный, в недобрый ты час родился! — воскликнула одна из женщин в чадре.— Жил бы смирно, не попал бы в такую беду. Горе твоей матери, несчастливой матери ты сын!

«Да, конечно, ругай его, ругай! — размышлял Петрэ.— Так я тебе и поверил. Что поделаешь, деревенщина я, сразу видно, ты уж смилуйся надо мною, не обманывай».

— Верно, так оно и есть... А все же, что на роду написано, то и случится,— отозвалась другая женщина.— Бедняга, такая уж у него судьба! Однако он-то умрет и конец ему, а вот родителям-то горе какое, какая беда их ждет, пекло какое! Избави господи всех христиан!

«Вот тебе и раз! — подумал Петрэ.— Да что они, сговорились, что ли? Наказание божье! Уж лучше мне убраться отсюда,— ей-богу, подведут эти ведьмы, осрамлюсь из-за них!»

Подумал — и перешел на другое место.

Там он очутился в совсем новой кучке людей. Однако женщин было много и здесь. Какой-то внутренний голос настойчиво побуждал его спросить: что же здесь все-таки происходит, но другой тут же останавливал: «Стыдно, засмеют».

— И молод же он, этот сын несчастной матери,— сказала одна из женщин.— День, по-настоящему, для него еще и не начинался, и вот так рано, так скоро померкнет для него солнце...

— И как горит сейчас сердце его матери, на каком огне! Господи, не дай мне дожить до такого дня! — добавила другая, ударяя себя рукою в грудь.

«Чудно,— не без досады произнес про себя Пет-

рэ.— Неужели у всех этих людей нет другого дела, как только мною заниматься? Или... что это со мною? И как же это они так быстро сговорились? Господи! Хорошо, что я не стал ни о чем спрашивать! Вот на смех подняли бы! Ай, Петрэ, берегись, промахнешься и окажешься в дураках! Бездельники-то,— вот эти самые, городские, бездельники и есть. Будь они прокляты все до одного, только мною и занимаются!»

Твердил все это про себя Петрэ, в полной уверенности, что у всех этих людей одно на душе: деревенщина, видите ли, давай одурачим его! Он решил скрыться от них и снова перешел на другое место. Нехорошо, когда то или другое умонастроение, точно тугоуздая лошадь, закусив удила, тянет разум в одну сторону...

III

А в это время юношу в шинели подвели к виселице и поставили под нею. По одну сторону от него очутился священник, по другую — какой-то чиновник. За ним стоял палач в красной рубахе.

«Священник-то, видно, с ума спятил! — говорит себе Петрэ.— Наверное, тертер какой-нибудь! Разве настоящий священник пойдет на такое дело? А этот кто, в красной рубахе? Может быть, он и есть главный фокусник».

Чиновник вынул какую-то бумагу и прочел ее.

«Заклинание, должно быть,— сказал себе Петрэ.— Колдует чего-то, вот увидите, забавная будет история!»

После этого священник стал что-то рассказывать тому, в шинели. Петрэ изо всей мочи напрягал слух. Он даже встал на цыпочки, но расстояние было так велико, что ничего нельзя было разобрать.

Сняли с человека шинель, накинули на него длинный балахон, закрывший его от головы до пят, так что даже лица не стало видно. Палач в красной рубахе поправил петлю на виселице, затем подставил к перекладине лестницу. Обернулся к несчастному, подтолкнул рукою, заставил подняться на лестницу и подтянул к себе петлю, чтобы накинуть ее на шею юноше. Народ замер, словно у всех собравшихся здесь,— а было их так много,— разом перехватило дыхание и остановилось сердце.

Палач накинул на шею несчастного петлю, выдернул из-под его ног лестницу и толкнул рукою. Толпа глубоко и глухо охнула, точно человек, которого неожиданно окатили кипятком.

Повешенный стал биться и корчиться. Долго еще вздрагивали у бедняги ноги.

— Хоть до утра дрыгай, все равно не поверю! — сказал Петрэ.

Народ, молчавший за минуту до этого, затаив дыхание, теперь оживленно загалдел. Послышались даже шутки. Толпа распалась, раздробилась и рассыпалась по полю. Все эти люди расходились по домам вполне довольные тем, что им довелось увидеть это позорное, непереносимое для человеческого сердца зрелище.

Петрэ оглянулся и увидел, что вокруг никого уже нет. Ушли и солдаты. Осталось только двое караульных у виселицы. Человек в красной рубахе надел на себя какую-то другую одежду и тоже ушел. На виселице попрежнему неподвижно висел тот несчастный.

Петрэ удивлялся.

«И это все? — проговорил он про себя.— Неважное же было представление. Может быть, вся хитрость в том, что успели заменить человека мешком и мешок повесили вместо человека. Но тогда кто же дрыгал ногами? Вернее всего, проволоку приде-

лали. На проволоке хоть лезгинку сплясать заставят! И все же представление неважное. Даром только время потерял. Вот на чем я попался! Мне бы лучше на заезжем дворе поваляться, выспался бы, по крайней мере, как следует! Скажем, я попался, но почему еще столько народу дало себя одурачить? Погоди-ка, может быть, его и в самом деле повесили? Хоть бы спросил у кого! Эх, засмеяли бы! А почем знать? Отчего же люди эти в таком веселом расположении идут и болтают так весело? Если и вправду кого повесили,— не камни же они, пропади они пропадом,— хотя бы одну росинку, одну слезу уронили? Кто бы он ни был,— человек ведь, творение божье, не кошка. И к чему тут собралось столько женщин!»

В сердце Петрэ запало великое сомнение. Теперь его поглощала лишь одна забота: узнать наверное, когда он ошибался: тогда ли, когда думал, что это было представление, что повешение — только обман, или тогда, когда думал, что кто-то повешен по-настоящему?

Пожалуй, первое показалось бы ему более обидным: «Как это меня, старого человека, могли до того одурачить представлением, что я обман принял за правду?»

Но если бы эта правда оказалась в конце концов обманом, что же — с этим наш Петрэ примирился бы как-то скорее. И тем не менее ему очень хотелось знать истину.

Неоднократно его тянуло догнать кого-нибудь и спросить о случившемся. Много раз он даже подходил, но перед тем, как задать вопрос, впадал в нерешительность:

«Нет, сынок, засмеют, лучше уж дойти своим умом».

Погруженный в эти размышления, наш Петрэ поплелся неровной походкою к заезжему двору на

Авлабаре. По пути он увидел духан. Из духана доносились нестройные шумные голоса.

«Дай-ка зайду, послушаю, что тут говорят о сегодняшнем происшествии,— подумал он.— Да и поесть не худо, с утра ничего не ел».

Вошел, спросил полчареки вина. Подали ему еще сухого балыка. Он уселся в уголок и предался кейфу. Но не успел он расположиться, как следует, как в духан вошел какой-то молодой человек в бурке. Казалось, он шел следом за Петрэ. Новый посетитель потребовал перо, чернил, бумаги и стал писать, облокотившись на стойку. Наш Петрэ еще раз взглянул на пришельца.

«Не пойму никак, где видел я этого юношу»,— подумал Петрэ.

Юноша писал, не подымая головы. Так продолжалось довольно долго. Петрэ позабыл о том, что уже поздно. Он поглядывал на юношу и жевал так медленно, что, пожалуй, и до вечера не справился бы со своей закуской. И все не мог никак отвязаться от мысли об юноше.

«Что же это такое? Я его знаю, но почему-то не могу вспомнить, кто он»,— поминутно говорил он себе, не спуская с юноши глаз.

Солнце совсем уже склонилось к закату, а Петрэ все не трогался с места, раздумывая о том, кто бы мог быть этот молодой человек.

Наконец, Петрэ уже ничего не оставалось делать в духане, и он, так и не удовлетворив своей жажды узнать, кто же этот незнакомец, подошел к хозяину, расплатился, еще раз окинул юношу взглядом и поспешно зашагал к Авлабару. Он был еще довольно далеко от заезжего двора, когда кто-то неожиданно хлопнул его сзади по плечу. Петрэ обернулся. Перед ним стоял все тот же высокий молодой человек в бурке, с низко надвинутой на глаза папахой.

— На, возьми письмо,— сказал юноша и су-

нул ему в руку листок.— Если не умеешь читать, попроси кого-нибудь, а сам слушай повнимательнее. Из письма узнаешь обо всем, что сегодня произошло.

Сказав это, юноша тотчас же направился в противоположную сторону. Он удалялся так быстро,— хотя, казалось, шел, не ускоряя шагов,— что наш Петрэ даже бегом не догнал бы его. Изумленный Петрэ только и успел спросить уходящего:

— Кто ты такой, бичо? Хоть имя свое скажи!

— Письмо, письмо скажет! — крикнул юноша в бурке и удалился, даже не оглянувшись.

Теперь только вспомнил Петрэ, что давеча, где бы он ни стоял, какой-то юноша в бурке все норовил стать поближе к нему.

«А я ведь сразу понял, что что-то неладно,— сказал он про себя.— Он кружил вокруг меня, словно курица за выводком. И тот был в бурке, и у того, как и у этого, папаха была надвинута совсем на глаза. Это тот самый юноша,— хочешь, побьюсь с тобою об заклад».

Трудно сказать, с кем он собрался биться об заклад, но во всяком случае он ощупал письмо, опустил его в карман и при этом произнес с сожалением:

«Эх, хоть бы я читать умел! Узнал бы про все, что сегодня случилось. А что, если он меня обманывает? Мне-то что,— себя же и обманет! Он-то ведь ушел, значит и посмеяться надо мною не удастся».

IV

Петрэ еще поспешнее продолжал свой путь к заезжему двору. Не терпелось ему поскорее узнать, что же написано в письме? Сын Петрэ был человеком

грамотным, у священника учился. Петрэ шел быстро, но сердце его бежало еще быстрее.

«Какая длинная стала вдруг эта проклятая дорога,— думал он.— Идешь, и все конца не видно!»

В конце концов, он все-таки дошел. Пот струйками катился по его телу, он едва дышал от усталости. Петрэ обошел весь двор,— нигде никого не было. Аробщики разбрелись: они ушли на базар за покупками, у каждого были свои дела. Петрэ обрадовался, что на дворе никого нет,— обрадовался тем более, что сын его непременно должен был быть здесь и притом один, так как в городе у него не было никаких дел. И действительно, сын оказался тут же. Он лежал в холодке дерепани и спал. Петрэ разбудил его.

— Встань-ка, прочти мне это письмо! — сказал Петрэ и сунул ему листок. Сын протер глаза, потянулся и взял письмо.

— Ты где его нашел, отец? — спросил он.

— Да не находил я его вовсе! Шел — и сунули мне его в руку,— сказал Петрэ, полагая, что дальнейшие объяснения излишни.

Сын вскрыл письмо, и когда он стал его разворачивать, вдруг посыпались ассигнации. Отец и сын были поражены: что за диво такое? Сын собрался было считать деньги, но отец рассердился и, потеряв всякое терпение, крикнул с упреком:

— Нашел время считать! Прочти, говорю, что написано! Не могу я больше ждать! Того и гляди, сердце из гнезда выскочит!

Сын приступил к чтению.

«Тот юноша, которого сегодня повесили, был мой брат...»

— Что? — побледнев от ужаса, прервал чтение потрясенный Петрэ.— Повесили?.. Значит, все было правдой? Так чего же народ гоготал? Читай, читай! Хоть бы вовсе мне этого не видеть!

— О чем ты, отец? — спросил с удивлением сын. — Плетешь, словно с ума спятил?!

— Читай, читай! Знаю, что говорю! — взволнованно и сердито ответил Петрэ. Бедный старик дрожал, словно в лихорадке.

Сын покачал головою. «Что это со стариком приключилось?» — подумал он и снова стал читать.

«Отец наш был бедный дворянин. Вскоре после его смерти, — мы с братом были еще совсем маленькие, — мать вновь вышла замуж. Отчим наш — тоже дворянин, служил в городе. Он отобрал у нас все, что осталось от отца. Состояние у отца было маленькое, но такое, что кусок хлеба был обеспечен; отчим часть продал, часть обменял и оставил нас с пустыми руками. Мать бросила нас, маленьких, на произвол судьбы в нашей же деревне, а сами они жили в городе. Приезжали — и тогда били нас, несчастных, шкуру живьем сдирали. Голые, босые, голодные, шатались мы без призора по деревне. Били нас все домашние, бил и дворовый, прислуживавший в доме, бил нас и отчим. Все, кому не лень, колотили нас по голове. Правда, чужие люди нередко жалели нас, несчастных сирот, но избавления ждать все же было неоткуда. Когда мы подросли, отчим, чтобы избавиться от нас, отдал в солдатскую школу в Тукурмиши, и так попали мы из огня да в полымя. В школе отравили нас русской бранью, хамством, извели битьем да помыканьем. Терпели мы, терпели, — и вот не стало сил терпеть. Взяли да убежали. Забрели в родную деревню. Слуги выгнали нас из старого дома, не позволив нам и ночь проночевать. Пустились мы вдвоем, сироты безродные, по широкому миру — без хлеба, без денег, без крова, без надежд, без родных. Кто мог нас пожалеть? Всем мы были чужие, и все оставались чужими для нас. Пошли мы в город, униженные, озлобленные против всего света. Стали врагами этого полного несправед-

ливостей мира, стали врагами всем: отчиму, матери, злому и доброму, тебе, всем вообще. Мы были детьми, все видели, что нас грабят среди бела дня, и никто за нас не вступился. Никто не помог нам, никто не поднял за нас голоса. Все повинны в том, что случилось с нами. Не отчим, а все вы грабили нас, все вы сообща губили нас. Пока жив, постараюсь расплатиться со всеми, а придет конец — дадим отчет богу. Все мы будем там, встретимся лицом к лицу. Посмотрим, кто окажется прав, кто виноват! Для бога сердце важнее, чем дела. Там справедливость нерушима.

...Помнишь, четыре года тому назад ваши распряженные арбы стояли у Лочинского ущелья? Помнишь, к вам подошли два юнца? Это были мы, мы два дня ничего не ели. Несчастный брат мой — звали его Бежаном — наврал вам тогда много всякой всячины. Мне это было неприятно. Я считал это недостойным, но ничего не мог поделать. Несчастный брат мой был упрям, своеволен, и — горе! — жадное к тому же было у него сердце. Это была единственная душа, единственное существо, в ком были моя плоть и кровь, единственный брат и друг, единственный человек, который подлинно желал мне добра, который отдал бы за меня жизнь, который любил меня и был мне верен. Господи, прости его! Сегодня я видел собственными глазами, как его удавили, словно кошку. Разве я могу оставить его неотмщенным, пока я называюсь мужчиной, пока на голове моей шапка, пока держится во мне дух? Ты тогда ласково позаботился о нас. Твоя доброта чуть было не озарила лучом любви мою темную душу, твоя доброта чуть было не подкупила меня. Сон не шел ко мне, хотя я и был очень утомлен. Когда брат встал, чтобы срезать твои карманы, мне стало нехорошо на сердце. Я возмутился, волосы на голове поднялись дыбом. Но я ничего не сказал брату, я

не стал ему мешать. «Где тонко, там и рвется,— подумал я,— пускай! Старик тоже виноват в том, что нас грабили; будь он человеком, он не дал бы нас ограбить».

Обокрали мы тебя и затем отправились в город. В городе и греху и добру свободнее живется. Широкая, открытая здесь дорога. Не проходило и дня без того, чтобы мы кого-нибудь не ограбили. Со всех, кто попадался нам по пути, взыскивали мы потерянное нами. Так мы кормились, так тешили мы наши уязвленные сердца, полные отчаяния и злобы. Но сердце все не унималось, оно ждало чего-то, звало куда-то. Нет, не унять его было, нет!..

Два года тому назад обстоятельства сложились так, как будто сама судьба привела нас в дом отчима. В то время матери нашей не было дома, муж отослал ее в деревню. Мы, оба брата, ворвались ночью, убили отчима,— хотя и не было у нас этого в мыслях,— хотели разгромить весь дом, но не успели. Кто-то узнал о случившемся: нагрянула полиция, мне удалось скрыться, а несчастного брата моего окружили, и он попался им в руки. Конец ты знаешь: сегодня я видел собственными глазами, как моего единственного брата, единственного человека, который желал мне добра, удавили, словно котенка. Вы все стояли и смотрели. Для вас это было потехой, а я смотрел и горел. Не прощу я вам этого, нет! Все вы заплатите мне за то, что я потерял! Пока я жив, буду мстить за кровь брата! Весь мир мне ненавистен, но всего ненавистнее — люди! Я навеки разрушил мост между нами... Я остался один на одной стороне, а вы, множество вас, стоите на другой. Все откроется в день судный — где правые, где виноватые... Господь видит правду: еще до того, как взвешивать на весах дела, он заглянет в глубину человеческого сердца. Я думаю, что мой путь — правый путь. Верно ли это, или я ошибся —

не знаю. Знаю одно: меня еще связывала с вами тоненькая нить, но сегодня у подножья виселицы оборвалась и она. Теперь я навеки оторвался от мира, точно давно надломленная ветка, висевшая на последней ниточке. Прощай! Если тебе когда-нибудь захочется повстречаться со мною,— приходи, и увидишь меня, как и брата, на виселице. Этот конец ждет и меня.

Не знаю почему, меня все время тянуло раскрыть перед тобой свое сердце. Но вот я открыл его — и с меня спала тяжесть.

Возвращаю тебе в десять раз больше, чем те твои три рубля и десять шаури. Твоя доброта оставила в сердце сладкую боль и чуть было не увлекла меня за собою. До сих пор она тлеет во мне, словно прикрытый золою горящий уголь. Заглохнет и она, я знаю. Разве ты и мой отчим не соумышленники? Разве не ты повесил единственного моего брата? Разве не ты довел его до виселицы?!»

Сын ничего не понимал, отца прошиб холодный пот.

— Я-то тут при чем? — крикнул Петрэ и застонал, дрожа всем телом от страха.

И правда, при чем тут наш старый Петрэ?

НИКОЛОЗ ГОСТАШАБИШВИЛИ

Новогодний рассказ

I

ПОМНЮ — я был еще малышом — с каким сердечным трепетом мечтал я о том, чтобы поскорее настал канун нового года. Помню и этот день, и эту ночь под новый год в нашей маленькой деревушке, где мы, трое братьев и две сестры, точно птенцы сбивались кучкой поближе к матери и отцу. В этот день мы забывали и силки, и снежных баб, и нам уже не хотелось ни кричать, ни скакать среди покрытого снегом двора. Наши сердца, как и взоры, были устремлены к завтрашнему дню. Этого дня мы ждали, об этом дне мы помнили, об этом дне мечтали. Что нам за охота была оставаться на дворе, когда мы знали, что в доме полно фруктов и сластей? Мы толкались по комнатам. Чего тут только ни было! Кто растирал алвахази[1], кто отбирал миндаль и орехи для гозинаки[2]; тут нерастопленный еще мед точно пальцем манит к себе: «идите, усладите язычки!» — а там мама растапливает его в камине, и мед словно шеп-

---

[1] Алвахази — медовые конфеты.
[2] Гозинаки — сласти из меду с орехами или миндалем.

чет нам: «погодите до завтра, ведь это ради вас я сегодня таю!»

Мы вертелись среди всего этого изобилия, таращa на все глаза, и бывали счастливы, если вдруг удавалось, улучив минуту, обмакнуть палец в мед. И сколько смеху, сколько хохоту было при этом, как притворно возмущалась мама! Мы знали, что и мама и папа сердились не по-настоящему, и всюду совали пальцы, как бы что зацепить, лизнуть. Старшему из нас было не больше двенадцати лет.

Много времени протекло с тех пор, многое оно у нас отняло, унесло с собою! Я потерял и отца и мать, двое братьев умерло, не стало одной из сестер. Осталось на свете только нас двое — брат и сестра. Сейчас и у меня и у нее пробивается седина в волосах, но невольно, в канун нового года, я всегда оглядываюсь назад со слезами на глазах. Я вижу себя в нашей маленькой деревушке, среди маленьких пухленьких, толстощеких братьев и сестер. Вижу радость, с какою отец и мать глядят на нас, детей, вижу, как и мы им радуемся детской радостью. Я слышу неосмысленное голубиное гульгульканье маленькой сестренки и малыша-брата, слышу умудренно-спокойную, дружескую беседу матери и отца.

Но ныне все это — лишь сладкий сон. Ныне там, в маленькой деревушке, где столько памятных мгновений нанизывало мое сердце, не осталось ничего, кроме пяти могил. В могилах этих покоится все то, чем опалено сейчас мое сердце, о чем оно тоскует. Там схоронены мать, отец, два брата и сестра, и вместе со всеми ими — моя юность, то есть, то самое счастье, что ушло и никогда не возвратится.

Отошла эта счастливая пора и не возвратится вновь! Ушла, и сердце стонет какою-то странною болью, какою-то странною печалью, которую человек не променяет подчас и на радость. Сладостен стон этой боли, сладостны слезы этой печали. Этот

стон охлаждает пламень сердца свежим дуновением, слеза омывает росою увядшее сердце, чтобы оживить его. Кто-то сказал: «наслаждение — сладостная боль», и точно — такова и эта боль.

Мне больше всего запомнилась одна из этих новогодних ночей. К нам, малышам, никак не приходил сон, не знаю отчего — то ли от ожидания завтрашнего дня, то ли шалости наши перешли всякую меру. Мать не раз и не два отсылала нас:

— Идите, дети, спать!

Но мы просительно хватались пальцами за шею[1] и умоляли:

— Мама, дорогая, милая, не гони нас, нам совсем не хочется спать!

Мама, занятая приготовлением гозинаки и алвахази, была окружена глубокими мисками, деревянными блюдами с миндалем, орехами и медом. Отец, с трубкой в руках, ходил взад и вперед по комнате. Маленькая сестренка, юлившая среди всех этих мисок и блюд, нечаянно толкнула ножкой огромную миску с медом. Та опрокинулась, и мед пролился на пол. Мать очень огорчилась и не без досады сказала отцу:

— Бога ради, избавь меня от этой мелюзги! Возьми их в другую комнату, расскажи им хоть сказку какую-нибудь. Авось, уснут и дадут мне покой.

Отец знал превосходные сказки, и мы очень любили их слушать. Мы обрадовались тому, что мама попросила отца рассказать нам сказку. Кинулись к нему и уцепились кто за руки, кто за полы ахалухи[2].

---

[1] Характерный просительный жест: сжимают двумя пальцами кожу на шее, под подбородком, и тянут ее, повторяя просьбу.

[2] Ахалухи — одежда из шелковой или бумажной ткани, обычно длиннополая, надевается под чоху (черкеску).

— Папочка, милый, расскажи нам сказку! — завопили мы, наседая на него со всех сторон. — Мама гонит нас отсюда! Ты хоть расскажи что-нибудь, нам совсем не хочется спать.

— Будь по-вашему! Идемте...

Отец перешел в соседнюю комнату, мы последовали за ним. В камине шумно полыхал огонь. Против камина стояла длинная тахта; отец уселся на ней, поджав ноги. Мы разместились вокруг. Меньшая сестренка улеглась рядом с отцом, оперлась локотками о тахту, положила свою маленькую головку на руки и уставилась на него черными своими, точно ежевика, глазами, как будто и в самом деле собралась слушать сказку. Но что говорить о ней! Даже третий брат, чуть постарше, заснул еще прежде, чем отец успел произнести несколько слов.

Отец начал:

— Мне и раньше приходилось вам рассказывать, что татары сильно враждовали с нашей страной. Они не давали нам ни отдыха, ни срока, нападая то с одной, то с другой стороны. Мы воевали, отбивались, сколько было сил и уменья. Всякий, дети, любит свою родину, а когда родина в беде, — редко кто отступится от нее и не пожертвует собою ради нее. И многие жертвовали жизнью... Имена иных сохранились. Они завоевали себе славу геройством и отважною борьбою за родину. Вот о подвигах одного из таких героев я и расскажу вам. Запомните хорошенько.

II

Когда-то царем Карталинии был Георгий Одиннадцатый[1]. В то время на шахский престол кизилбашей сел Шах-Султан-Хусейн. Шах этот послал

---

[1] Георгий XI — см. примечание в конце книги, стр. 400.

своего сардара[1] с большим войском разорить Грузию и покорить ее. Кликнули и у нас клич, собрались грузины дать отпор врагу. Встретились два вражеских войска для битвы, выстроились друг против друга грузины и кизилбаши. Началась битва, а чем она кончилась — история длинная. Я вам расскажу только про один случай, происшедший во время этой битвы.

Битва была уже в разгаре, когда какой-то кизилбаш, взбодрив ударом ноги коня, отделился от отряда и поскакал по открытому полю. Он носился так, словно это был не бой, а джигитовка. Обидным показалось молодым грузинским воинам, что кизилбаш так дерзко и смело носится перед ними.

— Глядите, как он издевается над нами! За людей нас, что ли, не считает, иначе разве посмел бы он так бесстрашно плясать перед нашими рядами? — так говорили они.

Ударил пяткой коня юный, стройный воин и подскочил к кизилбашу. Кизилбаш поразил его копьем в самую середину груди, и несчастный витязь свесился с коня, а потом бездыханный упал на землю.

— Пусть никогда не покрою голову шапкой, пусть отравою обернется для меня материнское молоко, если я прощу тебе его кровь! — крикнул другой и поскакал к кизилбашу.

Кизилбаш и этого сразил и, еще пуще воодушевившись одержанными победами, закружился по полю на разгоряченном коне. Вышел третий, вышел четвертый, вышел пятый, и всех их, одного за другим, уложил татарин. Он погубил лучших наших юношей, таких, что прекрасней не увидеть и в мечтах! Опечалилась сила грузинская: как снести нам такой позор, с какой славой возвратимся мы домой? Не знали, как делу помочь. Раздумье и страх овла-

[1] Сардар — военачальник.

дели всеми. Никто уже не решался выходить против кизилбаша. А кизилбаш гарцует на своем коне по полю, словно он на состязании, а до того, что кругом такая сила грузин,— ему как будто и дела нет!

— Николоз! Где Николоз?— вскричали грузины.— Он один в силах спасти нас! А то, того и гляди, неверный татарин напялит на нас женское лечаки[1] и отправит домой в таком виде!

— Николоз Госташабишвили! Николоз! — раздались отовсюду крики.

Госташабишвили в это время, оказывается, был в самой гуще сечи, но, услыхав, что его зовут, покинул бой. Когда наши подбежали к нему, чтобы рассказать о своем позоре, он отирал окровавленную шашку полою черкески.

Конечно, Госташабишвили был прославленный всеми, отважный воин, но в ту пору его уже одолевала старость, и руки его и колени уже не обладали прежней силой.

— Уж не мне, старому и дряхлому, сравняться в бою с таким,— сказал Госташабишвили молодым бойцам.— Не видите разве, как молод этот витязь, усы едва пробиваются... Это не человек, а лев!

— Он убил у нас пятерых храбрейших! Не оставь неотомщенной их кровь! Не дай неверному опозорить нас! — умоляли воины.

Госташабишвили призвал имя господне, натянул поводья и ударил коня. Конь раз и два взвился на дыбы, скакнул, и в мгновение ока стал витязь перед витязем. Кизилбаш размахнулся копьем, Госташабишвили толкнул копье рукою, и удар пришелся мимо. И так ловко он это сделал, что отовсюду послышались одобрительные крики. Прежде чем кизилбаш успел еще раз броситься на него с копьем, конь Го-

[1] Лечаки — часть женского головного убора, платок из легкой, прозрачной ткани.

сташабишвили взметнулся и вплотную прижался к коню кизилбаша, Госташабишвили ухватил врага, с силой встряхнул раза два и кинул оземь. Упавший враг едва приподнялся с земли. Соскочил Госташабишвили с коня, помог кизилбашу встать и сказал:

— Не бойся, не сниму я твою голову с плеч. В дар мужеству твоему отдаю я твою жизнь. Грех тебя губить. Иди с миром!

— И я могу принять жизнь свою в дар только от такого, как ты, витязя,— ответил кизилбаш, поклонился и ускакал.

1887 г.

ВДОВА ИЗ ДОМА ОТАРОВА

I

«ЧТО МНЕ СЛАДКИЕ РЕЧИ?»

В ЭТОЙ огромной деревне, которую я назову хотя бы «Цаблиани»[1], все знали Отараант-квриви — вдову из дома Отарова. Спросить гзири[2], так никто, кроме солнца да дождя, не проникал во владения вдовы без ее на то воли!

Нацвали[2] или есаули[2], по какому бы важному делу они ни пришли, не смели сунуться к ней во двор. А если и решались, — вдова подымала такой крик, что им оставалось одно: проклясть и себя и судьбу свою. Особенно хорошо запомнил гзири случай, о котором впоследствии узнала вся деревня. Гзири взял как-то у нее курицу, — дианбеги, мол, пожаловал, по всей деревне сбор идет, — так она такую тревогу забила, что, говорят, самолично до губернатора дошла, и курица эта всемеро обошлась неосмотрительному гзири. Правда, вдова и сама истратила на разъезды не меньше десятка рублей. Но вот что она, оказывается, по этому поводу говорила:

[1] Цаблиани — каштановая.
[2] Гзири, Нацвали, Есаули — выборная сельская администрация.

— Деньги что! Грязь на руках — и только! Есть о чем говорить — об одном тумани! А вот, что наказала его,— это разве малого стоит? Что попусту в обиду себя не дала,— разве мало? Пускай знают и помнят, что зовусь я Отараант-квриви!

И об этом, действительно, помнили все. Бывало, стоят где-нибудь кучкой крестьяне, чуть завидят вдову, так и прыснут во все стороны, словно цыплята от реющего над ними ястреба,— особенно, если среди крестьян случался кто-нибудь из сельских властей — нацвали или старшина.

Никто не сказал бы в точности: любят ли вдову в деревне, или не любят. Но бояться — боялись все. Посудите сами: даже детей, когда они раскапризничаются и раскричатся до того, что нет с ними сладу, матери пугали именем вдовы: «Замолчи, чтоб тебе не пропасть! Вот идет Отараант-квриви!»

Вдова великолепно все это знала и не очень тужила о том, что к ней относятся с таким страхом и трепетом и сторонятся ее:

— Трусы они, вот в чем дело! — рассуждала она.— Что во мне страшного? Нашли тоже Бакбак-дэви![1] А что верно, то верно, такая уж я, зла никому не спущу, попусту обидеть себя никому не позволю. Понадобится,— железные каламани надену, железную палку в руки возьму, до самого царя доберусь.

В деревне твердо помнили, что вдова не любит ни пустого хвастовства, ни пустых угроз. Слово для нее всегда было делом.

— Клянусь богом,— молодчина баба! — говорил Датиа Бадиашвили о вдове.— Она чужого не возьмет и своего не отдаст. Ее дома видеть нужно. Ну и

---

[1] Бак-бак-дэви — глава дэвов, мифических существ, большей частью о трех, семи или девяти головах. Дэви — персонажи народных сказок.

дела! День-денской крутится, работает, не покладая рук, до вечера не присядет.

Всех больше побаивались вдовы деревенские бабы. Беда, как застукает которую из них без дела: со свету сживет, начисто.

— Ах ты, дармоедка! — заводила она, бывало. — Легко, думаешь, мужу твоему себя прокормить да и тебя, дармоедку, вдобавок? Ты что руки свои — пропади они пропадом! — на груди сложила? Ай, да остановится твое бессердечное сердце! Ты что вообразила,— двинешь разок рукой, так муж лишним куском подавится,— так, по-твоему? Доотвалу наестся, да? Чтоб тебе пропасть! Чтоб пропасть! Ну и хороша же, нечего сказать!

Мимо не пройдет, непременно привяжется, если ей что-нибудь не по нраву. Редко для кого найдется у нее ласковое слово.

— Что сладкие речи? — говорила она.— Разве есть в этой горькой жизни что сладкое, чтобы слову быть сладким? Чего стоят сладкие речи? Ложь и обман — и ничего больше! Сладкая речь тешит, да и чешет заодно человеческое сердце. Сердце чесать — вот еще что придумали! Почесываются от парши! Не дай опаршиветь сердцу,— тогда и почесываться не придется. Слово — не скребница. Оно вроде крючка, им бы сердце зацепить, да теребить его туда-сюда. А не то — плесенью покроется, как хлеб, позабытый в ларе. Человек должен шевелить свое сердце, если хочет другому добра. А для чего же сердце чесать? Бездельники этим занимаются! Князья велят пятки себе чесать, чтоб сон поскорее пришел; то же и с сердцем: утешения нагоняют сон. Не понимают люди того, что если хоть чуточку зажмуриться от жизни,— она так тебя умнет, как лезгин из Дидо свою бурку.

— У Отараант-квриви — камень, а не сердце,— говорили в деревне.

II

БЛАГОДЕЯНИЕ С ПЕРЦЕМ

Так оно или не так — следует спросить некую вдову, обремененную множеством малых ребят. Проживала она в другом конце села.

Это была сырая, нескладная женщина, ленивая до работы. Ребята ее, мал-мала-меньше, поголадывали.

Отараант-квриви собственноручно относила ей каждое воскресенье с десяток шоти[1] хлеба и миску коркоти[2].

— На, жри! — говорила она этой женщине.— Разинула рот — чтоб его тебе, гадюке, черной землей засыпало! — всю жизнь только и знаешь, что собакой в руки смотреть, того и гляди, бросит кто обглоданную кость! Ах, чтоб тебе ни дня, ни сроку! И на что господь дал тебе руки — да какие еще руки — ляшки! Гляди-ка, гляди, какая дрянь! Ей бы только поживиться чем-нибудь! Разжирела, что твой поросенок,— волчья приманка. А как кусок хлеба заработать,— соображения не хватает! И какого добра дождутся от тебя несчастные твои дети? Чему выучатся, на тебя глядючи? Хотя б ты их пожалела! В несчастный же день родилась ты на свет!

Женщина, попривыкнув к этим речам, все же выражала ей свою благодарность.

— Спасибо? Спрячь его подальше, в тряпицу завяжи, да гляди, не потеряй!.. Ну и клад же для Отараант-квриви твое тощее спасибо, нечего сказать. Сыплешь тоже полной горстью. Ай, разрази тебя гром! «Спасибо»! Хорошо, что оно тебе даром досталось! Если бы добывать приходилось, и его бы от

[1] Шоти — грузинский хлеб, продолговатой формы, выпекаемый в особой печи, так называемой тонэ.

[2] Коркоти — жидкая каша из пшеничных зерен грубого помола.

тебя не дождаться. «Спасибо»! Вон тебе твое спасибо: хочешь — брось, не хочешь — кинь...

Когда бы ни постучался к ней в дверь нищий, вдова всякому подаст, выговаривая ему по-своему.

— Ий-ий-ий, дурная твоя голова, чтоб ей сгинуть! — приговаривала она, протягивая милостыню. — Морочишь глупых женщин вроде меня и норовишь последний кусок хлеба изо рта вырвать. Ай, чтоб громом поразило твою шелудивую голову! Проходимец ты, бездельник, зря только за подаянием таскаешься, совесть-то твоя где? У кого на свете лишние куски водятся, чтоб тебе отдавать? Не видишь ты, идол бесчувственный, что все кругом животы свои надрывают, да и то едва насущный хлеб выколачивают, — куда же тебя еще прокормить? И не совестно перед людьми? Нет, дылда ты этакий? Что тебе Отараант-квриви, — мать родная или отец? Или она в долг у тебя брала, чтоб тебя содержать? Чтоб у тебя руки и ноги поотсыхали! Стоило им расти на неотесанном твоем туловище, если ты и пользоваться ими не умеешь! Мир сам, что ли, сыт, чтоб тебя еще, дурацкая голова, кормить? Где твоя совесть?

Если ей попадался очень уж жалкий, хворый на вид нищий, она, высыпав все это, добавляла:

— Убирайся в марани, вина дам, — подавись, и не воображай, что я тебе добра хочу! Ай, скорее сгинет Отараант-квриви, чем тебе отдаст, что самой нужно. Там, в квеври [1] подонки остались — грязь одна, все равно выливать, ну и подавись!..

Она тащила его за собою и, дав ему опорожнить две чареки доброго вина, выпроваживала с обычным своим славословием.

Пришел к ней раз какой-то нищий. Вдова выне-

---

[1] Квеври — большой глиняный кувшин, в котором сохраняется вино.

сла ему огромное шоти и, разумеется, присыпала его всегдашним своим перцем: крепко, по-хорошему, обругала. Когда нищий уходил, она заметила, что он бос и ноги у него изранены.

— Куда ты, погоди, чтоб тебе сдохнуть!

Нищий остановился. Вдова метнулась в дом, взяла подмышку шесть шоти и, возвратившись к нищему, крикнула:

— Ступай за мною, ты,— чтоб тебе не жить!

Недоумевая, нищий последовал за нею. Вдова пришла на базар, приказала торговцу дать ей кусок свиной кожи для каламани. Схватив кожу, швырнула ее нищему в голову, так что несчастный даже руками закрылся, как бы не попала ему в лицо.

— На, чтоб тебе пропасть! Справь себе и надень!.. Чего доброго, и этого не умеешь делать, пропащая душа?

— Долг ему отдаешь, что ли, Отараант-квриви?— спросил ее жирный, как боров, лавочник.

— Само собою, чтоб ему пусто было! Иначе разве стала б я лишать себя хлеба и платить за его каламани?— солгала вдова.

III

ПЯТЬ КОШЕЛЬКОВ

Довольно большой деревянный дом Отараант-квриви стоял на краю деревни. Двор, достаточно обширный для крестьянской усадьбы, был обнесен плетнем. Чистый, опрятно содержимый, он сплошь, от дерепани до ворот, шелестел зеленой травой. Перед дерепани, шагах в двадцати от него, рос огромный орех с низко опущенными ветвями и круглой, точно подстриженной кроной.

Взгляд прохожего с приятностью останавливался на этом дворе. Дом, как мы уже сказали, был дере-

вянный. Северная сторона у него глухая, в трех остальных пробиты двери, по одной с каждой стороны, и повсюду в стенах узкие прорези бойниц. В беспокойные, видно, времена строился дом!

Справа от дома — марани — навес без стен, крытый сухою лозою. За домом — гумно и саманник, под саманником — хлев. Налево от дома — небольшой, обнесенный плетнем огород. Здесь вдова выводит все те овощи, что нужны ей в хозяйстве и зимою и летом. Она сама, собственными руками, копает, мотыжит, сеет, полет и собирает.

Правда, односельчане судачат без конца:

— Слыханное ли дело? Женщина — и вдруг лопатой да мотыкой орудует?

Но вдова ни чуточки не считается с этим.

— Не слыхали, так пусть услышат! — говорила она при случае.— Чем я хуже хотя бы этого трухлявого Гогия? Если ему мотыка да лопата под силу, так меня проклял, что ли, господь? Велика важность — мужчина! А я женщина! И чем он лучше меня? И у него и у меня по паре ног. Если он руками и ногами работает, отчего и мне не работать — зачумленная я, что ли? Тоже нашли калеку!

Она очень любила работать на огороде и никого к нему не допускала. Огород перерезала канавка, отведенная от большого деревенского арыка. В ней однообразно и неумолчно журчала вода. Воды в том селе было много. Она протекала по самой его середке, и ее хватило бы хоть на три мельницы. Но в большую засуху крестьяне крали воду друг у друга, а то силою отбивали, чтобы полить огороды и, особенно, виноградники. Однако, никто не смел и подумать о том, чтобы урезать воду у вдовы. Горе тому, кто дерзал на это! Вдова, с лопатой на плече, точно мельник, обходила канавку и шла к самому ее истоку. Увидав шагающую вдову, крестьяне говорили:

— Гроза идет! Горе тому, над кем разразится!

В ее доме прежде всего бросались в глаза необычайная опрятность и чистота. Всю северную стену занимали полки, на полках аккуратно расставлена глиняная посуда. Начищенные до блеска котлы, котелочки, сковорода, ковш, шумовка весело поглядывали сверху, словно похваляясь: «Вот к какой заботливой хозяйке мы попали!»

По обе стороны очага стояли тахты, крытые пестрыми коврами. Этим коврам немало лет, но их, видимо, берегли, и они хорошо сохранились. Тахты старинные, с резными изголовьями, или сартумали, как их называют в некоторых местностях. В углу стоял большой ларь,— сразу видно, старинной работы. На лицевой его стороне выточены украшения — разные узоры и сложный переплет древнего орнамента. В другом углу — сундук побольше. Некогда он был, повидимому, выкрашен в синий цвет, но сейчас основательно полинял. На сундуке горкой высились постельные принадлежности, покрытые сверху донизу синим сюзани [1].

Если вы внимательно вглядитесь в убранство этой комнаты, или дарбази, как его называла сама вдова, вы наверное скажете, что хозяин — человек зажиточный. И будете правы. Если подойти с крестьянской меркой, вдове из Отарова дома могли бы позавидовать многие. После мужа ей досталось на полплуга [2] рабочей скотины, две буйволицы, три коровы и вдобавок прекрасно возделанный виноградник в два дгиури, да приблизительно двадцать дгиури пашни.

Вдова тщательно ходила за виноградником, всячески берегла его, и виноградник приносил ей обиль-

[1] Сюзани — вышитая ручным способом ткань (от фарсидского «сузан» — иголка).

[2] В плуг впрягается шесть пар быков или буйволов. Полплуга — три пары.

ный урожай. Говорили, что даже в самые неурожайные годы вдова продает не меньше трех сапалне[1] вина. А за сапалне ее вина платили семь или восемь, а то и все десять тумани. И для домашнего употребления вина у нее оставалось более, чем достаточно. Каждый год она вспахивала участок не меньше чем в десять дгиури. Нанимала ли кого-нибудь, или соседи ей помогали, или подымала землю одним только собственным плугом — все равно, участок в десять дгиури обязательно бывал вспахан и засеян.

Продав вино и излишки хлеба, она безотлагательно делила деньги на пять кучек и сохраняла каждую кучку отдельно. Для этого у нее имелось пять пестрых кошельков, сшитых в виде мешочков из лоскутьев. Один из кошельков назывался «Хозяйственным». В нем она хранила деньги на расходы, связанные с жатвой ячменя и пшеницы, с доставкой их, с молотьбой. Второй кошелек носил прозвище «Кошель благодати». В нем сохранялись деньги, предназначенные на обработку виноградника. Третий назывался «Дань дьяволу». Здесь хранились «почтовые» деньги, то есть деньги, уходившие на государственные налоги и сельские повинности, если общество ее чем-нибудь облагало. В четвертом кошельке сохранялось жалованье работнику. Этот кошелек носил у нее прозвание: «Воздай и воздастся!» В пятом кошельке лежали деньги, предназначенные на домашние расходы и на раздачу нищим. Этот кошелек Отараант-квриви называла по-разному: иногда «Караван-сарай Парсига»[2], иногда же «Марани

[1] Сапалне — мера вина, разная в разных частях Грузии (от 10 до 24 пудов). В Кахетии — 24 пуда.

[2] Караван-сараем в старину назывались гостиницы, где останавливались купцы со своими товарами. У них был обычай в конце недели, после подведения итогов, раздавать милостыню. В выражении «караван-сарай Парсига», видимо, намек на некоего Парсига, щедро раздававшего милостыню.

Шио»[1]. Считала она не очень проворно и часто прибегала к помощи камушков, потому что без них не справлялась со счетом. Но при этом редко ошибалась. В первые четыре кошелька она клала столько, сколько нужно, и расчеты ее почти всегда оправдывались. Если же в этих кошельках что-нибудь оставалось, она, не считая, пересыпала в пятый и тратила, пока деньги не иссякнут.

IV

СОКРОВИЩЕ И ЗАВЕЩАНИЕ

Было и еще одно сокровище — и наиболее драгоценное — в наследии, доставшемся вдове от мужа. Сама она, действительно, считала его самым дорогим, а что думали на этот счет другие,— затрудняюсь сказать. Этим сокровищем было оружие. Покойный ее муж был редким тружеником, прилежным, усердным и, сверх того, еще знаменитым охотником. Загляните в дом, и вы увидите вправо от очага над тахтой, в чехле, ружье довольно крупного калибра, шашку, кинжал, пистолет, патронташ и пороховницу.

Раз в неделю вдова снимала со стены все это оружие и чистила его самым усердным образом. Когда она принималась за это дело, могло показаться, что молится, с таким рвением, трепетом и благоговением отдавалась она своему делу. Вдова стала так относиться к оружию с той самой поры, как умер ее муж. Хотя бы смерть к ней шла,— все равно она до

[1] Название «Марани Шио»— винный погреб святого Шио — видимо, связано с обычаем, согласно которому богатые монастыри, в том числе и монастырь св. Шио, широко раскрывали по храмовым праздникам свои погреба. Таким образом, выражение «Марани Шио» так же, как и «караван-сарай Парсига», стало синонимом щедрости.

блеска начистила бы оружие в положенный срок, протерла бы щедро курдючным жиром и снова развесила бы по местам. Всякий раз за чисткой оружия глаза ее туманились слезами, сердце сжималось от боли, и она причитала.

— Вай, горе мне несчастной! — плакала она, ударяя себя в грудь.— Важкаци владел этим оружием, а теперь оно досталось бабе! Умер, бедненькие мои, добрый ваш хозяин! Уй, горе мне, разве у вас только умер? И у меня он умер, и у меня! Взяла у меня черная земля моего Тевдорэ!.. Подломилась опора твоя, дом мой, схоронили в земле, шашка и ружье, удалого вашего важкаци... Переломилось ярмо нашей жизни, умер, Отараант-квриво, твой сояремник, осталась одна ты в упряжке жизни!.. Вай, горе мне, покинутой! В месяц оленьего крика[1] привозил он мне на арбе убитого оленя. Сердце мое рвалось от радости, когда звонкий, сильный голос мужа доносился до моего слуха. Песней, всегда только песней, встречал он и горе и радость. Человек он был, настоящий человек! Да будет благословенна тень его! Всякому, кто видел его за работой, если даже он один работал, могло показаться, что не на работе он, а на свадебном пиру. Он мог разбудить даже камень, с ним даже камень впрягся бы в работу! Сладко мне даже имя его! Смерть пришла, а он все-таки не нахмурил бровей, позвал меня и сказал:

«— Чего ты плачешь, женщина? Ведь и ты не заживешься на свете! Всем один конец. Рожденному в скорбях умирать лучше со смехом. Был я гостем в сем мире и вот возвращаюсь домой. Чего же ты плачешь?

«— Что буду я без тебя делать? — пожаловалась я ему.

---

[1] На оленя охотятся в октябре.

«— То есть как это, что делать? Работай и кормись! Что, разве у меня текло с пальцев готовое масло да сало? Я работал и ел заработанный кусок хлеба. Мир крепко стоит, не бойся! Ты только смотри, не уступай беде! Не поддавайся горю. Позаботься о маленьком моем Георгии, сбереги для него наше добро, не давай сына в обиду, смотри, чтоб не пришлось ему никому завидовать. Вырастет, а там — как сам знает. Будет жить — пускай честно трудами рук своих живет... Сбереги для него отцовское оружие, пригодится... Ружье казенное[1], скажи ему, чтоб осторожен был — отдает сильно. На дальний прицел бьет хорошо, пусть только чуть повыше берет... Эй, как славно жужжит пуля, когда выстрелишь из него!.. Эх, не дано мне было пожить!.. Жалко мне тебя, а сына еще жальчей, младенец он беззащитный, беспомощный. Увидеть бы его возмужалым! Потом пусть хоть под колеса арбы! Да что есть, то есть. Не допусти, чтоб я чорту в зубы достался, о покойнике позаботься, помянуть и оплакать не забудь!

«После этого он уже недолго протянул. Договорил, повернулся к стенке, вздохнул глубоко, простонал разок, вместе со стоном этим, казалось, выдохнул жизнь, промолвил мне: «ухожу»,— и отдал богу праведную душу. Горе потерявшей тебя, милый мой Тевдорэ!

Перебирала вдова все это в памяти своей, утирая слезы подолом, и все плакала, все терла оружие, пока не заблестит оно. Нечего и говорить о том, что слез этих никто не видел. Она скрывала их даже от родного сына.

Она не нарушила завещания мужа. Сберегла дом, сохранила добро, если не умножила его, то не растратила, усердно берегла оружие. Заботилась

[1] Подразумевается берданка старого образца.

она и о покойнике, каждую неделю в помин его души варила коркоти и цандили[1], а в годовщину смерти служила заупокойную обедню.

А на то, чтобы вырастить сына, она отдала всю свою молодость. Ей едва исполнилось двадцать четыре года, когда она осталась вдовою с годовалым ребенком на руках. Как надела она в тот день синюю бумажную рубаху и черное платье, как повязала голову черной шалью, так все двадцать лет не надевала на себя одежды более веселого цвета. Хотя многие к ней сватались и многим до смерти хотелось войти в ее дом, но — дай бог вам жизни! — она так и не вышла замуж, нет!

— И как я на том свете мужу в глаза посмотрю? — говорила она.— Ай, пускай свет погаснет для Отараант-квриви, прежде чем она посадит отчима на шею маленькому своему Георгию! Пусть счастливо будет его детство! Чтоб я изменила твоему отцу? Чтоб я тебя предала? Ай, пусть земля прежде разверзнется и поглотит меня! Расти себе, свет моих глаз, пусть мать не нарадуется на тебя здесь, а отец твой там! Ай, хоть бы даже умереть за тебя несчастной твоей матери!

При этом она крепко прижимала к груди своего пухленького мальчугана.

V

МАТЬ И СЫН

В ту пору, к которой относится начало нашей повести, Георгию, сыну Отараант-квриви, исполнился двадцать один год. Он превратился в сильного, широкоплечего юношу. На его смуглом правильном ли-

---

1 Коркоти, цандили — поминальные блюда, сваренные из пшеничных зерен.

це уже пробились черные, как смоль, усики и бородка, и он казался от них еще красивее. Он обладал очень приятною, привлекательною наружностью и был бы еще лучше, если бы не суровый взгляд больших ястребиных глаз. Суровое выражение глаз еще больше подчеркивали сросшиеся брови. От этого и все лицо казалось менее привлекательным. Незнакомый человек в первую минуту невольно отводил от него взгляд. Однако, чем внимательнее приглядывались вы к лицу и к выражению глаз Георгия, тем больше он вам нравился. Он улыбался редко, но зато, когда улыбка появлялась на его лице, она так его красила, что трудно было оторваться. Был он рослый, ловко скроенный и крепко сшитый человек.

Он одевался чисто и даже щеголевато. Если бы вы видели его обшитые тесьмою сацвети[1], пестрые носки и ловко обтягивающие ногу каламани, вы убедились бы в том, что и в нашей крестьянской обуви есть своя особая прелесть и красота.

Когда Георгий, бывало, проходил по базару, люди говорили вслед:

— Ему бы еще подбочениться,— князь, совсем князь!

И глаза многих сельских невест останавливались на Георгии, многие носили в сердце его образ, тайком мечтали о нем. А ему все ни по чем.

Георгий держался в сторонке от сверстников, а когда сходился с ними, им неизбежно приходилось уступать ему первенство.

В работе же почти не было равного ему в деревне.

— Он целый сноп в один обхват забирает! — говорили крестьяне.— Врежется лопатой в землю, кажется, надвое ее расколет. Наложит один доверху арбу и везет ее домой,— не простую арбу, а сно-

[1] Сацвети — нечто вроде гетр из шерстяной домотканины.

повозку. Раз уж принялся за дело, не отстанет, пока дело само от него не отстанет. С душою работает: что начал, все до конца доводит.

Многое еще в этом роде говорили в деревне насчет Георгия, и пошла о нем слава работяги-парня, настоящего труженика.

— Он у меня проворный, все у него в руках спорится! — говорила о нем мать.— Хороший он работник, хоть и нет в нем той сердечной открытости, той веселости сердца, что была у блаженной памяти его отца. Покойник радостно за работу брался, удержу не знал, ему что работа, что веселая попойка — все одно. Сын такой же старательный, усердный, способный, но редко когда брови расправит, редко когда делу радуется. Всегда у него угрюмое лицо и сдвинутые брови.

При всем этом Георгий почти слепо повиновался матери. Никогда не добивался он того, на что не было ее воли. Он был уже взрослым, но все же не оспаривал первенства матери в хозяйстве и дома. Следует думать, что и мать, хотя она любила сына безумно, вряд ли уступила бы ему свое хозяйское место. Да и нужно ли это было? Ни один мужчина не мог бы присмотреть за хозяйством лучше, чем это делала вдова. Многие с завистью мечтали о тех отношениях, какие существовали между сыном и матерью. Мать гордилась сыном и радовалась на него. И не было у нее на свете большей радости и утехи, как любоваться сыном и жить для сына. «Я — твоя, за тебя умру, хоть ножом за тебя заколюсь!» — говорила про себя мать, глядя на возвращающегося с работы сына.

Несмотря на все это, она ни за что бы не допустила, чтобы посторонние заметили ее безумную любовь к сыну. Даже от сына она таила то, что было у нее на сердце. Чувство ее проявлялось в одном: была всегда ласкова к сыну. Никогда не сердилась

на него, не сказала ему ни единого злого слова, но часто журила. И Георгий, который ни за что бы не снес, чтоб по воле чужого человека хотя бы птица пролетела над его головой или муравей прополз под ногами, никогда не спорил с матерью, как бы крепко ни пробирала она его.

«Потому что она права,— рассуждал Георгий,— а я виноват. Поделом она меня пробирает».

В памяти Георгия не было ни одного случая, когда бы мать неосновательно или попусту отчитала его. Разобравшись в ее наставлениях, он тотчас же убеждался, что мать права. Он привык слышать правду и сам любил правду. Он возмущался, когда ему приходилось сталкиваться с вероломством и подлостью и в соответствующих случаях пускал в ход кулаки и самоотверженно лез в драку. Он был еще ребенком, когда произошел случай, навсегда врезавшийся в его память. Он особенно запомнил его потому, что мать одобрила его поведение, не рассердилась и не разбранила его, как он того ожидал.

Однажды — Георгию в то время было лет десять-двенадцать — какой-то подросток выманил у другого, поменьше, металлические пуговицы от пояса. Обманутый мальчуган надрывался от плача, но старший ни за что не хотел расставаться с пуговицами. Георгий играл где-то поблизости с другими детьми. Отчаянный рев мальчугана донесся до его слуха. Когда он узнал, из-за чего тот плачет, маленькое сердце его возмутилось. Он оставил игру и кинулся к мальчику, завладевшему пуговицами.

— Отдай! За что его обижаешь?

Подросток толкнул смельчака и повалил его на землю. Георгий вскочил и запустил в него камнем. Неуступчивый подросток бросился на Георгия, снова повалил его и стал колотить. Другие ребята подоспели на помощь к Георгию, подмяли под себя обидчика, отняли пуговицы и поколотили его как

следует. Пуговицы вернули владельцу, но Георгий пострадал основательно: из разбитого носа хлюпала кровь, ворот красной рубашки висел клочьями.

Мать обомлела, когда сын возвратился домой с перепачканным кровью лицом, в изодранной рубахе.

— Что с тобою, сынок? Дай посмотрю, все ли у тебя цело?

— Купраант[1] Тедо поколотил меня.

— За что?

— Тедо взял у Манасаант Гола пуговицы от пояса. Мы решили отобрать,— пошла драка. Он повалил меня,— он ведь большой, а я маленький.

— Что же, отобрали?

— Отобрали!

— Что же вы с ними сделали?

— Отдали Гола.

Мать повеселела, нахмуренные брови разгладились.

— Не бойся, нос чуть-чуть поцарапан! Вырастешь — позабудешь,— сказала она сыну.

— Не забуду! Погоди, вырасту, покажу ему, как драться!

Мать прижала сына к груди.

«Совсем — отец, блаженной памяти отец! — радовалась она.— Милый, матери и жизнь отдать за тебя счастье, радость моя, гордость моя!» Все это пронеслось в душе ее, в душе и осталось. А сыну она и виду не показала. Обмыла ему лицо, оправила на нем одежду и вслух сказала только:

— Вот, мой хороший, теперь все в порядке! Иди, сынок, играй,— совсем молодцом будешь! Ты даже лучше стал, красивее. А Гола плакал, да?

— Конечно.

— Обрадовался пуговицам?

— Сразу успокоился, плакать перестал!

---

[1] Купраант, Манасаант, так же как и Отараант,— означает «из дома Купрашвили, Манасе, Отара».

Маленький Георгий стрелой помчался к товарищам продолжать игру.

Мать смотрела, смотрела вслед своему стремительно бегущему сыну и, когда он скрылся из виду, сказала:

— Шен генацвале! Хорош был отец твой, но и сын не хуже.

VI

НЕ БЕЗУМЕЦ ЛИ ОН?

Георгий рос, и эта черта характера в нем развивалась. Он, подобно матери, не давал спуску никому, ни своему, ни чужому, если замечал за ним что-нибудь дурное. Многие осуждали Георгия.

— Кацо, чего ему нужно? С какой стати вмешивается в чужие дела? — так не раз говорили в деревне.

Много всяких бед терпел он из-за своего характера, но все-таки делал свое, и мать его не останавливала.

Совсем недавно — и двух недель не прошло — сельский суд чуть не засадил его в гомури [1]. Он затеял совершенно непонятную, невообразимую историю.

Георгий резал в лесу подпорки для виноградных лоз. Там он наткнулся на работника, служившего у Омарашвили.

Его, видно, послали с арбою за дровами, а он взял да и улегся в холодке, храпел, что было мочи. Но не в этом даже дело; он, к тому же, накрепко привязал буйволов к арбе. Несчастные, совсем обессиленные животные валялись тут же, у колес, и вяло жевали жвачку.

[1] Гомури — хлев. В деревнях хлев служил иногда местом заключения.

Георгий чуть не наступил на спящего. Решил разбудить его, толкнул ногой.

— Вставай, брат, да отвяжи буйволов! Жалко ведь!

— Чего лезешь? — грубо крикнул работник, протирая глаза.

— Очень мне нужно к тебе лезть, бездельник! Говорю: буйволов жалко!

— А тебе-то что?

— А то, что зря тебе деньги платят! Ну, пускай обманываешь хозяина, так хоть скотину пожалей! Что ты — нехристь, что ли? Неужели не жалко тебе скотины? Грешно ее мучить. Привязал несчастных к арбе, у них от голоду совсем бока запали!

— На голову их себе посадить, что ли?

— И посадил бы! Будет им чем поживиться на твоей паршивой голове! Видишь, в лесу трава по колено? Денег тебе не стоит — пустил бы попастись, пожевали бы немного.

— Как же, пусти их! Ноги у меня казенные, что ли. С ног свалишься, пока их разыщешь!

— Ах ты, бессовестный! Никто тебя не видит, так ты уж и совесть потерял и в грязь ее бросил! А богу своему что ответишь? Думаешь, буйвол — скотина, так и жалеть нечего? Я уж не говорю о том, что чужие они, что тебе их доверили.

— А тебе что? Нашелся тоже выскочка! Не у тебя же я служу?

— Еще бы! Да я, Георгий, скорее пропаду, чем подпущу к себе такого человека, как ты. Был бы ты моим, я бы тебя и за краюху хлеба держать не стал... Вставай, говорю!

— Отстань... Жизнь тебе, что ли, надоела? Чего расшумелся? Иди своей дорогой, если спина не зудит, а то...

— А то что? Испугал, подумаешь! Вставай, говорю, пожалей хоть скотину,— не то — видишь палку?

Сказав это, Георгий еще раз толкнул работника ногою.

Работник вышел из себя. Он вскочил, стал перед Георгием, напирая на него грудью, словно хотел сказать:

«Ну, посмотрим, кто кого! А ну-ка, ударь, если ты не трус и если есть шапка на твоей голове»[1].

Георгия подкупила смелость работника, однако, он не мог понять, на что тот рассчитывает.

«Что же мне делать?— подумал Георгий.— Если бы он был настоящий важкаци[2], он бы и дела не бросил и скотину пожалел. А если он вовсе не важкаци, то почему же так смело подставил мне грудь и вытянулся передо мною, словно тополь?»

— А ну-ка, если ты мужчина, посмей тронуть меня пальцем! Увидишь, что будет,— сказал работник, все так же напирая на него грудью.

Угроза задела Георгия. Он кинулся на работника и, прежде чем тот опомнился, дал ему подножку. Работник покачнулся, но удержался, упершись в землю рукой. Стремительно выпрямившись, бросился он на Георгия и толкнул его в грудь. Георгий зашатался и невольно откинулся назад.

— Ай да бичо! Ты, видно, не шутишь?— крикнул он и, откинув палку в сторону, вступил в рукопашную. Георгий и вздохнуть не дал противнику, перекинул его через себя, и тот распластался на земле, точно шоти в тонэ. Лежачего он уже не стал трогать. Работник был тоже парень самолюбивый. Обидно ему стало, что побили его. Он внезапно вскочил и отвесил Георгию основательную пощечину.

— Ах, ты так?

---

[1] Ходить с непокрытой головой в старину считалось бесчестьем. (См. примечание на стр. 396.)

[2] Важкаци — смелый, мужественный, благородный человек.

Георгий кинулся, подмял работника под себя и бил до тех пор, пока тот не взмолился о пощаде.

— Ступай, станешь свое рассказывать и обо мне не забудь! — сказал Георгий.— А от бога никуда не уйдешь, так на тебе грех перед скотиной и останется.

Не приходится говорить о том, что обиженный Георгием работник пожаловался Омарашвили.

— За что он тебя избил? — спросил Омарашвили.

— Ты чего, говорит, столько дров на арбу нагрузил! Ни скотину не жалеешь, ни себя! Да и других подводишь: скажем, тебе это по силам, но ведь и с другого столько же спросят,— неужели тебе других не жалко? Привязался ко мне, колотит палкой, пока не сломалась. Да и покойных родителей твоих нехорошим словом помянул. Жалованье, говорит, платит, так воображает, всю душу из человека вымотать можно!

— Погоди, бичо! Да ведь на арбе-то ничего такого не было!

— В том-то и дело! И мне тоже удивительно, что померещилось проклятому... А со мною вот что сделал...

Омарашвили был человеком влиятельным на селе. Поступок Георгия задел его.

— Как это,— говорит,— посмел опадыш этот недозрелый моего человека избить?

Он заставил работника подать в сельский суд жалобу. И сам, конечно, всячески его поддерживал.

— Свидетели есть? — спросили работника.

— На что свидетели Георгию, сыну Отараантквриви? Бог ты мой, соврет он, что ли? — отозвался кто-то.

— Это ты верно сказал,— согласился один из судей.— Человек он прямой, не соврет.

Вызвали в воскресный день Георгия.

— Правда, побил?

— Правда.

— За что?

Георгий рассказал все, как было.

— Бичо, а тебе какое дело?

— А то, что из-за таких бессовестных людей мир гибнет! Человек человеку довериться не может. Из-за таких и у хорошего работника слава попорчена. Мало того, что он сам спал без просыпу, он еще буйволов к арбе прикрутил,— просто жалко было на них смотреть!

Дай бог вашему врагу попасть в то положение, в какое попали судьи. И Омарашвили угодить хотелось,— хоть разок обедом покормит,— и Отараантквриви боялись,— чего доброго до губернатора дойдет! Да и Георгию они сочувствовали, хотя, конечно, нельзя было отрицать, что работника он все-таки избил. Так и не могли решить, чего им держаться: влечения собственного сердца, или страха перед вдовою, или желания угодить Омарашвили.

Из этого затруднительного положения вывел суд сам Омарашвили.

— Я, со своей стороны, прощаю Георгию,— сказал он.— Другие пусть делают, как хотят! Молодец, бичо, ей-богу, молодец!

— Прощаешь?— вскричал, осердясь, работник.— Боком мне твое прощенье вылезет! Ты бы у меня спросил, у моей спины! Места на ней не осталось живого, вся в синяках!

— О чем спрашивать, негодяй ты, бродяга? По-моему, мало тебе досталось!— ответил Омарашвили.

— Видит бог, правильно говоришь,— сказали судьи и отпустили домой оправданного Георгия.

— Этот человек либо сумасшедший, либо бог его на землю послал,— сказал один из присутствовавших другому, когда народ повалил из суда по домам.— Этакие дела творит!

— Клянусь, не то божья благодать на нем, не то не сдобровать ему! — поддакнул другой.

— Совсем как в тот раз, когда работник Бежанашвили муку домой вез! Проклятый недогрузил передок арбы, буйволы задыхаются, храпят, — так их душит ярмо. А Отараант Георгий мимо проходил. Увидел, что делается, вскочил на арбу, переложил мешки, и пошла арба как следует. Георгий стукнул работника по затылку и сказал: «Ослепнуть бы тебе поскорее, не видишь: буйволы чуть не задохнулись! Ты как хозяину в глаза посмотришь?»

— Говоря между нами, какое ему дело?

— Так-то оно, так. И самому мне это чудно показалось. Потому-то я и говорю: человек этот либо сумасшедший, либо особо отмечен.

— Мать у него такая же бешеная, не в себе. Да и отец — как перед богом — беспокойный был человек! С ним случалось такое же.

— Недаром говорится: посмотри на мать, посмотри на отца — узнаешь сына. Не то грешники они великие, не то — праведники. Особенные они люди, меченые.

Возвратившись домой, Георгий рассказал обо всем матери. Вдова удивилась.

— Погляди-ка, крысы ведь, а тоже иной раз справедливо рассудят!

VII

ТРЕВОГА МАТЕРИ

Совсем взрослым молодцом стал Георгий. Исполнился юноше двадцать один год, а мысль о женитьбе даже не приходила ему в голову. Отараант-квриви беспокоилась и огорчалась.

«Что мне с ним делать? — думала она. — Браки,

говорят, на небесах решаются. Видно, не угодно еще господу! А время приспело: у парней таких лет уже и дети бывают. Ой, покачать бы мне на коленях его дитя, а там — пускай хоть сложат мне руки крестом и заживо похоронят.

Тужила она да тужила, и вдруг к этому ее беспокойству прибавилась еще иная забота. Отараантквриви заметила, что за последнее время у сына както изменился характер. Он стал еще более сумрачным, еще более замкнулся, обособился и опечалился. Правда, он и раньше был невеселого нрава, но перемена была столь разительна, что, казалось, с ним что-то случилось, только он не решается рассказать об этом.

Возвращался он с работы домой поздно, в сумерки.

Если ночь была лунная, — располагался на траве и часами оставался там, подложив руки под голову, притихший и молчаливый. Пристально глядел он на небо, на облака, казалось — считает звезды или, чтобы отвлечься от чего-то, следит за тем, как бегут облака. И неясно было матери, какая сила овладела им, что его надломило, что сделало его таким печальным.

— Сынок, иди-ка в комнату, ты же наработался, как бы тебе от земли вреда не было! — сказала однажды мать.

— Ничего со мною не случится, мама! Дай мне, если любишь, побыть так еще немного.

— Спать пора, сынок! Вот-вот светать начнет.

— Эх, мама! Иногда и сон не в сон.

— Почему, сынок? — спросила мать и пошла к сыну. Подойдя к нему, она сказала:

— Георгий! Сынок!.. Неужели ты, бичо, не скажешь мне, что с тобою случилось? Мать же я тебе, мать!.. Горе у тебя какое-то, а ты таишься...

Георгий приподнялся.

— Нет, деди-джан[1]. Я просто люблю поваляться в лунную ночь.

— Вот уже два года, как с тобою что-то происходит. Почему же ты раньше был другим?

— Разве человек всегда один и тот же? Раньше был таким, теперь стал этаким. Было время — сосал грудь, сейчас — хлеб печеный жую. Так что же?

— Да то, сынок, что тебе бы иной раз и в мою душу заглянуть бы следовало.

— Гляжу, мать, гляжу, и знаю, что там только я и есть.

— Я не про то говорю... Взять хотя бы тот день...

— Какой день?

— Да когда ты виноградник окапывал. Принесла я тебе поесть. Вижу: стоишь среди лоз, стоишь, оперся на заступ, плечом на него налег, и как бы в ужасе от чего-то, не отрываясь, глядишь широко раскрытыми глазами в землю. Что с тобою было? Я тогда ни о чем не спросила, но тут у меня точно зарубка осталась.— Сказав это, Отараант-квриви положила руку себе на грудь.

— Сгладь эту зарубку, попусту тревожилась! Что могло быть? Устал, передохнуть захотелось,— ответил сын.

— Где носились твои мысли? Ты был словно глухой, и мысли твои были так далеко, что ты даже не заметил, как я подошла. Не раз и не два приходилось мне видеть: работаешь, работаешь, вдруг остановишься и замрешь. Не раз и не два приходилось мне видеть: за ужином или за обедом, положишь кусок в рот, забудешь о нем, оцепенеешь, как будто кто-то увел тебя, поставил над пропастью и вот-вот толкнет рукою.

— Полоса такая находит, мама!

---

[1] Деди-джан — ласкательное от «деда» — мать.

— И больше ни от чего?

— Может, еще от чего-нибудь...

— Наваждение, сынок, наваждение!

Это слово задело Георгия за живое. Он вспыхнул, стало ему неприятно. Он не совсем понимал, к чему мать упомянула о наваждении. Но в нем шевельнулось подозрение, и подозрение это овладело его сознанием.

«К чему она приплела наваждение? — думал Георгий.— А что, если...»

Но он даже про себя не договорил того, что думал. Слова застряли. Казалось, им овладел ужас при мысли о том, что сбили замок с его сердца, открыли дверь и заглянули в него.

Он хмуро покачал головою, встал с земли и сказал, ласково взяв мать за локоть:

— Пойдем, мама, спать пора! Не от тебя ли, мать, я слышал: «Нехорошо падать духом, страх не избавляет от смерти»?

— Так. Выслушай еще и это, мой хороший: «когда нет пути-дороги, то и добрый витязь отступает»,— ответила мать.

«Как же быть?— думал Георгий.— Как глубоко заглянула она мне в душу! Догадалась или это только случайность? В самом деле она бродит так близко от правды, или я, по своей подозрительности, принимаю далекое за близкое? Открыться? Легко сказать!»

В ту ночь вдова до утра не смыкала глаз. Рассудок ее, словно щепку, закружил поток мыслей, связанных с тем, что было сказано днем.

«Кажется, я нашла конец нити,— подумала она.— Кажется, напала на след. И время приспело, и так судила судьба. Но почему же он мне не скажет, кто она?»

Теперь только эта тревога терзала ее, только ею болела мать.

«Не говорит, потому что еще нет в том нужды,— утешала себя вдова.— Станет трудно — сам скажет».

Вдова закрыла глаза, но ей не спалось. Ворочалась с боку на бок, сон все не приходил.

А ночь не ждала, торопливо шла своею дорогою.

«Верно ли я угадала? Точно ли напала на след?— изводилась сомнениями мать Георгия. — Может быть, подозрительность ввела меня в заблуждение, обманула меня? Как знать? Человеческое сердце — бездонная пропасть! Как знать? Может быть, я думаю одно, а случилось совсем другое? Но что же?» — спрашивала она себя, и сердце ее стонало, не находя ответа.

А ночь все шла да шла.

Было уже за полночь. Стихли звуки, только в углу, за хлебным ларем, скреблась и шуршала мышь.

«Что бы еще могло быть? — твердила мать, томясь от бессонницы.— Если что сломает меня, то разве только эта тревога... Не открылся он мне. Молчит мой Георгий, молчит... Если кого полюбил, зачем скрывать? Что скрывать от меня! А если случилось что-нибудь другое?.. Не дай, господи, даже подумать...»

Она трижды перекрестилась, как бы для того, чтобы избавиться от какого-то призрака.

А поздняя луна остановилась на горной вершине, готовясь запрокинуться и скользнуть за гору. Вот она уже там, ее не стало. Ночь шла к своему исходу. Тьма еще сгустилась. Мир еще больше онемел, только мышь все копошилась около ларя.

«Два года тому назад он взял ружье — да будет благословенна его юность,— как шло ему отцовское наследие! Он ушел и три дня не возвращался домой. Я, глупая, совсем тогда не обратила внимания... А вот теперь это тревожит меня и ранит

сердце... «Ходил на охоту»,— сказал он мне. Если охотился, так почему воротился с пустыми руками? А ведь это был месяц, когда олень кричит!.. Никогда в жизни не видела я, чтобы он с охоты возвращался с пустыми руками. Он ни в чем не уступает блаженной памяти отцу своему. Если не лучше, так уж никак не хуже отца!.. С тех пор печаль не покидает его. Так мне это и запомнилось. С тех пор что-то камнем навалилось на его сердце, и он не в силах избавиться от тяжести. Ведь не человека же... Боже, не дай мне такое подумать, ты, создавший небо! Почем знать? Много всяких бед случается в этом необъятном мире... Избави, господи... Тьфу, дьявол!»

Испуганная мать плюнула в дьявола и снова трижды перекрестилась, но мысли попрежнему одолевали ее.

Наконец занялась заря. Ночь постучалась в двери ко дню.

С тех пор как эта мысль впервые потрясла ее, истомленная бессонницею, обессиленная внутренней тревогою вдова уже не могла успокоить свое сердце, не могла сдержать его, подчинить своей воле.

— Избави, господи,— совсем разбитая твердила она. Но, прогнав одну злую мысль, попадала во власть другой, еще более беспокойной. Мысли обступили ее, точно призраки.

Ночь простилась с миром. Половина неба просветлела. Рассвело. Небосвод подернулся голубым, утро открыло двери дню.

И Отараант-квриви устала от мыслей. Забылась в дремоте, явь обратилась в сон, сон — в явь. Видно, отзвуки этих скорбных мыслей устремлялись за нею по пятам и во сне, потому что она несколько раз вскрикнула:

— Избави, господи! Избави, господи!

VIII

«КАМЕНЬ ТВЕРДЫЙ И СУРОВЫЙ РУКИ МЕТКИЕ ДРОБЯТ»[1]

Однако, солнце все же не успело предупредить ее: вдова была уже умыта и одета, когда оно только что подняло голову из-за горной вершины и окинуло мир своим единственным, пламенеющим, точно золото, глазом. Лучи его коснулись рос, упавших в горах, и росы взвились туманом,— казалось, гора курит фимиам перед этим огромным огненным кругом.

«Что было со мною ночью? — удивлялась вдова.— Какая сила овладела мною? Овладела и понесла... «Держись, не сгибайся перед бедою»,— говорил мне покойный. А вот, попробуй держаться, не сгибаясь! Страшна не явная беда. Если беда наступает прямо, лицом к лицу,— человек как-нибудь справится с нею. Но как бороться с кем-то или с чем-то, чего я не знаю? Вот чего страшится моя душа!.. Тьмой окутано, точно буркою, то, что случилось с моим Георгием. Пускай бы любовь!.. Дай бог ему счастья... Но если что-нибудь другое? ...Грех... Кровь... Пусть падет проклятье на твою голову, Отараант-квриви, пусть падет!.. Камнем тяжелым ляжет ему на душу, и никогда в жизни не избавиться ему от этого камня. Не избавиться... нет, нет!..»

И снова возвращалась она к ночным мыслям. Все вспоминались те три дня, когда сын уходил, и она не могла побороть страх.

Мысль, которая так или иначе завяжется узлом в душе, похожа на снежный ком, катящийся с горы: чем дальше он катится, тем он больше, страшнее,

---

[1] Из поэмы Шота Руставели «Носящий тигрову шкуру». Перев. К. Бальмонта. Дословно: «и дробится даже камень твердый».

огромнее. Если человеку не удастся остановить его,— ком обращается в лавину и увлекает все на своем пути. Так случилось и с Отараант-кврики. Все мысли ее сбились в единый ком, любовь к сыну толкнула этот ком и низвергла его с той высокой горы, где обитает лишь подлинная материнская любовь. Что могло противостоять такой лавине?

Всякая любовь — материнская или иная — тревожна и боязлива: ей чаще чудятся беды, чем радости, когда печаль в душе любимого остается таинственной, неразрешимой загадкой.

Мать думала, что сын еще в постели. Она тихонько взяла веник и вышла, чтобы подмести деревани. Но велико было ее изумление, когда она увидела Георгия в тени под орехом. Георгий, как обычно, неподвижно лежал на спине и, заложив под голову руки, глядел на верхушку ореха, на высокие его ветви. По синему небу плыли белые, как лебеди, пушистые облака, плыли тихо и неторопливо, разорванными клочьями, словно искали товарищей своих, чтобы соединиться с ними. Бледно-мерцающая лазурь утреннего неба широко, до изумления широко раскрыла свою глубину для этих легко плывущих малюток-гостей. Так мать привлекает к себе только что проснувшихся детей, чтобы покачать их на своих коленях.

В другое время морщины на лбу Отараант-кврики разгладились бы при виде такого неба, такого утра. На этот раз ей мешали тревога и озабоченность.

— Сын, ты уже встал? А я думала, ты еще спишь, и даже не взглянула на твою постель, чтобы не разбудить тебя.

— Бежит от меня сон, мама! Я за ним, а он от меня. Так ничего и не вышло, и я не заснул. Обрадовался тому, что рассвело, и вышел на двор.

Мать подошла к сыну, села у изголовья и провела рукою по его лбу.

— Георгий, а ты все так же...

— Что тебя беспокоит, мать?

— Какая-то печаль грызет тебя, сынок, какая-то забота... Я так беспокоилась о тебе минувшею ночью, что не могла уснуть.

— И правда, ты даже во сне разговаривала,— попытался Георгий перевести разговор.— Ты все твердила: избави, господи! избави, господи!..

— Я, сынок?

— Ну да, ты!

— Я никогда не разговариваю во сне.

— Но так оно было.

— Я и наяву не люблю пустой болтовни.

— Разве просить бога — пустая болтовня?

— Конечно, если не во-время. Неужели нет у бога других забот, кроме меня? Слава милосердию его!

— Мать, что ты говоришь?

— Да то, милый, что бог создал человека и сказал ему: «Ступай и заботься о себе сам. Вот тебе жизнь, живи, как знаешь. Что бы с тобою ни случилось — вина на тебе, на меня вины не взваливай. Я, говорит, умываю руки. Когда же ты вознесешься ко мне,— тогда дело другое: над морем кипящей смолы я перекину для тебя мостик-волосок, и если ты чист, ты пройдешь [1]. Благодать подхватит тебя, поддержит и проведет». Не подломится, говорят, мост под хорошим человеком.

— Благодать легка, а грех тяжел,— так, мать, да?

Георгий радовался тому, что мысли матери отлетели так далеко в сторону, и старался, чтобы она не возвращалась к старому. «Как бы снова не пристала ко мне!» — подумал он, не подозревая, что его слова о грехе привели мать в ужас. Вдова насторожи-

[1] См. примечание в конце книги, стр. 395.

лась, ей показалось подозрительным упоминанье о грехе. Привычная, навязчивая мысль снова обожгла ее сердце.

— Иначе и быть не может, сынок! — ответила мать с стесненным сердцем.— Все в этом тленном мире — борьба между грехом и благодатью, и ничего больше. Кто взвалит себе на спину грех, тот тяжел, как свинец, а кто несет в себе благодать, тот легок, как пух. Но почему ты говоришь о грехе? Что общего между тобою и грехом? — сказала мать, внимательно приглядываясь к сыну: «Ну-ка, что скажет?»

Сердце матери так трепетало в ожидании сыновнего ответа, как не трепещет сердце обвиняемого в ожидании смертного приговора.

— Кто без греха? Но тяжких грехов за мною нет, бог избавил! — ответил сын.

У матери отлегло от сердца.

— Так отчего же ты так замкнулся, отчего все таишь в своем сердце? Сын, я же не чужая тебе! Тревога о тебе заползла, словно червь, в мое сердце и, словно червь, грызет и точит меня. Пожалей, побереги меня!

Георгий быстро приподнялся и сел, точно его обожгло огнем. Никогда еще не бывало, чтобы его непреклонная мать говорила о жалости! Обычно она пренебрежительно отвергала всякую жалость. А теперь ее непреклонная воля уступила чувству. Нет силы больше, чем материнская любовь!..

Сын взглянул на мать. На ее глазах показались слезы... Отараант-квриви плакала!.. Ни разу до этой минуты не видел сын слез на глазах матери. Быть может, и видел, но не помнил, и Георгий был удивлен, потрясен. Если бы ему рассказали об этом, он скорее поверил бы, что железо расплавилось от тепла человеческой руки, чем тому, что мать его плачет.

Георгий был взволнован. Прислушивался к себе: пришло время сказать или не пришло?

— Мать! — вскричал, наконец, сын.— Я скажу, но ты не гневайся на меня! Я хочу того, на что не будет твоей воли. Из уважения к тебе я не хотел говорить об этом, а убить желание нет сил, хотя вот уже сколько времени борюсь...

— Что же это, сын? — спросила мать, и в глазах у нее уже не было слез. Речь зашла о деле, и Отараант-квриви сразу преобразилась; она снова стала рассудительной, деловой женщиной.

— Хочу в работники наняться. Тянет меня из дому.

— Что ты сказал, сынок? Сыну твоего отца — итти в батраки? Ты что надумал? Да отец твой от стыда в могиле перевернется!

— Вот этого-то я и боялся, деди-джан. Боялся огорчить тебя. Пожалей и ты меня, я ведь тоже человек.

— Но что с тобою? Что тебя гонит из дому?

Сын опустил голову и не дал ответа. В мозгу матери молнией сверкнула какая-то догадка.

— К кому же ты решил итти?

— В один дом,— единственный. Либо к ним, либо никуда.

— В чей дом? Крестьянский? Княжеский?

— Княжеский.

— Тут же, у нас?

— Да, в нашей деревне. К Арчилу наняться хочу.

«Вот оно что!» — подумала Отараант-квриви. Что-то прояснилось для нее, она угадывала правду.

Отараант-квриви не дала сыну окончательного ответа. И сын не стал его добиваться. Казалось, ему не до того: какая-то большая своя забота всецело владеет им.

IX

СТРАННЫЙ УЗЕЛ

Арчил только недавно возвратился из России. В России он заканчивал свое образование. Вернувшись, он не застал в живых ни отца, ни матери. Была у него одна лишь сестра, взрослая уже девушка; брат и сестра жили вместе. От отца им досталась недурная усадьба и некоторое количество земли. Дом их стоял в той самой деревне, где жила Отараант-квриви.

В деревне все очень хорошо относились и к брату и к сестре. Все, кого ни спросишь, в один голос говорили: «хорошие они люди». Отараант-квриви тоже не видела от них ничего, кроме добра, и помнила об этом. И Арчил и сестра его немало слышали о вдове и не раз от души смеялись, когда до них доходили рассказы о своеобычных поступках и речах этой женщины.

— Славная женщина эта Отараант-квриви, достойная всяческого уважения! — часто говорили они и, встречаясь с вдовой, приветливо и почтительно здоровались.

Трудно сказать, была ли приятна вдове эта приветливость. Но когда кто-нибудь тепло отзывался о них, вдова неизменно добавляла:

— А потому, что умные!

И о Георгии не раз приходилось слышать брату и сестре. Его поступки, его характер привлекали их внимание. Они никак не могли понять, каким образом, откуда в крестьянской среде могла сложиться такая натура, такой характер.

— Многое есть в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, — цитировал, бывало, Арчил «Гамлета», когда у них заходила речь о Георгии. Загадка так и оставалась неразрешенной.

— Георгий вас спрашивает, — доложили как-то

вечером Арчилу. Арчил лежал на тахте и слушал: сестра читала ему вслух какую-то книгу.

— Какой Георгий? — спросил Арчил.

— Сын Отараант-квриви.

— Проси!

Георгий вошел, снял шапку, остановился у двери и сказал:

— Добрый вечер!

— А, здравствуй, мой Георгий! — приветливо ответил Арчил.— Как живешь? Что поделываешь? Как здоровье твоей уважаемой матери?..

— Да ничего, здоровы, слава богу...

— Что нового? С чем пожаловал?

— Не удивляйтесь. У вас работать хочу.

— Не удивляться?! Зачем это тебе? Как это работать?

— Как вам будет угодно. Скажете — в работники за плату пойду, скажете — даром служить буду, мне все равно.

— Что ты говоришь, кацо? — переспросил изумленный до крайности Арчил.— У тебя у самого дом, хорошее хозяйство, и вдруг — в работники? Слыханное ли дело? Либо ты не отдаешь себе отчета в том, чего хочешь, либо я не понимаю того, что ты говоришь!

— Я-то хорошо знаю, о чем говорю. Вы только окажите мне милость. Невтерпеж мне дома оставаться! Еще немного — пропаду от одиночества.

— А как же мать? — спросила сестра Арчила, обращая на него взгляд своих очаровательных глаз.

— Мать... Мать огорчается, конечно, калбатоно, но ей меня не переубедить.

— Если дело обстоит так, мой Георгий, то нам не хочется причинять огорчение твоей матери. Мы относимся к ней с большим уважением и почтением,— возразил Арчил.

— Вы мне только скажите: согласны взять меня или не согласны? А насчет матери — это мое дело. Она не станет мешать. Я ведь один у нее.

— Согласен ли взять тебя? Да с радостью, обеими руками! Где же еще сыскать такого, как ты? Ведь я тебя знаю. Вот только мать твоя беспокоит меня...

— Спасибо. Так всего вам доброго. Я на-днях приду.

— А как насчет жалованья?

— Хотите — дадите, нет — не надо. Я сказал уже: мне все равно.

— Так нельзя! На это я не могу согласиться. Говори — сколько?

— Сколько позволите.

— Я же сказал тебе — так нельзя! Говори сам.

— Сколько заслужу, столько и дадите.

— Ты что, на совесть мою рассчитываешь?

— А ведь расчет не плохой!..

— А если ты так хорош, что, сколько бы я по совести ни дал, всего мало будет?

— Не беда! Чего мне не доплатите, пусть вам на пользу пойдет! Не обижусь. Прощайте!..

Георгий поклонился обоим и тотчас же ушел.

— Что за история? — спросил Арчил сестру.

— Не понимаю, клянусь тобой!

— Удивительно, непостижимо!

— Верно, деньги понадобились?

— Но он же денег не просит!

— И то правда! Однако, для нас большая удача — найти такого человека. А вот как мы от Отараант-квриви отобьемся — не знаю.

— Не надо этого делать без ее согласия. Она достойная женщина. Нехорошо ее обижать.

— Клянусь твоей жизнью — если мать не согласится, я Георгия просто в дом не пущу, хоть он и бесценная для нас находка.

И брат и сестра порознь долго думали над тем, что произошло, но никак не могли распутать этот сложный, странный узел.

X

ОБЛИЧЕНИЕ ИЛИ ДЕРЗОСТЬ

Не прошло и двух дней после описанных событий, как Отараант-квриви пожаловала к Арчилу.

— А, кума, кума! Прошу! — крикнул Арчил еще издали, только завидев вдову.

Брат и сестра пили чай во дворе, под шелковицей.

— Доброго вам утра! — поздоровалась вдова, подойдя поближе.

Арчил встал, подал ей свой стул и пригласил сесть.

— Пожалуйста, пожалуйста, присаживайся! Кесо, подай куме чаю,— сказал Арчил сестре.

— Чай не про нас, кушайте сами. Я и без него проживу... Как живется, девушка? Как изволите здравствовать? — приветствовала вдова девушку и присела на край стула.

— Твоими молитвами и благо...

— Я и о себе не молюсь, чтоб господу богу не докучать,— где мне еще за вас молиться? — жестко сказала вдова, перебивая ее.

— Ну, ну! Не распускай паруса, по-свойски! — улыбаясь, ответила Кесо и, ловко перегнувшись, ласково ударила ее по колену, как если бы они были близкими родственниками.

Вдова чуть-чуть нахмурилась. Ей было и неприятно и непривычно такое обращение со стороны молодой девушки — как будто она ей ровня.

«Кто я, а кто она? У нее молоко еще на губах не обсохло»,— подумала вдова.

Однако, она поняла, что это предостережение и что у Кесо не было намерения обидеть ее.

— Что на сердце, то и на языке должно быть, стоит ли правду подрумянивать! — не без досады сказала Отараант-квриви девушке.

— Это ты к чему?

— К тому, что тебя смутил мой ответ и ты хочешь предостеречь меня. Прямой дорогой лучше итти, чем плутать по переулочкам.

— Ты хорошая женщина, только разговариваешь круто.

— Если бы ты прожила такую жизнь, как я, пожарилась бы на моей сковородке,— так же заговорила бы! Да и к чему иначе разговаривать? Горе и беда заставляют говорить человека. Не будь на свете горя, человек и вовсе говорить не выучился бы. Лишний только груз. В радости к чему разговор? Собака обрадуется, хвостом повиляет,— вот и сказала, что надо!

— Э... э... э! Вы, того и гляди, совсем поссоритесь,— вмешался Арчил.— Кума — женщина деловая, ей не до болтовни! Так ведь, кума?

— Нет, отчего же! Иногда и сказать не худо.

— Но ты же не ради этого пришла? Наверное, дело есть! — снова возразил Арчил.

— Ваша правда, не зря пришла.

— Прикажи: твоя шашка — моя шея [1].

— Мой Георгий хочет поступить к вам в работники.

— Мы знаем, но без тебя не хотели решаться. Мы почитаем и уважаем тебя и не хотели бы огорчить. Вопреки твоей воле из этого дела ничего не выйдет.

— Есть и моя на то воля. Сын сначала у меня спросился. Я огорчилась, но мешать уже не было смысла. Стыдно мне: он из хорошей семьи, хороше-

[1] Смысл выражения: «я всецело в твоем распоряжении».

го отца сын. Обидно, а плакать поздно. Не удалось переломить его, не удалось помешать. Пусть,— чему быть, тому не миновать!

— Раз так,— я сам ему откажу,— сказал Арчил.— Как можно, чтобы сын да не слушался такой матери!..

— Нет, нет!.. Не отказывай. Я мать, я — прошлое. Он сын, он — будущее. Я ухожу, он приходит. Его дни — поле, которое еще предстоит перейти, а я уже прошла положенное мне. Я — в конце, он — в начале. Не могу я становиться у него на пути.

— Но какая же в том нужда, если это тебе не по душе?

— При чем тут нужда? Дело в желании, в судьбе!.. Он — как молодое вино: еще не перебродил, оттого и пенится, что бродит. Молодое вино, когда бродит, нельзя закрывать крышкой: посуду разорвет. Пусть живет, как знает. Не стану ему запрещать, если сам он себе не запрещает!

— Ну что ж, я буду содержать твоего сына так, что и враг позавидует!— сказал Арчил.

— На это я не польщусь. Он и сам отлично присмотрит за собой, прокормит себя... Сын такого отца! — ответила вдова.— Э, а все-таки было бы лучше, если бы он не ставил себя в такое положение, чтоб от другого зависеть. Да что есть, то есть!

— Но ведь ты теперь останешься одна? — спросила Кесо.

— Почему одна? Ты в сердце ко мне загляни, сосчитай, сколько там птенцов! Хватит и на горе и на радость.

— А еще ты, кума, говорила, будто плутать по переулкам не любишь, любишь все напрямик говорить. Вот уж ничего не понимаю! — сказал Арчил и взглянул на сестру, словно спрашивая у нее объяснения.

— А что я сказала не напрямик? Пока у человека

руки и ноги действуют, он не один: работа — спутник и товарищ одинокого. Разве жизнь дает время одиноким быть? Только таким, как вы... Вот вы одинокие...

— Ты хотел правды,— вот тебе и правда,— сказала Кесо брату с незлобивою улыбкою.

— У кумы не слова, а шипы,— как бы пошутил Арчил. Но что это была за шутка!

Арчил поднялся с места, выпрямился так, словно его кто-то дернул; заложив руки в карманы, заходил взад и вперед. Затем подошел к Кесо, остановился перед нею и спросил по-русски:

— Как ты думаешь? Что это — сознательное обличение или невольная дерзость?

— Ты прав,— тоже по-русски ответила сестра.— Если первое, то оно от ума, против него ничего не возразишь. А если второе, то от грубости, и это было бы неприятно. Но я думаю, что это — первое.

Не берусь судить, убедили ли брата сестрины слова. Скажу одно: Арчил, подойдя к вдове, искренно и весело сказал ей:

— Мудрая ты, кума, женщина, мудрая!

Возможно, что в другое время вдова, по обыкновению своему, кинула бы ему в ответ резкое слово, но на этот раз она смолчала. И это ей самой показалось впоследствии удивительным. «Что связало мне язык?» — думала она.

XI

ДВА ГЛАЗА

В тот день, когда Георгий собрался покинуть дом и уйти в работники к Арчилу, у него было такое веселое лицо, что вдова радостно сказала:

— Наконец-то у него на лбу разгладились морщины. Давно я его таким не видала!

Но действительно ли она произнесла это радостно? Можно сказать — и да и нет. Это была какая-то «солнечно-теневая радость». Она была солнечной, потому что вдова радовалась радости сына, и теневой, потому что терзала ее материнская печаль, болело материнское сердце.

«Почему случилось так, что он рад уйти от меня и быть с другими?»

Солнце и тень, свет и мрак, боль и покой проникали друг в друга, сплетались друг с другом.

Мать собрала сыну одеяло, подушку, тюфяк,— лучшие, что были в доме,— смену белья, черкеску и шальвары из доброй лезгинской шерсти, канаусовый ахалухи, две пары собственноручно связанных пестрых носков, только что купленные сацвети, украшенные тесьмой, каламани, также с тесьмою, нарочно заказанные для него на базаре, такие, какие носят внизу, в долине. Все это она завернула сначала в сюзани, затем в ковер и перевязала веревками на манер мафраша[1].

— Мать, мать, что это такое? — смеясь, спросил сын, увидав эти приготовления.— Ведь не за девять же гор провожаешь ты меня? Зачем мне столько вещей?

— Нет, сынок! Не годится иначе! Пускай знают, что ты не какой-нибудь бобыль-батрак, а из хорошей семьи. Пусть знают, что от своей семьи уходишь, а не бесприютность тебя гонит.

— Да ведь и так знают!

— Видеть надежнее, чем слышать. Пусть увидят глазом то, про что ухом слыхали!

— Вся деревня подымет меня на смех, когда увидит такую поклажу на спине!

— Насмешка не убивает. Стоит считаться с зубоскальством всякого дурака!

---

[1] Мафраша — вещевой мешок.

— Слишком много, мать,— столько вещей! Как будто я девушка, замуж меня отдаешь...

— Был бы девушкой, не упорхнул бы так легко у меня из рук.

— Девушка — что! Родителям, в конечном счете, не приходится надеяться на нее. Девушка приходит, чтобы уйти и свить себе гнездо в другом месте.

— Верно, но пока не выйдет замуж она, неоперившийся птенец, прячется под материнским крылом.

— Не хранила же бы ты меня, точно овощи в рассоле?

— Этого я не говорю. Девушка дома судьбы своей ждет, а мужчина ее на воле ищет...

Георгий нахмурился, ничего не ответив, отошел и стал возиться в углу, словно что-то разыскивая.

Отараант-квриви заметила, что он оборвал разговор, но не подала виду.

«Боится, как бы не догадалась!» — подумала мать.

Немного погодя, Георгий снова подошел к матери, взялся за вещи и, наклонившись над ними, сказал:

— Будь по-твоему, мать! Пойду со всеми этими пожитками!

Сказал, весело взвалил тюк на плечи и ушел.

Отараант-квриви долго провожала его взглядом. Долго-долго смотрела, пока сын не скрылся из виду. Казалось, она безмолвно просит его, умоляет, чтобы хоть раз оглянулся. Но Георгий не оглянулся. Заныло материнское сердце.

«Ни разу не оглянулся! — простонала мать.— Уходит так, как будто со мною не связан ни единою нитью! Тянется к чужим, словно они веревками его опутали...»

Отараант-квриви как стояла, так и осталась стоять, только голова ее опустилась низко-низко, точно

в параличе. Казалось, порвались все жилы на шее, нет сил удержать голову, голова совсем повисла, упершись подбородком в грудь.

«Уходит от меня, и хотя бы капля горечи или сожаления, хотя бы что-нибудь заставило его обернуться!.. Неужели у него тут ничего не осталось? Уходит к чужим и радуется, взгляд его обращен только вперед. Неужели там все, решительно все?»

Сердце матери снова застонало. Сказала, натянула рукав по самую кисть и так, всей рукой, утерла глаза. Не знала сама, зачем это сделала. Она не отдавала себе отчета,— рука сама поспешила на помощь, прежде чем хлынули слезы из сердца. Рука как будто и не спросилась у сердца, побоялась — не опоздать бы, вдруг не позволит оно.

Но на глазах у нее не видать было слез. Разве потекут слезы из объятого пламенем сердца?

Вдова присела на ступеньку дерепани. Голова у нее была опущена, как и раньше. Уперлась локтями в колени.

Мысли унесли Отараант-квриви далеко.

— Зачем существуют в материнской груди «ты» да «я»? — спрашивала она.— К чему материнской любви два глаза? Ах, хотя бы не было у матери этих двух глаз, как у всех! А если уж так суждено, зачем один глаз служит ей самой, а другой сыну? Зачем сердце смотрит на мир двумя глазами, зачем? Почему не слепнет один, когда глядит другой? «Кто для кого?» — Разве может существовать для материнской любви такой вопрос? Горестно то, что об этом, оказывается, можно спрашивать! Оказывается, есть борьба и между матерью и сыном!

Долго в водовороте этих мыслей кружились сердце и разум Отараант-квриви. И вдруг она словно нашла какую-то точку опоры, вырвалась из водоворота, встала и громко сказала:

— Нет, сынок! Будь счастлив, будь ты счастлив!

А я... Я вырву глаз, который видит только мое, только для меня, буду жить только тем глазом, что видит тебя и твое...

XII

НЕОЖИДАННЫЙ ЩЕЛЧОК

Георгий стал работником.

В первый же день Арчил повел Георгия в виноградник.

Арчил, закладывая новый виноградник, задумал весь участок разбить на клетки, подобные шахматной доске, и посадить лозы рядами по прямой линии. Он уже успел проложить так два ряда и посадить черенки. Арчилу очень нравилась собственная затея — разбить виноградник по клеткам и так, в порядке, засаживать его.

Показав Георгию свое нововведение, он сказал горделиво:

— Как тебе нравится? Откуда ни взгляни — сверху ли, снизу ли — всюду правильные ряды.

— Очень хорошо сажать лозы вот так, в ряд: и солнцу просторно, и ветер ровно обвевает. Недавно, года три-четыре тому назад, я узнал, что один князь в Кахетии точь в точь так разбил свой виноградник. Не давало мне сердце покоя, пока я не сходил туда и не посмотрел. Увидел — понравилось. И работать спорее. Хорошо.

— Наконец-то нашелся в деревне хоть один человек, которому нравится то, что я делаю!

— Нет, то, что ты сделал, и мне не нравится.

Арчил вспыхнул:

— Почему, бичо?

— Потому что здесь склон...

— Эх, горе мне! — перебил его Арчил.— Оказывается, и ты, мой Георгий, не очень-то много пони-

маешь... В том-то все и дело, бичо, что склон, и к тому же обращенный к солнцу!

— Да разве я сказал, что это плохо? Солнцепек — самое подходящее место для виноградника.

— В чем же дело?

— В наших местах влаги меньше, чем в Кахетии, да и земля у нас сухая. Хочешь — не хочешь, но хоть однажды в году приходится поливать виноградник, не то лоза погибнет. А на первых порах она еще больше воды требует — пока черенок не окрепнет.

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что если посадить лозу прямыми рядами вдоль и поперек склона, то как провести между лозами воду? Вода вверх не потечет.

— Значит, по-твоему, надо сажать так, чтобы ряды сбегали сверху вниз по склону, — тогда и вода потечет сверху вниз?

— Если сделать так, вода, что и говорить, прекрасно потечет, но и это не годится. Как ее ни пусти — по канавке или просто потоком, — все равно, падая по крутому склону, она всю землю снесет, сверху до самого низу виноградник размоет, а верхние лозы и вовсе с корнем вырвет.

— Как же быть, по-твоему?

— Все так же, только ряды надо было не прямо по склону вести, а чуть наискосок, чтобы и спад для воды был достаточный и землю чтоб не сносило сверху. Смотри-ка, ведь канава к новому участку тоже сбоку подходит. Ее и надо вести вот отсюда, немного наискосок, под уклон. Иначе никаким способом не добиться, чтобы винограднику от нее прок был. А теперь воде пришлось бы бежать прямо вверх. Как она потечет? А ну, смотри сам...

Арчил внимательно осмотрел участок, обошел его с разных сторон, прикинул глазом и так и этак, но ему так и не удалось опровергнуть соображения Георгия.

— Батоно, да ведь это очень просто,— сказал Георгий, заметив колебания Арчила.— Хотите, я сейчас пущу воду, тогда нельзя будет не увидеть.

— Нет, не стоит! Ты прав, мой Георгий. Хорошо, что ты во-время подоспел, когда посажены только два ряда и все легко исправимо. А не то — врагу твоему не пожелаю так ошибиться!.. Не говоря уже о расходах,— наши крестьяне просто засмеяли бы меня.

Арчил возвратился домой и обо всем рассказал сестре. Сестра много смеялась: рассмешил ее щелчок, неожиданно полученный Арчилом.

— Как это с тобою случилось? — спросила Кесо и от всего сердца расхохоталась, но постаралась смягчить обиду от насмешки, повторив свой вопрос мягким, сестрински-нежным тоном.— Как же это с тобою случилось?

— Да так, хорошая моя, как всегда случается с самоуверенными невеждами! Вычитаем что-нибудь из книжек и вообразим: еще немного, и мы овладеем тайной мироздания. В мире много такого, чему люди выучились не из книг, и все это надо знать. Мы же разучились вглядываться в то, что нас окружает. Попала книга в руки — нам уже кажется, что нигде, кроме книги, не набраться разума.

— Что это ты вдруг так запрезирал книгу?

— Я не книгу презираю, а себя. Нехорошо без книг, но нехорошо и смотреть на все только через книгу. Без книг кругозор наш становится узким, но и с одними книгами он недостаточно широк. Мы считаем недостойным для себя делом искать ум под грязной овчиной тех, кто не знает книгу. Мы считаем недостойным и не верим в то, что всякий разумный человек есть та же книга... Всякий разумный человек, хотя бы и не книжник, является подчас несравненным мастером и для книжника. Это — необоснованное пренебрежение....

— Следствие ложной мудрости,— вставила Кесо, с улыбкой прерывая его.

— И ложного, невежественного самомнения,— добавил Арчил.

XIII

НОВАЯ МЕТЛА ЧИСТО МЕТЕТ

Едва успел Арчил договорить, как до них донеслись крики и шум. Арчил тотчас же кинулся на двор и с балкона еще крикнул прислуге, высыпавшей из чалури[1]:

— Что за шум?

— Никак не пойму! Из конюшни, верно! — ответил кто-то.

— Поди-ка, узнай, в чем дело.

Раньше, чем кто-нибудь успел сдвинуться с места, из конюшни выскочил конюх. Он бежал, ругаясь и угрожая кулаком кому-то, кто, видимо, шел за ним.

— Что за наказанье божье, батоно! — снизу крикнул конюх Арчилу, стоявшему у самых перил.— Занесло сюда этого бродягу бездомного! Избил меня так, что живого места на мне не осталось!

— Какой бродяга?

— Тот, новый работник!

— Георгий?

— Чорт бы взял его — Георгий он или как его?..

— Что случилось?

— Как, что случилось? Когда вы возвратились с виноградника, я расседлал коня и поставил в стойло. А он ведь явился вслед за вами. Вошел в конюшню, затеял со мною ссору, обругал... Я тоже его выругал, и тогда он повалил меня и избил, все ребра переломал.

---

[1] Чалури — изба, крытая соломой, людская.

— А ну-ка, позовите Георгия! — приказал Арчил.

Кто-то из слуг сбегал за ним. Вышла на балкон Кесо и стала рядом с Арчилом. Она спросила:

— В чем дело?

— Они тут перессорились из-за чего-то.

— Кто с кем?

— Георгий и конюх.

— Из-за чего?

— Я и сам толком не знаю. Сейчас придет Георгий, узнаем.

Пришел Георгий. Ахалухи на нем был разорван подмышкой, — он старался скрыть это. На двор к балкону сбежались девушки, парни, все, кто в эту минуту работал в доме.

— Повздорили?

— Нет. Мне с ним не о чем спорить.

— Почему же он жалуется, будто ты его избил?

— Побить — побил, это правильно.

— Но ведь это хуже ссоры! За что ты его избил?

— Он лошадь твою привязал — всю в поту, как была. Вошел я в конюшню, вижу, — разлегся на тахте и курит трубку. Я говорю ему: «Не грешно тебе? Лошадь стоит вся в поту, ты бы хоть поводил ее немножко и спину ей водою окатил. Пропасть ведь может: либо спину застудит, либо ноги попортит!» А он, как ни в чем не бывало, трубкой затягивается и отвечает: «Знаешь, как говорится: сунешься зря, костей не соберешь». «Не суюсь, говорю, и цел останусь». Пошел я отвязать лошадь, хотел поводить ее и облить ей потную спину водою. «Убирайся, откуда пришел!» — крикнул он мне и мать мою обругал... Тут я рассердился и избил его. Я бы и отцу родному не спустил дурное слово о матери.

— Все так и было? — переспросила Кесо Георгия и взглянула на него с балкона.

— Врать не достойно...

— Так, все так и было,— крикнул маленький пастушонок, случайно оказавшийся во время ссоры в конюшне.— Все правда, я был при этом!

— Кесо, проверь-ка по расходной книге, сколько ему причитается, и принеси.

Кесо, не спрашивая, поняла, кого имел в виду брат. Она ушла в комнату и немного времени спустя возвратилась с ответом:

— Ему причитается двадцать пять рублей. Вот деньги.

Арчил взял деньги, бросил их конюху и крикнул:

— Вот, братец, все, что тебе причитается. Я не стану тебя больше держать, всего тебе доброго!

— Меня побили,— на меня же сердитесь?

— Будь в другой раз умнее: поступил худо, так хоть другого за правду не ругай.

Арчил и Кесо возвратились в комнаты. Девушки и парни разошлись.

— Ну да... новая метла чисто метет! — говорили насмешливо о новом работнике.

— А как состарится — не оберешься сору,— отзывались другие.

— Мать у него не простая — особенная! Недаром зовется он сыном Отараант-квриви!

Однако, так отозвался о нем лишь один единственный человек, да и то безмолвно, только в сердце своем.

Это был мельник с мельницы Арчила, человек старинного закала, скрытный, замкнутый и тихий; от этого все его всегда обижали. Неведомо, откуда забросило его сюда, неведомо, с каких пор жил он отшельником на мельнице. Так и состарился в мельниках, без жены, без детей, без родни. Никто не знал, кто он, откуда... Где-то когда-то одиноко взошла его звезда и так же одиноко, степенно, спокойно и безобидно закатывалась.

XIV

РАЗВЕ ГЕОРГИЙ ЗНАЛ?

— Как тебе понравилась эта история? — спросил Арчил сестру, когда они вошли в комнату.

— Какой странный, своеобычный человек! — ответила сестра так, как будто на первых порах не могла сказать о нем ничего лучшего.

— Мало того! Этот человек с совестью, с той чуткой совестью, которая болеет за чужое, как за свое.

— Не раздувай такой простой случай.

— Не говори так! Не надо, говоря о хорошем, заниматься взвешиванием — это больше, а это меньше. То, что хорошо,— важно само по себе. Вот перед тобой человек необразованный. Не разум руководит его совестью, она вспоена и вскормлена сердцем, одним только сердцем. На мой взгляд — это очень значительный факт, потому что такая совесть непроизвольна; проявления ее — потребность всего существа, всего организма так же, как желание согреться в холод, найти прохладу в зной, поесть хлеба, когда голоден. Сердце знает, что делать, раньше, чем разум даст ему свой совет. Это очень, очень значительное явление.

— Почему? Георгия задело то, что дурно отозвались о его матери — больше ведь ничего не было?

— Это конец истории. Ты покопайся и разыщи начало. Он не мог снести того, что никто не позаботился о лошади, а конюх к тому же беспечно валялся на боку. Он увидел разрыв между делом и тем, кто его должен был выполнить. Честное сердце Георгия возмутилось, отказалось это принять. Ведь и лошадь не его, и конюх отвечает не перед ним. Между нами говоря,— что возмутило его, чего он хотел? Угодить нам? Не случись драки, вся эта история не дошла бы до нас. Он недоброжелательно

относился к конюху и придрался к случаю? Но что он мог иметь против человека, которого впервые видел? Тут не было ни того, ни другого. Он увидел, что дело делается плохо, он увидел бездельничающим того, кто должен был выполнить это дело, и не стерпел. Что ни говори,— это вернейшее доказательство благородства человеческой натуры. Да, поистине великий знак! Теперь я понял и тот случай, о котором нам еще в тот раз рассказывал мельник. Помнишь, как Георгий, возвращаясь с поля, поймал буйволов Буркиашвили и привел их прямо к Кахуашвили: «Они,— говорит,— твои всходы топчут». Хотя до меня и раньше доходили кое-какие слухи о подобных поступках Георгия, но тут я все же согрешил перед богом и подумал: «Вероятно, Георгий таил злобу против Буркиашвили». Теперь я сожалею о том, что так подумал и оскорбил такою мыслью этого честного человека.

— А ты извинись перед ним,— серьезно, от всего сердца посоветовала сестра, по-настоящему вдумавшись в то, что сказал брат.

— Мое раскаяние выразится в том, что я поступлю к нему в обучение. Да, в обучение!.. Что мы такое по сравнению с ним? Пускай же он нас учит и воспитывает!..

Арчил в раздумьи заходил по комнате. Задумалась и Кесо. Георгий был для нее такой же загадкой, как и для меня, читатель.

— Кесо! — сказал Арчил и остановился перед нею.— Знаешь, что я тебе скажу? Вот ты устраиваешь цветник перед домом. Давай, посоветуйся с Георгием. Пожалуй, было бы не худо совсем уволить этого пьяницу-немца и поручить сад Георгию. Он — парень толковый. Ты только покажи ему, и, я уверен, он сразу поймет, что и как надо делать. Поденные рабочие доделают остальное, раз Георгий будет руководить ими. Жалко, конечно, чтобы такой

парень, как он, тратил силы на мелочи. Но пока пусть будет так. А там поищем что-нибудь более подходящее...

— Очень хорошо! — одобрила сестра.— Вот только какое затруднение: у меня все пока только в чертежах, на бумаге. Беда, если не удастся ему объяснить. Давай, я сначала только покажу. Посмотрим, поймет он что-нибудь или нет...

Ранним утром Арчил собрался на вновь заложенный виноградник. Он ударом ноги повернул коня, но оглянулся на Георгия и крикнул ему через плечо:

— Не уходи никуда. У Кесо к тебе дело!

«Кесо?»

У Георгия замерло сердце.

Кесо тоже встала рано, но пока прибралась и оделась, прошло немало времени.

Наконец, Кесо позвала Георгия. Его словно страх обуял, когда он очутился наедине с Кесо. Должно быть, ему было неловко, — да и не удивительно: никогда в жизни не оставался он с глазу на глаз с чужой женщиной.

Кесо заранее разложила на тахте чертеж, раскрашенный в несколько цветов. Это был план сада. Кесо заимствовала его из какой-то книги и вместе с братом изменила его, сообразно собственным вкусам.

— Подойди поближе, Георгий, мне хочется показать тебе этот план,— сказала Кесо Георгию, который стоял в дверях, точно истукан.

Георгий не мог сдвинуться с места.

«Вот проклятье, отчего такая слабость в ногах?» — подумал он.

— Что ты мнешься, словно новобрачная? Иди сюда, не бойся, не съем!

Георгий шагнул раз, шагнул два, но все же остановился на почтительном расстоянии от Кесо и от плана.

«Ой, отчего я так дрожу?» — удивлялся он.

— Да что с тобою? Стань сюда, ко мне ближе,— уже с легкой досадой сказала Кесо.

«Ближе!» Порою самое короткое слово кажется длинным.

Георгий не пошевельнулся. Он только вытянул шею и как-то неловко, бочком, издали взглянул на бумагу.

— Не слышишь, кацо? Я и вблизи едва разбираю, а ты оттуда ничего не увидишь,— вытянул, тоже, петушком шею! Подойди ближе!

Георгий и на этот раз не сдвинулся с места.

«О-о, что это за страх напал на меня! Нечистая сила тянет назад, или икона святая вперед не пускает?» — с изумлением пытал себя Георгий.

Кесо надоело ждать, она схватила его за рукав и потянула.

Георгий покачнулся так, будто рядом грянул гром. Должно быть, зацепился за что-то ногою.

— Что с тобою? — спросила Кесо.

— Не знаю, должно быть, зацепился за что-то ногою,— объяснил Георгий, а про себя подумал:

«Жилы, что ли, мне кто на ногах подрезал? Или что это вообще со мной, проклятым, происходит?»

— Вот,— сказала Кесо, показывая чертеж Георгию, когда он наконец очутился рядом с нею,— знаешь площадку, огороженную низким забором, перед домом? Вот она. А теперь, мой Георгий, на этом месте мы проведем дорожки, чтоб они вот так сходились и расходились. Дорожки эти у нас будут посыпаны кирпичом. Между дорожками надо будет сделать грядки так, как здесь нарисовано. На грядках посеем цветы всякие. Середину видишь? Отсюда...

— Ничего не вижу, шени чириме. Отпусти меня, прикажи в другой раз притти,— сказал Георгий умоляющим голосом и отодвинулся от Кесо.— Что-то случилось со мною, потемнело в глазах, дурман

какой-то нашел на меня. Не вижу ничего, не слышу. Отпусти же меня, ради бога твоего!

Взглянув на Георгия, Кесо убедилась в том, что в лице у него, действительно, ни кровинки и что ему вообще как-то не по себе. Она отпустила его, а про себя подумала:

«Что с ним такое случилось? Не сердечный ли припадок?»

Но разве сам Георгий знал, что с ним случилось?

XV

У ВСЯКОГО СВОЙ НРАВ

Произошло это в начале марта. Прошел март, прошел прекрасный апрель и еще более прекрасный май. Настал июнь — сенокосный месяц. Чудесно зацвел раскинутый по плану Кесо сад. Он был так наряден, так красив, так блистал яркими красками цветов, зеленью лужаек, вокруг которых вились красные дорожки, что от него трудно было оторвать взгляд. Казалось, здесь вступили в соревнование могучая природа и деятельная рука человека: «глядите, кто из нас лучше разукрасит и уберет этот сад». Казалось, и природа и человек, не щадя сил, раскинули и разостлали здесь все лучшие дары своего гения.

Кесо чрезвычайно радовалась тому, что ее давнишняя мечта осуществилась так прекрасно. Каждое утро, еще раньше, чем загоревшееся солнце успеет кинуть из-за горы пылающий луч свой и залить снежную вершину золотым потоком, золотой рудой, Кесо, накинув платье, выбегала в сад и оставалась в нем почти до вечера. До самых сумерек не вспоминала она о том, что пора и домой. По целым дням порхала она между яркими цветами и сочной зеленой травой и радовалась любовно каждому цветку,

каждому вновь пробившемуся ростку, каждому вновь завязавшемуся бутону. Когда никого возле нее не было, она от полноты сердца заводила нежную беседу с раскрывающимся цветком, казалось, улыбавшимся своему расцвету. Так ласточка щебечет что-то своим птенцам.

Но редко-редко случалось, чтобы в саду никого, кроме нее, не было: Георгий был там неизменно...

Как бы рано ни вышла она в сад, она заставала Георгия либо с заступом, либо с мотыкой, либо с садовым ножом.

Георгий разбил цветник, как его научили и как советовали ему Кесо и Арчил. Ему же был поручен надзор за ним. Не думаю, чтобы он глаза свои берег так, как берег и лелеял этот сад. Даже ничтожной пылинки не оставлял он ни на траве, ни на листьях!

Арчил и Кесо были очень расположены к Георгию и не раз говорили о том, что он работает за двоих, а то и за троих. Георгий тоже не жаловался. Напротив, он даже радовался своей судьбе.

— Чего еще мне желать? — рассуждал он сам с собою, когда, бывало, задумывался над этими вещами.— Пристают ко мне, говорят: «сам скажи, какое жалованье хочешь». На что мне жалованье? Довольно с меня и того, что я каждый божий день вижу солнце!

Трудно угадать, что вкладывал Георгий в эти слова. Нельзя не упомянуть о том, что, когда он работал в саду и бывал в хорошем настроении, он вполголоса напевал всегда одну и ту же песенку:

Жить я хочу для того, чтобы видеть тебя, мое солнце.

Как будто для него не существовало в мире ничего другого, как будто он ни о чем другом не мечтал, ничего другого не жаждал! Недаром сказано: «у всякого человека свой нрав».

XVI

БЫТЬ МОЖЕТ!

Прошли еще дни и месяцы. Настала обильная, тучная осень. Вся деревня мыла, чистила, скребла винные кувшины и давильни. Сочные гроздья белого, отливающего янтарем винограда, черные, цвета ежевики, кисти саперави[1] призывали хозяев к сбору и, казалось, говорили: «Скорее, мы уже доспели, того и гляди, переспеем!»

Собрали виноград, выжали его, перебродило молодое вино. Умолкли в деревне звучные песни,— их, взявшись за руки, пели в давильнях рабочие. Веселое «мачроба»[2] дожило отпущенный ему срок и замолкло, словно обессилело и притомилось.

Была уже середина осени. Тяжело нагруженные сеном арбы заскрипели между изгородями по деревенским проулкам. Деревня торопилась перевезти из виноградников в усадьбы припасенное на зиму сено — корм для скотины. Боялись, выпадет снег, помешает.

Арчил распорядился запрячь четыре арбы и свозить сено. Складывали его тут же во дворе, невдалеке от хлева, на сеновал, поставленный на высоких столбах с таким расчетом, чтобы скотина не дотянулась до сена и не растаскала его.

Солнце еще не перевалило за горы, чтобы там погаснуть; оно замедлило свой шаг на вершине, казалось, ему грустно: «Зачем спешу, зачем расстаюсь так поспешно с этой прекрасной землей?» Спокойный, мягкий, сухой, безросный, безоблачный осенний вечер был так хорош, что даже безногий вышел бы взглянуть на свет божий.

---

[1] Саперави — сорт красного винограда.

[2] Мачроба — время, когда пьют мачари — молодое вино.

Арчил и Кесо вышли из дому, спустились к сеновалу и, усевшись на огромный пень, стали смотреть, как рабочие укладывают сено. Арчил любил бывать среди рабочих, беседовать с ними, а иногда и побалагурить. Он не раз говорил Кесо, что учится у них уму-разуму и еще чаще — языку.

Четыре арбы стояли вплотную возле сеновала, по арбе у каждого угла. Три из них были порожние, и только с четвертой еще подавали сено. Стержень стога торчал над сеном не более чем на два адли[1], и стог подымался к стрехе, все сужаясь. В это время с мотыкой на плече подошел Георгий.

— Петрэ, а Петрэ! — издали крикнул он крестьянину, укладывающему сено. — Верхушка стога кривится к саду. Неровно кладешь, поправь! Нехорошо!

— Это Георгий. Откуда он кричит? — спросил Арчил. Георгия заслоняла арба. Из-за арбы ни Георгий не видел Арчила и Кесо, ни они Георгия.

— Ты откуда с мотыкой? — спросил Арчил, когда Георгий подошел ближе и поздоровался с братом и сестрой.

— Вода прорвала канаву у мельницы и залила наш маленький сад, надо было ее отвести.

— Ты что кричал?

— Да ничего. Верхушка покривилась у стога, — сено от дождя замокнет и погниет. Я и крикнул Петрэ, чтоб он выровнял.

— А ну, покажи!

Арчил встал, Георгий обвел его вокруг стога и показал.

— Ты прав, — сказал Арчил Георгию. — Петрэ, Георгий дельно говорит, верхушка стога скривилась.

Петрэ ухватился рукою за цнели[2], привязанный к

---

[1] Адли — старинная мера длины, приблизительно равна метру.

[2] Цнели — скрученные прутья ивы или орешника, употребляемые вместо веревки.

стержню, крепко держась за него, обошел стог и оглядел его закраины.

— Ай, ведь и вправду, прогневался господь на меня! — крикнул Петрэ.— Надо подравнять. Помоги, Георгий, ради бога, лезь сюда, подправим. Один я не справлюсь, а до завтра откладывать — не люблю.

— Да где же, кацо, мы на такой узине поместимся? — стать даже некуда! — крикнул снизу Георгий.

— Не поленись, ради бога твоего: я спущусь, а ты влезешь. У меня просто руки отваливаются. Ты же передохнул, быстро подправишь. Ну-ка, будь молодцом, сделай доброе дело, да солью присыпь.

— А ты умеешь стога ставить? — спросила Кесо, которая как раз в это мгновение подошла к ним.— Говорят, и на это нужно умение.

— Никакой тут нет особой хитрости, калбатоно,— сказал Георгий улыбаясь.— Вырос-то я где?

— Если так,— сказал Арчил,— вот тебе мяч, а вот и майдан.

Петрэ повис на привязанной к стержню веревке, соскользнул по ней вниз и с трудом дотянулся до копылей арбы-сноповозки, пытаясь опереться на них ногой. Очутившись внизу, он подошел к Георгию, хлопнул его по плечу и ласково сказал:

— За мною, Георгий, не пропадет! Кроме всего прочего — я отцу твоему ровесник. Эх, сын и брат мой, состарится человек, и вот приходится лук на землю класть.

— Почему? — спросил Георгий.

— Потому, мой хороший, что старика и глаз обманывает и рука предает,— уж не тот в нем ветер, что в юности был. Разве я в твои годы не обломал бы себе рук, если бы со мною такое случилось!

— Бывает — старик, а лучше молодого. Ты не огорчайся.

— Дай тебе бог жизни, ты и на слово и на дело — мастер.

Последних слов Георгий уже не слышал. Он быстро вскочил на арбу, притянул вилами веревку, свисавшую точно пояс, и в мгновение ока очутился на верхушке стога: разворошил сено, скинул немного вниз, умял верхушку и примерившись: «отсюда пойдет уже ровно» — стал укладывать. Он справился со своим делом, прежде чем густые сумерки окутали землю.

— Огонь, чисто огонь, этот сын благословенного отца! — говорил простодушный Петрэ Арчилу, видя снизу, как неистово работает Георгий.

— Правда, он очень хорош! — согласился Арчил.

— Хорош, говоришь? Нет ему равного во всей деревне!

Георгий, управившись, крикнул сверху Петрэ:

— А ну-ка, Петрэ, обойди еще раз и погляди по-своему, ровно лежит или не ровно?

Петрэ обошел стог и крикнул вверх:

— Хорошо, хорошо, спускайся, все как следует!

Георгий схватился рукою за веревку, уперся ногами в сено, натянул веревку и скользнул вниз со стога. Когда он был уже на середине, веревка вдруг оборвалась... Георгий, навзничь, стремительно пошел с высоты и напоролся спиною на копыль арбы. Копыль не выдержал, подломился, но и Георгию разворотило хребет...

Арчил, Кесо, крестьяне — все кинулись к Георгию: он, полумертвый, лежал, уткнувшись лицом в землю...

Арчил стал перед Георгием на колени и попытался перевязать рану, другие помогали ему. В конце концов, общими усилиями удалось унять кровотече-

ние. Полуживого Георгия и Кесо, которая лишилась чувств, перенесли на руках в дом.

— О, проклятие божие! В чем, господи, провинился я перед тобою, что ты сделал меня виновником этого несчастья? — невольно вырвалось у Петрэ, и он заплакал.

— Чему быть, того не миновать,— утешал кто-то Петрэ.— Быть может, так на роду ему написано! Разве ты в чем виноват?

XVII

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ

Арчил велел внести Георгия в свою комнату и уложить на кровать. Он тотчас же послал человека за врачом в ближайший город. Кроме того, разослал людей по деревням — позвать местных костоправов — всех, какие только были известны и каких назвали домашние.

Был и в этой деревне прославленный костоправ Опопаант Деметрэ. Послали за ним. Не прошло и получаса, как он явился.

Деметрэ осмотрел Георгия. Долго ощупывал его, долго качал головою и наконец сказал Арчилу:

— Нет, батоно! Не могу я за него взяться! Не жилец он на этом свете. Такова уж, значит, его судьба.

— Ты попробуй... Помоги ему, ради бога. Что хочешь проси, только не дай ему умереть в моем доме, на мою голову!

Так просил и умолял Арчил, ни на минуту после того, как случилось несчастье, не отходивший уже от Георгия. Он стоял на коленях у постели Георгия, положив себе на ладонь холодную руку умирающего, и, сам не знал для чего, упорно растирал ее.

— Напрасно только будем мучить несчастного. Пусть уж лучше без страданий расстанется с жизнью,— ответил Деметрэ.— Самое большее — нынешнюю ночь протянет. У него все внутренности отбиты.

— Разве не грех погибать такому парню?— крикнул, задыхаясь от рыданий, Арчил и, охваченный скорбью, опустил голову.

— Ай, ай, какой грех! — завыл вдруг кто-то. Все оглянулись туда, откуда доносился плач, и увидали в темном углу Арчилова мельника. Узнав о том, что случилось, старик поспешно прибежал, прокрался в комнату, где лежал Георгий, забился в темный угол и тихонько рыдал, словно боясь, чтоб его не услышали...

— Не жалко тебе меня, мой Сосия? Какой грех случился в моем доме! — стал жаловаться мельнику Арчил. Он видел, что и мельник огорчен не меньше его. Казалось, делясь с ним, он пытается облегчить свое горе.

— О да, батоно, да! — заголосил мельник, не будучи в силах сдержать себя.— Горе несчастной его матери, горе ей!

Только теперь, когда мельник произнес ее имя, Арчил вспомнил об Отараант-квриви. Среди всеобщего смятения никто и не подумал о том, что надо сообщить матери о несчастьи, постигшем ее сына. Отараант-квриви еще ничего не знала.

Арчил страшно встревожился. Он не знал, как, какими словами сказать матери о гибели сына. Он мучился этой мыслью, когда в комнату ворвалась, точно безумная, Кесо. Она очнулась от обморока, но живые краски сбежали с ее лица.

— Что с ним, Арчил, как он? — торопливо спросила она и тотчас же кинулась к постели Георгия.

— И врагу твоему не пожелаю! — через силу произнес брат.

Кесо взглянула на Георгия.

Георгий лежал на боку, лицом к ней. Кесо стало ясно, что жизнь едва теплится в этом сильном молодом человеке. Лицо ее болезненно перекосилось. Она принялась изо всех сил тереть глаза руками, как будто ей хотелось загнать обратно подступавшие слезы.

— Кесо. матери не давать знать?— спросил брат.

— Как не давать знать? Мы убили ее сына, и даже не послали за нею, чтобы она застала его хотя бы в агонии, чтобы он хоть умер на ее коленях! — рыдая, проговорила Кесо.

— Ничего не соображаю! — сказал ей брат.— Я совсем разбит этим несчастьем. Нет сил ни двигаться, ни думать. Я совершенно растерялся.

Послали мальчика за матерью Георгия.

Скоро пришла Отараант-квриви.

В комнату, где лежал Георгий, она вошла, хотя и поспешно, но такая подобранная, что, казалось, не придала особого значения полученному известию. Только лицо ее, желтое, как шафран, еще больше сморщилось и увяло. На лбу, между бровями, залегли глубокие морщины.

А мальчик, который ходил за нею, рассказывал обступившим его девушкам и парням, что, когда он передал ей весть, с которой его послали, эта огромная женщина чуть не упала на него.

— О чем плачешь, хорошая моя?— мимоходом кинула мать плачущей Кесо.— Разве дело дошло до того, что надо плакать?

Все молчали, скованные страхом и благоговением,— так велика была скорбь!..

Вдова подошла к постели сына, но, едва взглянув на умирающего, со страшной силою ударила себя по голове. Ноги у нее подкосились, она упала на колени.

Никто не промолвил ни слова, никто не шевель-

нулся в притихшей комнате. Только колыхалось пламя горевшей у изголовья свечи. Все, что было здесь живого, словно окаменело.

Умолкло, застыло все, и только материнское горе безмолвно, беззвучно, несказанно взывало о великой, беспредельной своей скорби.

Но только глазам сердца дано было увидеть это. Только сердце слухом своим могло это услышать. Телесное зрение и телесный слух перед этим бессильны.

XVIII

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ

— Священника, ради бога, священника! — спустя немного времени простонала мать, когда снова забилось ее сердце и она овладела смятенным сознанием.

Привели священника и причастили Георгия. Пока все это происходило, вдова, казалось, собралась с силами. Сначала горе сломило ее. Потом она овладела своим чувством, поборола его. Словно сраженный пулею витязь, она упорно сопротивлялась, яростно боролась с болью, с мученической мукой.

Отараант-квриви припала на одно колено, откинула одеяло. Полуобняла и гладила рукою грудь безгласного сына, лежавшего перед нею с закрытыми глазами.

Прозорливое материнское сердце сразу почувствовало, что спасения уже нет и что смерть вырывает сына из ее рук. Ни о чем не спросила, ничего уже не хотела знать... Потеряв всякую надежду, страстно желала она только одного: чтоб он не умер, не подав голоса, не сказав ей хоть слово.

— Георгий, сынок! Взгляни разок на мать твою! Что с тобою сталось? Что сломало тебя, моего

сильного, моего смелого, так, что ты даже ради матери не откроешь глаз?

То ли сын почувствовал материнскую руку у себя на груди, то ли голос матери возвратил ему сознание, но это случилось: он поднял веки и бессильно оглядел все вокруг. Потом взгляд его затуманился снова, глаза закрылись, и он зашевелил губами.

— Он что-то хочет сказать, но у него нет сил! — простонала мать.

Она сказала это, и две крупные слезы скатились из глаз и выжгли след на побледневших щеках, точно капли расплавленного свинца.

А лицо? Оно не плакало, нет!

В своем неистовом, исступленном сопротивлении мать владела собой так, что на лице ее не отражалась жгучая душевная боль. Пламень сердца растопил насильно замороженные слезы, но не дрогнул ни единый мускул на лице, скованном усилием непреклонной воли. Так жгучая боль безнадежности вновь возвратила ледяное спокойствие этой истаявшей в скорби женщине.

— Во...— прохрипел Георгий, но у него не хватило сил договорить.

— Воды! Воды! — раздались голоса.

Деметрэ посоветовал дать ему вина, чтобы поднять силы умирающего.

— Сынок мой единственный, мой сиротка! Отзовись, взгляни на меня хоть раз! — со стоном проговорила мать, поднося к его губам маленькую чашу с вином.

Георгий проглотил несколько капель и как будто чуть-чуть ожил. Он снова открыл глаза. Взгляд его кротко скользнул по комнате и вдруг остановился.

Мать обернулась и увидела плачущую Кесо...

— Мать! Видишь... этого.., ангела...— через силу

выговорил Георгий, не отводя от Кесо стынущего взгляда.

— Вижу, сынок!

— Мама!.. Вина!!!

Мать дала ему вина.

— Это она — моя судьба... Но я не жалею, нет! — продолжал Георгий.

Арчил с недоумением взглянул на Кесо. Кесо побледнела, сжалась, оцепенела, но мать, казалось, не удивилась признанию сына. Ни Арчил, ни Кесо, никто, никто не решался произнести хоть слово в этот час скорби. Все слушали не шевелясь.

— Ай... хотя бы край платья твоего поцеловать и потом умереть!.. — застонал Георгий, и глаза его, обращенные к Кесо, еще сильнее, чем слово и голос, выразили его тоску и мольбу.

Кесо в слезах подбежала к Георгию и поцеловала его в лоб. Когда она подняла голову, слезы безудержно полились из ее глаз на грудь умирающему. Мелкие, внезапные слезы эти на мгновение подняли силы Георгия, дрожь прошла по его телу. Казалось, они окропили его росою бессмертия, они даровали ему отраду, принесли радость, он ожил, — можно было подумать, что уходящая жизнь вновь возвращается к нему.

Радость. счастье, пришедшие в такой час, — та же жизнь, только ненадежная, мимолетная...

— Видишь, мама? Живой я не мог дождаться ее улыбки! Умираю, — и она проливает надо мною слезы. И этой радости мне довольно, я унесу ее с собою!.. Я не жалею, нет! я ухожу и уношу с собою радость, увлажненную ее слезами. Она зацветет для меня там, там... Не горюй, мама! Я слыхал от тебя же, что не надо цепляться за то, чему уже нельзя помочь. Арчил, не сердись! Не надо! И ты, и ты также! Ведь я знал, кто я и кто ты! Как мог я дотянуться до тебя? Ты звезда на небе... Сердце

бы дотянулось — сердце, но не руки... Я молился на тебя, как на святую... ты светила, как солнце!.. Ты и не знала, кого согреваешь, кого радуешь, кому даешь жизнь. Пока я был жив, я не мог тебе в этом признаться. Меня связывали стыд, страх... благоговение... А теперь, — умираю и говорю. Что взыщется с мертвого? Мертвые — все равны...

Голова его беспомощно свесилась на подушку, глаза снова подернулись пеленой. Началась агония. Пальцы его бессильно шевелились. Казалось, Георгий ищет кого-то, хочет кого-то найти.

Прошло еще немного времени, и Георгия не стало.

— Кончился! — пронзительно вскрикнула мать и упала на тело мертвого сына. Прижалась лицом к его груди. Ни слова, ни звука! Можно было подумать, что мать умерла на груди у сына.

Подождали, надеясь, что придет в себя, но когда увидали, что женщина неподвижна и безмолвна, всеми овладело раздумье: не случилось ли чего-нибудь с нею?

Подошла Кесо и попыталась поднять ее. И тогда только Отараант-квриви подала голос:

— Шени чириме, оставьте меня наедине с моим мертвым сыном! Со мною ничего не случится. Под такой звездой родилась! О, черная моя судьба! Горе мне — ничто меня не сломит!

Арчил рукою подал всем знак уйти. Все удалились. Арчил и Кесо ушли на цыпочках вслед за другими и только служанке приказали следить из соседней комнаты за Отараант-квриви.

Только теперь, почувствовав, что она одна, Отараант-квриви стала бить себя рукою по голове...

— Нет моего Георгия, нет! — вполголоса причитала мать. — Я осталась, а Георгия нет. Сынок, ты ушел от меня? Ты умер? Ушел, ушел и не вернешься! Сынок, тебе бы меня хоронить, а я хороню тебя! Тебе бы меня оплакать, а оплакиваю я!.. Эти руки,

что вырастили тебя, этим же рукам суждено засыпать тебя землею? Не ты сложишь их крестом на моей груди, это я, я собственными руками сложу твои руки! Горе матери! Горе матери, дожившей до этого!

Она снова упала лицом на холодеющую грудь сына. Плача уже не было слышно, слышны были только скорбные всхлипывания.

— Вуй, вуй, вуй! — раздался в комнате чей-то воющий плач.

Вдова с гневным недоумением обернулась.

Единственная свеча скудно освещала просторную комнату, один из углов ее оставался почти темным. Кто-то, съежившись, забился в этот угол. Едва она увидела человека, который остался вопреки ее воле, — вся трогательная материнская нежность слетела с нее, и она снова превратилась в суровую Отарааткврива.

— Ты чего тут? — сердито крикнула Отарааткврива.

— Не вынес я твоего горя, рыдания подступили к горлу, — я и сам не хотел, вырвался у меня плач, и заревел я, проклятый, коровой...

— Чего торчишь тут?

— Жалко тебя одну оставлять! Подумал — дом чужой, ослабеет она, хоть воды принесу...

— Кто ты?

— Сосия.

— Какой Сосия?

— Вспомнишь — хорошо, а не вспомнишь, и тогда дай бог тебе радости, если радость осталась для тебя на земле после смерти сына.

— Не осталась, думаешь? Разве ожидание смерти — не радость?

Когда все уходили, старик-мельник незаметно остался в комнате. Все такой же нахохленный, согбенный сидел он в неосвещенном углу.

— Уходи, нечего тебе здесь делать! — сказала вдова.— Мне одной быть надо...

— Воля твоя, уйду, лягу, как пес, у дверей! Крикни, если что понадобится...

— Хорошо, оставь меня!

XIX

РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ

Арчил устроил Георгию пышные похороны.

Он созвал все окрестное духовенство и крестьян ближайших деревень и не пожалел никаких расходов, чтобы отдать последний долг Георгию. Он хоронил его так, как если бы Георгий приходился ему ближайшим родственником, был членом его семьи.

Вместе с крестьянами нес он гроб, не сменяясь, от дома до церкви и от церкви до кладбища.

Кесо проводила усопшего до кладбища — в глубоком трауре, безмолвная, со скрещенными на груди руками, со скорбно поникшей головою, словно ближайшая из оплакивавших его родных. Когда гроб опустили в могилу, она упала на колени, перекрестилась и стала про себя молиться. Потом кинула горсть земли, быстро встала и отошла, словно испугавшись чего-то.

— Посмотри-ка! Плачет... — сказала одна из стоявших поблизости женщин.

— Любовь — не шутка,— отозвалась другая. — Слыхала, верно: они ведь любили друг друга.

— Скрывает слезы, несчастная, словно стыдится.

— А чего стыдиться? — заговорили женщины вперебивку.— Что он, не человек разве? И девушка красивая, и парень был хорош. Чего еще для любви нужно?

Кое-кто из крестьян одобрял благородную простоту брата и сестры, одобряли то, что они хоронят Георгия с таким почетом. Но были и такие, что поговаривали:

— Загубили человека, а теперь хотят миру глаза отвести!

Возможно, что они были правы. Одно несомненно: не легко найти правду в чужой душе.

Арчил краем уха уловил высказывания крестьян, но когда о них узнала Кесо и возмутилась поклепом, Арчил сказал ей:

— Удивляться тут нечему.

— Как нечему удивляться? Мы от всей души отдали ему последний долг, а они швыряют в нас грязью!

— Было бы странно, если бы они не сказали этого. И они правы со своей точки зрения. Мост между нами разрушен: они остались по ту сторону, мы по эту. Мы далеко друг от друга — так далеко, что глаза наши уже ничего не видят в правильном, настоящем свете. Разве приходится удивляться тому, что человек человеку на таком расстоянии представляется бревном, а лицо человека, созданное по образу божьему и подобию, чем-то вроде размазни? Ведь на этом огромном пространстве немало такого, что слабому глазу может показаться черным, хотя оно и белое! А мы-то не простым глазом смотрим, мы вооружены биноклем! Бинокль этот — наука, знание. У них нет и этого.

— Значит, они не воспринимают добро как добро, истину как истину?

— Они не признают, не верят ни в наше добро, ни в нашу истину. И то и другое, если оно исходит от нас, кажется им странным, удивляет их. «Почему, зачем? — спрашивают они. — Ради самого добра? Зачем ему делать мне добро? Что он мне, что я ему?» И вот в этом они, действительно, правы.

Что мы им, что они нам? Кто мы и кто они? Два разных мира! Я сказал уже, что мы далеки друг от друга... Их горе и радость огорожены одним забором, наши — другим. Мы лишены возможности встретиться, соприкоснуться сердцами. И почему нам удивляться, что ни они нас, ни мы их уже не понимаем? Скажи мне одно: кто держит связь между нами? Один только плоский язык книжника — таких людей, как мы, я называю книжниками,— повторяю, только плоский язык книжника да жадная рука стяжателя. Что доброго могли нам принести такие посредники?

— Значит, мир стал бессердечным? Умерло сердце в человеке, не стало его?

— Сердца, то есть того добра, что двигает словом и рукою, действительно уже нет. Или оно существует, но оно онемело, заглохло, как будто умерло — и в нас и в них. Быть может, не окончательною смертью, не совсем, но уж во всяком случае наполовину. И вот мы живем и силимся понять друг друга уже только этой одноглазой, полуглухой половиной. Здесь неизбежны ошибки потому, что ослеп именно тот глаз, оглохло именно то ухо, которым дано видеть другого, слышать другого. Что такое сердце? Если бы человек был одинодинешенек на свете, не было бы и сердца. Сердце — это добро, а добро возможно только тогда, когда есть двое. Чтобы добро родилось,— нужно, чтоб существовало хотя бы два человека, потому что добро — это одновременно жертва одного и принятие этой жертвы другим. Если отсутствует жертвующий или принимающий жертву,— нет и добра, следовательно нет и сердца. Если нет двоих, для чего же сердцу посредники: язык, зрение, слух?.. Посредник не нужен самому себе. Он нужен тогда, когда есть к кому послать его. Без другого, сердце единственного — только мешок, ко-

торый гонит кровь по человеческому телу, берет ее и отдает. А где тот другой? На том берегу. Далеко-далеко!.. Так почему же ты удивляешься, что нас не видно оттуда, что нам не верят ни в чем, даже в добром? И на чем остановиться взору этой веры, где найти для нее хоть малейшую опору? В сердце мертвеца? Невозможно!

— Старая, старая, заново перелицованная повесть, дорогой мой: раз он крестьянин, значит, он всегда прав!

— Зачем ты, милая, подозреваешь меня в такой глупости? Я вовсе не возвеличиваю по-детски крестьянина: ангел, мол, во плоти. Я пытаюсь нащупать, роюсь, ищу и, как зрелый человек, скорблю, тоскую и плачу по утраченной мною половине. Он — половина, отсеченная от меня; я — половина, отсеченная от него. Я сокрушаюсь об утраченном, мне жаль, но я не оправдываю его. Крестьянин грязен не только овчиной своей, но подчас и сердцем. Я знаю это, но разве мы лучше? Разве мы чище под этой белоснежной, без единой пылинки, чистейшей сорочкой? Я сказал, что сокрушаюсь о них, что мне их жаль,— но себя я презираю и ненавижу. Нет, жить получеловеком, половиной сердца — это не жизнь! Это смерть, загнивание...

— Смерть — это разложение. Из разлагающегося тела течет гной, только гной. Ты, видимо, это хотел сказать?

— Ты меня предупредила. Да, гной, текущий и отсюда и оттуда, в двух направлениях. Одна струя исходит от нашей омертвелой половины. Поэтому не удивляйся, если, соприкоснувшись друг с другом, мы не можем не замараться гноем. Даже совершив что-нибудь хорошее, мы все копаемся друг у друга в сердце отмершей частью нашей души. А потому даже и того, кто служит добру,— кто бы он ни был, наш или их,— мы принимаем либо за глупца, либо

за лжеца. Мертвому не дано видеть живого, ему не дано понять его по-живому.

— Если все это верно,— тогда, значит, нам конец!

— Кто тебе это сказал? Для таких, как мы, может быть, и конец, но не для них.

— Не пойму! Ты же сказал, что и они и мы — одинаково мертвы.

— Это верно, однако, ты забыла о той живой половине, которая сохранилась в нас. Вот где разница! Мы по существу — сделаны, а они — сотворены. Мы сшиты на живую нитку, а они прошиты строчкой — той самой строчкой, которою владеет только природа. Ты знаешь, какой великий мастер природа? Они точно на извести замешаны, а мы какие-то рыхлые, дряблые. Ты только послушай, как они поют: это один сплошной протяжный стон, и все же он зовется песней. Наша песня — не стон, и все же мы не можем назвать ее радостью. Помнишь, что Паата говорил, когда приехал к нам в город в страшную слякоть, в метель, только для того, чтобы попросить три рубля. Я пошутил: «Бичо, как же это ты пустился в этакую даль, да еще в ненастье, из-за трех рублей?»— «Ай, батоно, откуда вам знать, что за фрукт хурма![1] — сказал он, не для того, чтобы обидеть, по грубости своей.— Как возвращусь отсюда, усталый, разбитый дорогою, весь в грязи, промокший до костей от дождя и снега, и завернусь, дрожа, в свое драное, старое одеяло, да залягу,— эх, как же я сладко засну! Вам никогда в жизни так не спать...» И действительно, сон для них — отдых, подлинное восстановление сил. А для нас он — баловство. От него у нас тело распухает и тяжелеет, точно в водянке, потому что и явь для нас то же самое,

[1] Грузинская пословица: «Откуда ослу знать, что за фрукт хурма».

что сон. Их живая половина — хорошо ли, дурно ли — все же деятельна, а наша предается праздности. Жизнь — в действии... Вот что в них хорошо, вот чем они лучше нас...

— А разве зверь не рыщет с утра до ночи в поисках добычи? Они — голодны, и разве так уж правильно воздавать им хвалу и славу за то, что они работают руками и ногами для того, чтобы быть сытыми? В человеке должно чувствоваться человеческое. Это важнее всего, только это достойно хвалы и славы.

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что они, как люди, хуже нас. Редко где встретишь такое жадное, неблагородное существо, такого предателя, как крестьянин: он жесток даже по отношению к своему же брату, крестьянину; столкнувшись с ним в нужде, он и его готов придушить, и его готов стереть с лица земли. Стоит ли говорить о других...

— Верю, я кое-кого из таких видел собственными глазами, кое о чем таком слышал собственными ушами. Но жизнь все же в них: у них в жилах кипит кровь, в них бьется пульс самой жизни. То, на что ты указываешь,— грязь, пена на кипящем котле жизни, всплывшая на поверхность. А на дне она чиста. Что же, в таком случае, выковывает из человеческого материала настоящего человека, каким был Георгий, или такую женщину, как Отараант-квриви? Хлеб такого качества можно испечь только в их тонэ. Наше же тонэ выпекает недопеченные лепешки, вроде нас с тобою. Я до сих пор не могу до конца осмыслить: что явилось нам в образе Георгия? Мы не умеем даже видеть и слышать, у нас и на это недостает сил, а там!.. Какая там таится созидательная сила!.. Георгий...

— Не напоминай! Мне так тяжело, когда я вспоминаю о нем, несчастном.

XX

ЗАРЯ ЗАНИМАЕТСЯ

Арчил оборвал разговор и зашагал по комнате.

Быть может, ему стало жалко Кесо, или он просто утомился и искал в движении передышки и успокоения... Но немного спустя он резко обернулся на полудороге и сказал Кесо:

— Нет, любимая моя сестра, ты на меня не обижайся,— история с Георгием не такая, чтобы можно было легко пройти мимо нее, отделаться от нее. Помнишь Григория Орбелиани? Как увлекались мы, читая его слова:

Скажите мне, друзья:
Что ценят в человеке?
Ужели знатностью
Лишь может он блистать?
О нет, поверьте мне:
От века и до века
В нем душу светлую
И ум высокий чтят![1]

— Почему ты заговорил об этом? — спросила Кесо.

Арчил задумался. Его поразила недогадливость Кесо.

— Твой вопрос удивляет меня, Кесо!

— В нем нет ничего странного,— ответила Кесо и опустила голову, словно этот ничего не говорящий ответ был неприятен ей.

— Значит, ты вышла бы замуж за Георгия? — неожиданно спросил Арчил.

Задел ли Кесо этот неожиданный вопрос, или не задел, но она долго не отзывалась.

Арчил ждал, сердце его билось. Кто знает, что он больше хотел услышать: да или нет? Арчил спросил во второй раз:

— Вышла бы?

---

[1] Перевод С. Амираджиби.

— Нет.

— И я поступил бы так же. Выходит, что если бы не происхождение...

— Не говори так! — крикнула гневно Кесо, и глаза ее загорелись.

— Не сердись, Кесо! Надо бесстрашно глядеть в глаза правде. В этом заключается человеческое достоинство...

— Я его не любила,— только и всего.

— Это именно и есть наша беда. Выходит, что книга для нас одно, а жизнь другое. Ты не полюбила его по той же причине, по какой не вышла бы за него замуж: он был крестьянин. Где же здесь «в нем душу светлую и ум высокий чтят!», которое нас так увлекало? В книге, но не на деле; на языке, но не в сердце. А что, если бы мы в книге прочли историю Георгия? — Какие великолепные, красноречивые речи произнесли бы мы с тобою, как распяли бы того, для кого знатность является мерилом оценки человека. Да что говорить о поклонении «светлой душе», если ты попросту даже не заметила любовь человека, а он, как потом оказалось, дышал одной тобою! Вот какая высокая стена между нами и ими! Эта каменная стена сложена из нашей же плоти и крови... Если нас спросить,— мы давно уже разрушили эту крепкую стену. Но чем же? Только заостренным, точно грань алмаза, отточенным книжной мудростью языком... Языком мы разрушаем ее, а сердцем цепляемся, сердце снова ее закладывает, гонит в вышину. Мы полулюди, и горе нам — отсечена лучшая наша половина.

— Арчил, это слишком...

— Кесо, милая, не прими резкость неприкрашенной моей речи за жестокосердие. В жизни не так уж часто приходится сталкиваться с явлениями, которые, открывая нам глаза, учат нас уму-разуму. Ведь мы заслуживали бы беспощадного уничтожения,

если бы у таких, как мы, не оказалось сил снести боль прозрения. Этого только нам недоставало!

— Так договаривай же! Режешь ты больно, а зашиваешь — точно гладишь. Говори!

— Ты знаешь, что такое был Георгий... Георгий — это большая книга, написанная по ту сторону моста. Повторяю: Георгий — книга, замечательная книга жизни, напечатанная совсем иными, непохожими на наши, буквами. Эта книга была нам раскрыта, но мы не умели ее прочесть. Чего-чего только ни читаем мы с тобою и тысячи нам подобных! Кто нынче не гордится славой книжника, а вот этой азбуки мы, оказывается, не знаем. Георгий — живой образ человеческого достоинства. «Само бессмертие заключено в душе прекрасной» [1]. Сколько раз мы с тобой говорили о том, как это превосходно звучит, как правильно сказано! Мы понимаем это в книге и, уж конечно, неустанно болтаем об этом. Но когда жизнь развернула перед нами живой образ этой души, мы ее не узнали: мы не увидали того, что, казалось, видели собственными глазами... Так ты не вышла бы замуж? За кого же? За «прекрасную душу»? Ты не любила? Кого же? Того, «чью душу светлую и ум высокий» чтить должны? Не любила того, чью душу «красота небесным лучом озаряет»? [2]

— Любовь не приходит по приказу.

— А разве роза расцветает по приказу солнца? Это должно было притти само собою, если бы, прости, оно не натолкнулось на слепое сердце, запечатанное девятью печатями сословных предрассудков. А что, если бы это был человек твоего круга? Кто знает, может быть, тогда и приказ подействовал бы? Во всяком случае, ты хоть догадалась бы о его любви, даже если бы он и на сотую долю не был ода-

---

[1] Цитата из стихотворения грузинского поэта-романтика Н. Бараташвили (1816—1845).

[2] Цитата из того же стихотворения Н. Бараташвили.

рен теми добродетелями, которыми был одарен Георгий. А тут его происхождение помешало раскрыться двери твоего сердца. Чистый луч прекрасной души бесплодно и тщетно озарял драгоценным своим блеском холодную стену. А ты и не заметила! Он же знал об этом и не роптал. Умирая, бросил нам кроткие слова: «Я не жалею, нет»,— бросил их нам в осуждение.

— Зачем ты так унижаешь меня! Довольно! — сказала Кесо и заплакала. Арчилу стало жалко ее, он подошел к ней и поцеловал в лоб.

— Это чистые слезы, я не хочу их осушать. Вот чем вы, женщины, лучше нас...

— Тем, что наши слезы льются, точно вода — хотим мы этого или не хотим? Довольно тебе смеяться! Измучилась я!

— О, хорошая моя! Иногда слезы, «подобно бесшумному дождю, дают плоды». Слезы не всегда — просто вода. Слезы иной раз — щит, а щит, поднятый во-время,— тот же меч, сказал кто-то.

— К чему ты это?

— Я радуюсь тому, что ты плачешь... Я бы тоже плакал, если бы смотрел только назад, в прошлое, как ты сейчас. Там, в прошлом — темно... ночь...

— И мост разрушен, разрушен мост! — с болью воскликнула Кесо.

— Вот я и хочу, чтобы все это увидали, я и хочу, чтобы все мы знали об этом. Ты теперь видишь, ты знаешь...

— Знаю и плачу.

— Вот потому-то я и радуюсь твоим слезам.

— Но что же впереди, Арчил, что впереди? — крикнула вдруг Кесо, ломая руки.

— Это слезами купленное знание сжигает, испепеляет все прошлое, но будущее наше, то, что впереди, пьет эту влагу и расцветает от нее. Когда же этих слез станет много, они сольются в реку, река

эта подымет большой плот, и тогда воссоединятся берега, восстановится разрушенная между нами связь. Это познание, купленное ценою слез, или слезы, озаренные познанием,— луч будущего, а луч ведь...

— Вестник зари, не так ли, мой хороший?

— Да, это так.

Брат и сестра радостно обнялись.

XXI

ЗОВЕТ

Осень, достигнув предела зрелости, взглянула в глаза зиме, а к лету вовсе повернулась спиною.

Мягкая, чарующая и теплом своим и прохладой, одновременно сухая и влажная, с синим небом, блещущим множеством звезд, осень — та самая мягкая и приятная осень, которою славится наш благословенный край — незаметно вдруг состарилась и поседела. Седина ее — иней.

По утрам иней стлался по горам и долинам, покрывал леса и поля. Но стоило солнцу в полдень взглянуть на него в упор,— иней таял, и жаждущая земля выпивала всю эту влагу, или вставал туманом, небо забирало к себе туман, и он странствовал по необозримым небесным глубинам и просторам, всплывая то тут, то там в виде пухлых облаков, белых, как хлопья ваты.

Пришла зима и принесла с собою снег. Как раз в рождественскую ночь он снова выпал обильно и белой, без единого пятнышка, скатертью устлал деревенские дороги и проулки.

Снег всею своей тяжестью лег на крытые соломой или черепицею крестьянские дома. Казалось, что прибранные им грязные крыши покрыты начисто вымытыми, белоснежными чадрами.

Ореховые деревья во дворах, фруктовые в садах и

огородах разукрасились хлопьями только что выпавшего снега. Нарядились в белое оголенные черные ветви. Изгороди деревенских проулков и ворота, крытые где лозой, где ветками колючего кустарника, застыли под плотным слоем снега, точно окованные белым покровом.

Перестал итти снег, и очень скоро ударил мороз. Все захолодало, заледенело. Дневное тепло, таившееся в ранее выпавшем снеге, все еще выбивалось капелью, но мороз подхватывал эти капли, и они, превратясь в ледяные сосульки, точно чурчхелы[1] свисали с ветвей, с заборов, с навесов и с крыш...

Ночь была не темная. Луна то выглядывала, сияя, из-за облаков, то снова куталась в них. Казалось, темные облака и лунный свет вступают в единоборство и попеременно терпят поражение.

Деревня давно спала тем глубоким сном, который и вправду дает подлинный отдых, а не только нежит. Замерли деревенский шум, дневные голоса и крики, замер и шорох человеческих шагов. На только что выпавшем, скованном морозом снегу не было видно человеческих следов... Деревня примолкла, и лишь изредка то тут, то там раздавался лай чрезмерно бдительной собаки.

Спали все, все... кроме одной.

Был дом, где не спала она одна. Темно было в этом доме, только краем одним в очаге тлел огромный огонь — вернее, не тлел, а как-то угрюмо дымил. Когда тускло светящаяся, обугленная поверхность его выбрасывала тоненький язычок пламени, на мгновение освещалась небольшая часть комнаты.

У очага, поближе к огню, лежала собака. Она сгребла горячую золу в кружок, подобрала передние и задние лапы и свернулась клубком; прикры-

---

[1] Чурчхелы — сласти, приготовляемые из орехов и виноградного сока, формой похожие на сосульки.

лась мохнатым хвостом, уткнулась в хвост и уснула. В некотором отдалении от собаки, у самого огня, постелив постель прямо на полу, крепко спала какая-то старуха. Рядом со старухой на тахте лежала давно прикованная к постели больная,— вся истаявшая, исчахшая, почти умирающая.

Она-то и не спала — одна во всей деревне.

— Кто зовет меня, кто?— повторяла про себя не знавшая сна больная, хотя нигде не было слышно ни единого звука, ни шороха.— Уходи, уходи! Куда зовет меня сердце? Куда тянет меня, зачем?

И больная бессильно заворочалась, заметалась.

— Доберусь ли?— спрашивала она себя.— Ах, нет уж сил сдвинуться с места! А что, если упаду на дороге и умру, и останется мой труп на растерзание псам? Зачем ты зовешь меня? Зачем? — теперь уже громким и скорбным стоном крикнула она кому-то и тотчас же покосилась на старуху, лежавшую у огня: не проснулась ли, не слышит ли?

Только собака приоткрыла глаза: сначала она глухо заворчала, но увидав, что это всего только хозяйка, а чужих нет, попрежнему уткнулась мордой в хвост и вновь беззаботно предалась сну.

Старуха спала так же крепко, как и раньше.

— Спит! — тихонько сказала больная.— И я скоро усну! Ангел смерти стучится в дверь. Усну и — слава богу! — не проснусь больше... Будет с меня!

Сказала все это больная и умолкла, как будто у нее перестало болеть то, что болело.

— Опять!.. Опять зовет!.. Сегодня день, когда он родился, родился сегодня!.. Иду, иду!

Сказала и с трудом приподнялась с постели. Одежда лежала тут же у изголовья. Натянула на ноги теплые носки, надела теплый ахалухи, поверх него накинула платье, повязала голову черной шалью, сползла с постели, сунула ноги в коши, но тут ею овладела слабость, и она не могла сдвинуться с ме-

ста. Пошатнулась и вновь уцепилась рукою за постель — не упасть бы!

Постояла немного в полной неподвижности, так и не разжимая руки. Оправилась несколько, дотянулась до палки, стоявшей у тахты, бесшумно вышла из дому. Миновала двор, шла дальше разбитой походкой, обеими руками тяжело опираясь на палку.

Когда больная вышла за ворота, в переулок, и увидела свеже-выпавший, без единого человеческого следа снег, она сказала:

— Нечистая, поганая человеческая нога еще не успела коснуться и осквернить этот безгрешный снег!.. Опять!.. Иду, иду!

От чуткой собаки не укрылось, что хозяйка покинула дом. Она поднялась, отряхнула раза два приставшую к шерсти золу, потянулась всем телом, размяла сначала передние ноги, затем задние, еще раз потянулась, зевнула и ленивой походкой поплелась за хозяйкой. Она вышла на дерепани, но хозяйки нигде не было видно. Спрыгнула со ступенек во двор, понюхала свежие следы на снегу и неторопливой мелкой рысцой пустилась по следу.

А старуха так и не почувствовала, что больная ушла украдкой. Она попрежнему крепко спала.

Как несхожи между собою были спящая и ушедшая! Недаром сказано: для кого жизнь — мать, а для кого — мачеха!

XXII

ПРОКЛЯТЫЙ ВОПРОС

Светало. Наступало рождественское утро.

Еще не совсем рассвело, когда два пастуха-тушина[1], взяв из овчарни в долине несколько больших

[1] Тушины — грузинское племя, населяющее Тушетию — часть Восточной Грузии.

баранов и голов пять годовалок, погнали их в деревню. «Наступил праздник, пост кончился, авось продадим!» Бараны семенили по снежной дороге, раскачивая свои курдюки. Пастухам было так холодно, что они сложили руки на груди и согревали их за пазухой, а впереди торчали палки, засунутые подмышки.

Дорога пролегала мимо деревенского кладбища, а затем сворачивала в проулок, к самой деревне. Едва они вышли на эту дорогу, как на кладбище раздался какой-то вой.

— Кто это воет?— спросил один.

— А что, кацо, если это гиена чью-нибудь могилу роет? Давай вспугнем, зачтется нам! — сказал другой и вынул из-за пояса пистолет.

Раздался выстрел — и вой на минуту утих, но вскоре послышался снова. Теперь к вою примешался визг.

— Пойду, посмотрю,— сказал один из тушинов и направился к кладбищу.

Он подошел довольно близко к тому месту, откуда доносились звуки, и увидел собаку, сидевшую на чьем-то могильном холме. Собака присела на задние лапы и, упершись передними в землю, жалостно выла, вытянув морду к деревне.

Удивился пастух. Подошел ближе — и остановился, словно вкопанный. Позади собаки лежало тело мертвой женщины. Она упала поперек могилы, так что по эту сторону могильного холма торчали ее ноги, кончики пальцев судорожно уперлись в землю, а руки перекинулись через холм, как будто она хотела в едином объятии прижать к груди и могилу, и камень на ней, и мертвеца.

Пораженный ужасом, тушин окликнул товарища. Но товарищ не отозвался. Он успел уже завернуть в проулок и не слышал зова.

«Что привело ее сюда, в этот холод? И отчего

она умерла?» — думал он по пути, уходя с кладбища.

Он догнал товарища и рассказал ему о том, что ему довелось увидеть.

— Гляди-ка, собака не бросила хозяина! — воскликнул товарищ.— Благословенное животное. Молодец пес, молодец!

Пастухи, особенно тушины, знают цену этому верному и, правда, достойному всяческой хвалы четвероногому.

Рассказали о виденном в деревне. Хоть и праздничный был день,— рождество,— все от мала до велика, мужчины и женщины кинулись к кладбищу.

В мертвой женщине признали Отараант-квриви. Могила (нужно ли говорить об этом?) была могилой Георгия.

А собака? Но кому дело до собаки?

Поднялся шум, крики. Кто говорил одно, кто другое. Было о чем поговорить!

Пошли толки. За пересудами забыли о том, что не худо бы как-нибудь позаботиться о покойнице. Все жадно прислушивались к тому, кто что сказал, и, увидав кучку беседующих или уловив краем уха отрывок оживленного разговора, торопливо стремились туда же.

— Сломало ее, эту железную женщину! — говорили одни.— Упало и это дерево, хотя могучие были у него корни.

— Тяжело потерять единственного сына! И какого сына! — толковали женщины.— Вот что надломило и погубило эту несокрушимую женщину.

Многие выражали сожаление, что Отараант-квриви окончила жизнь так печально, но оплакивать ее было некому. Трудно неоплаканной уходить из этого мира. Впрочем, что же? «Кто умер — для себя умер»,— говорят крестьяне. Разве это не правда?

Нет, бывает, что и не правда! Был один человек, считавший, что умерла она не только «для себя», но и для него. То был Сосия-мельник. Лет тридцать тому назад полюбил он эту женщину, когда она была еще девушкой. Сосия посватался к ней, но его не сочли достойным. Так с тех пор на всю жизнь он ни разу не пожелал другой и ни к кому больше не влеклось его сердце.

Когда Отараант-квриви овдовела, в душе его ещё раз возникла надежда жениться на ней, но он говорил себе:

— Она потеряла такого мужа, которому я и в подметки не гожусь! Нет, не хватит у меня смелости, нет!

Сказал — и из уважения, из благоговения уже не подходил близко к Отараант-квриви.

Теперь Сосия-мельник упал на колени перед бездыханным телом вдовы и, сжимая ее мертвую руку, тихо всхлипывал.

— Вставай, что воешь, как собака бездомная! — крикнул на потеху товарищам молодой крестьянский парень.— Тоже еще затесался промеж людей! Тебе-то что?

— Не говори так, сын,— кротко, как всегда, ответил старик сквозь рыдания.— Всякий в чужом бою мудрец...

Возможно, что Сосия прибавил бы еще что-нибудь, но в эту минуту принесли наскоро сколоченные носилки и, когда подошли, чтобы положить на них покойницу, кто-то споткнулся о ногу мельника и рассердился.

— Это еще откуда? Путается, бродяга, под ногами! — сказал он и, крепко ударив старика ногою, добавил: — Уходи, убирайся отсюда!

Старик упал в снег, оскорбленный, униженный. Кое-как поднялся и, отряхивая полы овчины, сказал тому, кто его толкнул:

— Не дала мне судьба живой порадоваться, а вы не даете оплакать и мертвую! Горькая судьба моя, сынок, горькая! Пожалей меня!

И вправду, как не пожалеть?

Но чья на свете судьба не достойна жалости?

Вот еще один из проклятых вопросов в этом преходящем, неустроенном, неправедном мире!

6 декабря 1887 года.

КОММЕНТАРИИ

«ЗАПИСКИ ПРОЕЗЖЕГО»

«Записки проезжего» написаны в 1861 г. по возвращении писателя из России на родину после четырехлетнего пребывания в Петербурге (Ленинграде), где он учился в университете на юридическом факультете.

В «Записках проезжего» Илья Чавчавадзе высказывает мысли и чувства не только свои личные, но и всего тогдашнего грузинского молодого передового поколения, так называемых «тергдалеули», что значит в переводе «испивший воды из реки Терека», т. е. переступивший историческую границу Грузии.

«Тергдалеули» в грузинской общественной жизни уже с сороковых годов XIX столетия называли молодых грузин, получивших образование в России, воспринявших новую буржуазную культуру и испытавших влияние русской передовой интеллигенции.

По возвращении на родину «тергдалеули» чувствовал отсталость грузинской общественной жизни и мысли, в которых все еще господствовали вкусы и требования отжившего феодального класса с его косными нравами и обычаями. Борьба, возникшая между молодым и старым поколениями грузинского общества, принимает определенную форму лишь с начала шестидесятых годов, сейчас же по приезде Ильи Чавчавадзе в Грузию. С 1861 г. эта распря выявляется как в общественной, так и в литературной, в художественной и в публицистической жизни. Она получила название «борьбы между отцами и детьми».

В этой борьбе «тергдалеули» со старым поколением, бес-

спорно, сказалось влияние борьбы между «отцами» и «детьми» в русской общественной мысли. Надо отметить, что в грузинской общественной мысли и литературе борьба между «отцами» и «детьми» не приняла таких широких размеров, как это имело место в русской общественности и литературе. Это объясняется, главным образом, двумя обстоятельствами: 1) социально-экономическая жизнь (развитие капитализма) в Грузии все еще была на низкой ступени развития и 2) почти все «тергдалеули» были выходцами из дворянского класса. У них не было тех революционных настроений, какими характеризовался передовой русский «разночинец». Несмотря на это, «тергдалеули» в значительной мере восприняли идеи крупных представителей русской разночинно-революционной интеллигенции: Н. Чернышевского, Н. Добролюбова и др. Это влияние отразилось как в художественных, так и в публицистических произведениях Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Георгия Церетели, Нико Николадзе (последний сотрудничал в известном журнале А. Герцена «Колокол», под псевдонимом Рионели) и других.

В «Записках проезжего» Илья Чавчавадзе намечает основные положения своей (и всего молодого поколения шестидесятых годов,— «тергдалеули») литературной и практической деятельности. В поэтическом сопоставлении Мкинвари (гора Казбек) и Терека Илья Чавчавадзе выявляет стремления обновить затхлую атмосферу грузинской общественной жизни, разбудить от глубокой спячки грузинское общество.

Создавая образ невежественного, глупого и наглого русского офицера-собеседника, Илья Чавчавадзе очень смело издевался над бюрократическим строем царской России с ее великодержавным шовинизмом. Социально-политической действительности своего времени писатель противопоставляет старинные патриархальные обычаи, народный общественный уклад с выборными советниками. Эту идеализацию старины Илья Чавчавадзе выражает устами крестьянина-мохевца. «Записки проезжего» автору удалось напечатать, и то с большими цензурными пропусками, лишь в 1871 г. в журнале «Кребули» («Сборник»), в №№ 2 и 5. Цензура коснулась, главным образом, критики русской бюрократической системы в первой главе и тех «опасных мест», где автор показывал русский великодержавный гнет.

В 1892 г., при жизни автора, издательством «Товарищество Грузии» «Записки проезжего» были напечатаны в четырехтомном Собрании произведений Ильи Чавчавадзе. В этом издании удалось восстановить первую главу и некоторые, ранее цензурой пропущенные, места. В 1912 г. «Записки про-

езжего» были изданы отдельной книжкой «Обществом распространения грамотности среди грузин».

Полное издание этого произведения вышло в свет лишь после смерти поэта, уже при советской власти, в 1926 г., в издании «Грузинской книги», во втором томе Собрания сочинений Ильи Чавчавадзе под редакцией П. Ингороква и Ал. Абашели. На русский язык «Записки проезжего» переводятся впервые.

«РАССКАЗ НИЩЕГО»

Первоначальный вариант «Рассказа нищего» относится к студенческим годам (1858—1859) автора. В первых набросках, под названием «Како» и «Кола», охвачен материал, который писателю не удалось уместить на полотне одного произведения и который впоследствии вылился в три прекрасные повести: «Несколько картин или эпизод из жизни разбойника», «Рассказ нищего» и «Кациа-адамиани?» («И это человек?»). Есть предположение, что первый вариант «Рассказа нищего» Илья Чавчавадзе закончил еще в студенческие годы в Петербурге (в 1859 г.), но окончательная редакция, по свидетельству самого автора, была завершена в 1862 г.

Кроме того, следует отметить, что в «Рассказе нищего» устами священника проводятся новые для Грузии демократические идеи народнического типа.

Может показаться странным, что Илья Чавчавадзе, вовсе не отличавшийся клерикальностью, создал «идеальный» образ священника. В почти одновременно написанном произведении «Тень» автор изображает попов как лицемеров, поддерживающих эксплоатацию крестьян помещиками.

Возможно, показывая как редкое явление честность и сочувствие крестьянам со стороны священника-одиночки, автор хотел еще сильнее оттенить типичные отрицательные стороны деятельности духовенства.

«Рассказ нищего» имел огромное влияние на прогрессивную часть тогдашнего грузинского общества, прежде всего, благодаря яркой обрисовке тяжелого и бесправного положения крепостного крестьянства (Габро, Пепия, Тамро), а также очень смелому, по тем временам, изображению необузданного помещика-крепостника, эксплоатирующего крестьян (Датико). Отчасти значение повести было ослаблено тем обстоятельством, что «Рассказ нищего» был напечатан целиком лишь в 1873 г., спустя 7—8 лет после отмены крепостного права в Грузии.

Илья Чавчавадзе понимал, что дворянская интеллигенция Грузии не может подойти с должной непосредственностью к

народу, к крестьянским массам. Будучи идеологом либерального дворянства, он учел возрастающую роль грузинских разночинцев, в частности выходцев из низового духовенства, еще не совсем отошедшего от крестьянских масс. С семидесятых годов на арене грузинской общественной и литературной деятельности стали появляться народники именно из духовного сословия: Мих. Асатиани, Нико Ломаури, Захарий Гужеашвили, Нико Хизанишвили, Степ. Чрелашвили и другие. Представители отсталого дворянства иронически называли этих народников то «детьми попов», то «детьми дьячков». Конечно, эти народники ничего общего не имели с настоящим революционным движением. Но даже при наиболее резко критическом отношении к народничеству следует отметить, что литература указанного типа все же сыграла в ту пору до известной степени положительную роль, поскольку она выступала против пережитков помещичье-дворянского строя. Есть факты литературно-биографические, показывающие, что эти народники-грузины, еще учась в духовной семинарии, увлекались литературным образом священника, созданным Ильей Чавчавадзе. «Если уж избрать деятельность священника, то, по крайней мере, надо следовать по пути священника Ильи Чавчавадзе»,— говорили увлеченные желанием быть полезными для народных масс семинаристы, будущие народники (М. Асатиани — «Я и Онисим»).

Печатание «Рассказа нищего», как и большинства произведений Ильи Чавчавадзе, было сопряжено с цензурными затруднениями. «Рассказ нищего» был впервые напечатан (и то лишь пять глав, больше цензура не пропустила) в основанном самим Ильей Чавчавадзе журнале «Сакартвелос Моамбе» («Вестник Грузии»), в № 1 за 1863 г.

Журнал «Сакартвелос Моамбе», просуществовавший лишь один год, был органом молодого передового поколения тогдашнего грузинского общества. Илья Чавчавадзе и его единомышленники старались уподобить свой журнал «Современнику». Характерно, что в нем часто цитировались произведения Белинского и Чернышевского.

Полностью «Рассказ нищего» был напечатан лишь в 1873 г. в №№ 1—3 журнала «Кребули» («Сборник»). При жизни автора вышли два отдельных издания: в 1879 г. оттиск из журнала «Кребули» и в 1892 г.— во втором томе сочинений Ильи Чавчавадзе издания «Товарищества Грузии» в Тифлисе. Затем несколько раз «Рассказ нищего» был выпущен «Обществом распространения грамотности среди грузин» в виде популярных изданий. В 1926 г. он появился во втором томе выпущенного под редакцией П. Ингороква и Ал. Абашели Собрания сочинений Ильи Чавчавадзе.

На русский язык «Рассказ нищего» был переведен в 1910 г. бр. Джапаридзе под редакцией проф. Ал. Хаханова и напечатан под названием «Разбойник Габро» издательством «Универсальной библиотеки».

«И ЭТО ЧЕЛОВЕК?»

«И это человек?» — «Кациа-адамиани?», — одно из лучших произведений Ильи Чавчавадзе, вызвало в свое время много шуму. Это была едкая и талантливая сатира на грузинское дворянство, разлагающееся от бездействия и отсталости. Помещики-крепостники, беспощадно изображенные писателем, проявляют уверенность в том, что труд для дворянина — постыдное дело, что для работы созданы крепостные крестьяне и что в этом и заключается основное различие между ними и дворянством. Кахетинский князь Луарсаб Таткаридзе и его жена Дареджан являются типичными для шестидесятых годов образами старой, уходящей Грузии. Поэтому реакционное грузинское дворянство было особенно возмущено этим произведением.

Некоторые грузинские критики, например, Кита Абашидзе, сопоставляли «Кациа-адамиани?» со «Старосветскими помещиками» Гоголя. Но у Чавчавадзе проявляется не мягкий юмор, характеризующий «Старосветских помещиков», а негодование, возмущение, беспощадное обличение недугов своих героев.

В вариантах предисловия к «Кациа-адамиани?», написанного как бы в ответ на клеветнические выпады представителей реакционного дворянства, автор говорит: «Меня радует, что он на вас похож и вы на него»[1].

Над «Кациа-адамиани?» Илья Чавчавадзе работал с 1858 по 1863 год. Первые наброски, относящиеся к студенческим годам (1858—1859), известны под названием «Како» (см. комментарий к «Рассказу нищего»). Но уже в этой рукописи автор, намечая лишь общие контуры повести, дает характерные черты главных героев.

Как отдельное самостоятельное произведение Илья Чавчавадзе закончил «Кациа-адамиани?» в 1863 г. в Тифлисе. Следует подчеркнуть, что в Грузии крепостное право тогда еще не было отменено.

Впервые повесть была напечатана в том же 1863 г. в журнале «Сакартвелос Моамбе» («Вестник Грузии»). Затем она была перепечатана в виде отдельных изданий:

---

[1] Эти варианты были напечатаны лишь в 1926 г. во втором томе Полного собрания сочинений Ильи Чавчавадзе.

1. В 1869 г. в Петербурге (изд. М. Бетанишвили).

2. В 1880 г. в Тифлисе (изд. магазина «Общества грузинской книги»).

3. В 1892 г. в Тифлисе (изд. «Товарищества Грузии»).

4. В 1914 г. в Тифлисе (изд. «Общества распространения грамотности среди грузин»).

5. В 1926 г. в Тифлисе (изд. «Грузинской книги», во втором томе Полного собрания сочинений Ильи Чавчавадзе).

На русском языке имеется перевод А. Неймана (Закгиз, Тифлис, 1936, стр. 119).

«СЦЕНЫ ИЗ ВРЕМЕН ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЕСТЬЯН»

В этом произведении автор изображает первые годы после освобождения крестьян от крепостной зависимости и земельных размежеваний помещиков и крестьян.

Образы крестьянина Глаха Чриашвили и вдовы-дворянки получили особенно широкую популярность среди прогрессивно настроенной части грузинского общества. Оба они представляли собою явления, типичные в условиях крепостного права. Крестьянина Глаха Чриашвили вечно понукали, эксплоатировали, не давали ему возможности подумать, собрать свои мысли, обрекли на полуголодное, полухолодное, бесправное существование. Имя «Глаха Чриашвили» сделалось нарицательным именем для человека, который что-то бессмысленно лепечет ни к селу, ни к городу, как говорится, повторяется и никак не может выразить, чего же он хочет. Чрезвычайно ярко дан тип невежественной и вздорной вдовы-дворянки, привыкшей жить за счет рабов и яростно отстаивающей «права» помещиков.

Изображая добрососедские отношения между старым помещиком и крестьянином Иако Шайашвили, автор проявляет основную тенденцию своего мировоззрения: в реальной действительности, в социально-бытовых условиях найти основания для мирного сближения освобожденного от крепостной зависимости крестьянина и бывшего господина-дворянина.

«Сцены» пользовались большим успехом в грузинском театре. Начиная с восьмидесятых годов, они почти не сходили с театральных подмостков.

Они написаны в 1865 г., по всей вероятности, в г. Душети, в Карталинии, где после обнародования царского манифеста «Об освобождении крестьян в Грузии» автор сам работал в качестве мирового посредника.

Следует подчеркнуть, что крепостное право было отменено в Грузии позже, чем в России, и не сразу: в 1864 г. 8 октяб-

ря манифест был объявлен по Тифлисской губернии; в 1865 г. 8 октября — по Кутаисской губернии; в 1866 г. — по Мингрелии и Абхазии и в 1869 г. — по Верхней Сванетии.

Такое запоздание проведения реформы царское правительство объясняло тем обстоятельством, что местные власти не сумели во-время подготовиться для ее проведения. Но дело было не только в этом: царское правительство боялось взбудоражить только что «умиротворенную» путем жестокой колониальной политики страну.

Изображенный в «Сценах» эпизод, повидимому, основан на непосредственных личных наблюдениях Ильи Чавчавадзе. Биографические данные говорят, что сам автор, будучи мировым посредником в г. Душети, принимал живейшее участие в деле урегулирования взаимоотношений между крестьянами и помещиками. При его непосредственном участии составлялись так называемые уставные грамоты, о которых говорится в тексте.

Впервые «Сцены» были напечатаны в 1865—1866 гг. Во второй раз — в 1892 г. «Товариществом Грузии» и в 1926 г. во втором томе Полного собрания сочинений Ильи Чавчавадзе.

Известный грузинский публицист Нико Николадзе перевел «Сцены» на русский язык и напечатал их в 1883 г. в журнале «Изящная литература» (№ VI).

«У ВИСЕЛИЦЫ»

Точной даты написания рассказа «У виселицы» нет. Он знаменует поворот в творчестве Ильи Чавчавадзе, происшедший в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов. Его творческая деятельность в этот период теряет то боевое направление, которое характеризовало автора в шестидесятых годах. Этот перелом имеет глубокие корни в социально-политической реакции, охватившей всю тогдашнюю Российскую империю.

Грузия особенно страдала от репрессий и военно-бюрократического произвола. Возможности борьбы с реакцией в Грузии было еще меньше. Экономическое положение народных масс представляло самую мрачную картину. На развалинах старого натурального хозяйства капитализм лишь начинал развиваться. Вместе со многими другими грузинскими шестидесятниками Чавчавадзе перешел к восьмидесятым годам на умеренные, либерально-национальные позиции. Социально-экономические идеи Ильи Чавчавадзе оказались в новых условиях уже совсем неподходящими. Время заметно опережало писателя, и он стал замыкаться в узком круге личных переживаний. С начала восьмидесятых годов Чавчавадзе как бы

оставил на время в стороне злободневные вопросы грузинской действительности.

В рассказе «У виселицы» Илья Чавчавадзе, изображая двух братьев-разбойников, стремится разрешить проблему «преступления и наказания». Мнение автора высказано в письме младшего брата-разбойника к крестьянину Петрэ. Он проводит мысль, что преступление человека определяется его бытием. Не преступник должен быть осужден, а общественные условия и само общество, которое толкает человека на преступление.

Такой детерминистический взгляд на преступление в грузинской литературе впервые высказан Ильей Чавчавадзе.

Рассказ «У виселицы» впервые был напечатан в редактируемом самим автором ежемесячном журнале «Иверия» («Грузия»). Во второй раз он был напечатан «Товариществом Грузии» в 1892 г. в третьем томе Собрания сочинений Ильи Чавчавадзе. В 1914 г. вышло отдельное популярное издание «Общества распространения грамотности среди грузин». В последний раз «У виселицы» было напечатано в 1926 г. в третьем томе Полного собрания сочинений Ильи Чавчавадзе.

Русский перевод рассказа «У виселицы» печатается в данном сборнике впервые.

«НИКОЛОЗ ГОСТАШАБИШВИЛИ»

Этот рассказ закончен в 1887 г. Впервые он был напечатан в 1892 г. в Собрании сочинений Ильи Чавчавадзе, изданном «Товариществом Грузии».

«Николоз Госташабишвили» представляет фрагмент воспоминаний Ильи Чавчавадзе. Повидимому, автор хотел облечь свои воспоминания в художественную форму и, поставив себя в центре, широко изобразить грузинскую социально-бытовую жизнь и выявить свое мировоззрение.

Но, очевидно, начатая работа не удовлетворяла автора (возможно, что жанр воспоминаний оказался ему не по нутру), и он оборвал ее.

Русский перевод «Николоза Госташабишвили» впервые печатается в данном сборнике.

«ВДОВА ИЗ ДОМА ОТАРОВА»

Повесть «Вдова из дома Отарова» («Отараант-квриви») написана в 1887 г. и представляет собою последнее крупное произведение Ильи Чавчавадзе. Этим произведением он как бы завершает свою плодотворную литературную деятельность,

Здесь Илья Чавчавадзе выразил свою заветную, но заведомо ошибочную, идею мирного сосуществования крестьян и помещиков. Стремясь создать цельную, политически свободную Грузию, он постоянно ставил вопрос о возможности сгладить классовые противоречия.

Хотя Илья Чавчавадзе и не сходил всю жизнь с позиций либерального дворянства, но все-таки видел, что крестьянская жизнь и после отмены крепостного права остается лишенной благополучия. Вопрос о том, как надо устроить «освобожденного» крестьянина, свои взгляды по этому вопросу Илья Чавчавадзе привел в систему в социологическом трактате «Жизнь и закон».

Он настойчиво рекомендовал не обострять взаимоотношений между сословиями. Если эти противоречия и существуют, надо постараться сгладить их. Неотложной задачей Илья Чавчавадзе считал — устроить «освобожденного» крестьянина, сделав его мелким собственником земли. Идеалом писателя был труженик-крестьянин, честно и рационально работающий на земле, честно и упорно отстаивающий свои права, как это умела делать его героиня Отараант-квриви.

«Отараант-квриви» Илья Чавчавадзе написал спустя почти двадцать три года после освобождения крестьян. И грузинские крестьяне и помещики под влиянием новых условий жизни изменились. Хотя представители помещиков — Арчил и Кесо — культурные и образованные люди, далеко ушли вперед от Луарсаба и Дареджан из повести «Кациа-адамиани?», все же сближение между ними и даже самым лучшим представителем крестьянства на деле оказывается невозможным. Однако автор все-таки выражает надежду, что в будущем грузинские сословия все же примирятся; между ними образуется мост, и они сольются в единую нацию.

Такая перспектива классового мира в Грузии, данная в повести, конечно, была совершенно абстрактной и необоснованной. Потому ее финал получился неестественным. Весь длинный растянутый диалог между Арчилом и Кесо полон изощренных и все-таки совершенно неубедительных доводов. Стремясь во что бы то ни стало обосновать свою абстрактную тенденцию, автор впадает в явные противоречия. Художественное чутье как бы разошлось с мировоззрением автора. Заметив это, автор круто поворачивает, отчего нарочитая тенденция еще более обнажается, нарушая цельность художественного восприятия.

Впервые повесть была напечатана в 1888 г. в газете «Иверия» (№№ 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14). Газета «Иверия», так же как и одноименный журнал, издавалась под редакцией самого Ильи Чавчавадзе. В 1892 г, «Товарище-

ством Грузии» «Вдова из дома Отарова» была издана в третьем томе Собрания сочинений Ильи Чавчавадзе. В 1912 г. повесть была издана отдельной книжкой «Обществом распространения грамотности среди грузин», а в 1926 г. она была напечатана в третьем томе Полного собрания сочинений Ильи Чавчавадзе. На русском языке печатается впервые.

Проф. *М. Зандукели*

ПРИМЕЧАНИЯ

«ЗАПИСКИ ПРОЕЗЖЕГО»

К стр. 7. «*Эти четыре года были... волоском, который судьба, точно мост, перекинула между светом и тьмою*».

По старым народным представлениям (ср. гл. VIII «Вдова из дома Отарова», стр. 330), мост из волоска перекидывался для человека после смерти, при переходе от земной жизни в загробную. Если человек проходил так, что мостик из волоска не обрывался, значит он оказывался праведным и попадал в рай, а если волосок обрывался, следовательно, он был отягчен грехами и попадал в ад. Это поверье, часто встречающееся в грузинском фольклоре, по всей вероятности, имеет апокрифическое происхождение и зародилось на почве смешения христианства с язычеством. Илья Чавчавадзе часто прибегал к народным изречениям. Он пользуется и этим поверьем, употребляя его аллегорически, применительно к действительности.

«РАССКАЗ НИЩЕГО»

К стр. 57. «*Майдан и мяч*».

Среди грузин игра в мяч распространена с давних пор. Обычно она устраивается во время празднеств. Участники игры делятся на две партии. Руководитель игры подбрасывает мяч, которым надо овладеть и принести его к намеченному заранее месту. Игра происходит на ровном месте, на полянке или площади, по-грузински — «майдан».

К стр. 63. *Поэма Руставели.*

Поэма Шота Руставели «Вепхис ткаосани» («Носящий тигрову шкуру») изобилует гениальными изречениями, данными в высоко-поэтической форме, имеющими характер афоризмов, переходящих из рук в руки, словно жемчужина. Благодаря художественности этих афоризмов, они имели и имеют большое распространение в Грузии. Поэты и прозаики постоянно пользуются цитатами из «Носящего тигрову шкуру» в качестве эпиграфов или вставных частей для своих произведений. Илья Чавчавадзе часто прибегает к этому неиссякаемому поэтическому источнику. Поэма Шота Руставели впервые была напечатана царем Вахтангом VI в 1712 г. в Тифлисе. С тех пор она издавалась еще двадцать восемь раз. В настоящее время созданной правительством СССР комиссией готовится академическое издание к 750-летнему юбилею со дня рождения Ш. Руставели (1187—1937). Поэма «Вепхис ткаосани» давно уже привлекла внимание иностранцев. Имеются частичные и полные переводы на английский, немецкий, французский, польский, армянский и другие языки. Есть три полных перевода ее на русский язык: Константина Бальмонта, Георгия Цагарели и П. Петренко при участии Б. Брика. Кроме того, ряд песен поэмы переведен Сандро Канчели, С. Шарти, С. Клычковым, О. Румером.

«И ЭТО ЧЕЛОВЕК?»

К стр. 136. Гл. II. *«А вот я, ежели я грамоты не знаю, не человек я, что ли, и шапки нет у меня на голове?»*

Это выражение весьма распространено в Грузии. По всей вероятности, оно основано на обычае ходить всегда в шапке. В старину ходить с обнаженной головой не полагалось ни мужчинам, ни женщинам. Шапка на голове была символом благородства, степенности, достоинства, непорочной совести человека. Шапку не снимали даже при поклонах. Поэтому, желая кого-нибудь оскорбить, силой обнажали ему голову. Отсюда и пошло распространенное выражение, часто употребляемое Ильей Чавчавадзе.

К стр. 164. Гл. IV. *«О господи, отчего не смоет их потоп! Князья превратились в армян, совсем армяне».*

Как здесь, так и в других художественных произведениях Ильи Чавчавадзе, где встречаются армяне, имеются в виду армяне не как нация, а как купцы-торговцы. В Грузии торговлей издавна начали заниматься армяне, которые, страдая от гнета завоевателей-иранцев на протяжении

ряда веков, эмигрировали из Армении. Не только грузинская феодальная знать, но и вообще грузинское дворянство всегда отрицательно, свысока относились к торговцам-армянам, считая торговлю недостойным для себя делом. Старое грузинское дворянство так и сошло с исторической сцены, не примирившись с торговлей, с буржуазным укладом. Будучи представителем либерального дворянства, Илья Чавчавадзе порицал, особенно во вторую половину своей литературно-общественной деятельности, архаическое отношение грузинского дворянства к торговле, к развитию капитализма. Герои повести — Луарсаб, Дареджан и Елисабед — потрясены вестью о том, что их сосед, князь Леван, дает свои арбы в наем. Такой поступок Левана они все в один голос считают позором, унижением княжеского достоинства.

К стр. 180. Гл. VI. *«Ее называли «лже-княгиней», потому что злополучный ее муж всю свою жизнь «искал княжества», — добивался восстановления своего княжеского титула, — да так ничего и не добился».*

После присоединения Грузии к России правительством царской России был отменен заключенный первоначально договор о сохранении вассального положения грузинского царства. По манифесту 12 сентября 1801 г. Грузия была превращена в обыкновенную русскую провинцию. Захват Грузии Российской империей был сопряжен с огромными трудностями. За короткий период произошел целый ряд крупных восстаний — в 1804, 1813, 1820, 1832, 1841 и др. годах, — беспощадно подавлявшихся русскими властями. К началу сороковых годов правительство царской России захватило почти всю территорию Восточной и Западной Грузии и почувствовало себя в Грузии прочно. Оно решило несколько умереннее проводить свою великодержавную политику. Новый наместник на Кавказе, кн. М. С. Воронцов, счел целесообразным опираться на привилегированный класс — грузинское дворянство. Для того чтобы задобрить грузинских дворян, им стали возвращать различные правовые, а также и имущественные привилегии, решили приравнять их к русскому дворянству. Особая комиссия в 1845 г. начала регистрировать дворян и князей. Некоторые лица, потерявшие документы или даже никогда не имевшие дворянского или княжеского звания, упорно добивались получения его. На этой почве в Грузии имели место подделки документов, привлечение лжесвидетелей. Подобные «искания» нередко тянулись десятки лет, а иногда даже передавались из поколения в поколение. Грузинские аристократы претендентов на дворянское или княжеское звание иронически называли «ищущими».

К стр. 191. Гл. VII. *«Таковы были соображения лже-княгини, когда она въезжала на арбе в деревню Гдзеладзе с видом богомолки, поспешающей к празднику в какой-то древний храм, на всенощное бдение».*

Обряды храмовых праздников носили не столько христианский, сколько языческий характер. Хотя в день храмового праздника совершались богослужения, но это была лишь официальная сторона. Празднование шло по обычаям старины: совершались жертвоприношения, затевались игры, шли кутежи. На храмовые праздники приезжали не только с целью повеселиться и отдохнуть от тяжелого труда, но также для всевозможных деловых встреч, торговых и прочих сделок.

К стр. 211. Гл. IX.

Кейн — шах Ирана (по имени легендарной Кеянской династии). «Кееноба» — массовое народное развлечение, устраиваемое повсеместно в Грузии в первый понедельник великого поста. Оно сопровождалось переряживанием, уличными карнавальными шествиями и разными забавами. «Кееноба», по всей вероятности, представляет остаток древних языческих празднеств, знаменовавших переход от зимы к весне. Но в Грузии этому празднеству придавали и народно-национальный характер. Необходимо учесть, что шахи Ирана в течение многих веков часто нападали на Грузию и разоряли страну. Грузии, несмотря на численное превосходство иранцев, не раз удавалось освобождаться из-под иранского ига.

Празднество «кееноба» грузины связывали с надеждой на освобождение не только от иранского, но и вообще от вражеского гнета. «Кееноба» устраивали с целью пропаганды идеи освобождения Грузии. Это празднество было широко распространено в Грузии и сохранилось вплоть до XX века, несмотря на то, что после назначения царским наместником кн. Барятинского оно стало запрещаться.

«СЦЕНЫ ИЗ ВРЕМЕН ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЕСТЬЯН»

К стр. 245.

«Хевис-бери» означает — старейший из «Хеви», т. е. из ущелья, из родовой общины племени. Хевис-бери обладал законодательной, судебной и исполнительной властью, распространявшейся на всех в «Хеви». Его распоряжения не подвергались ни обсуждению, ни апелляции.

Постепенно значение хевис-бери уменьшалось. Но среди

отсталых грузинских горских племен (главным образом в Хевсуретии) они существуют и сейчас кое-где в качестве исполнителей жертвенных обрядов и проч.

К стр. 250. *Законы царя Вахтанга.*

Когда царь Георгий XI «Кизилбаши» был назначен шахом Ирана Гусейном военачальником над всеми иранскими войсками (см. примечание к «Николозу Госташабишвили», стр. 400) и направлен против афганских повстанцев, его племянник, Вахтанг VI, сделался в 1701 г. карталинским правителем, а затем и царем Карталинии. Он стремился ликвидировать феодальное дробление Восточной Грузии.

Он задумал создать соответствующие времени законы, взамен устаревших кодексов. Для этой цели он созвал особую комиссию, которая работала под его руководством.

Законы Вахтанга VI предназначались преимущественно для урегулирования взаимоотношений грузинских феодалов, враждовавших между собою. С законами Вахтанга VI пришлось отчасти считаться и русским властям при переустройстве жизни Грузии в течение XIX века.

«У ВИСЕЛИЦЫ»

К стр. 274. *Тукурмишская школа.*

Тукурмиши — поселок в Грузии, в бывшем Борчалинском уезде Тифлисской губернии. После присоединения Грузии к России в Тукурмиши с шестидесятых годов XIX столетия стоял русский полк. При полку была военная школа, куда на полный пансион за счет государства забирали детей дворян и князей, обучали их и из них создавали обрусевшие военные кадры. Преподавание в этой школе велось только на русском языке. В ней господствовал грубый казарменный режим.

К стр. 279. *Авлабарский майдан.*

Авлабар — старая часть Тбилиси, до установления советской власти в Грузии сохранившая архитектуру и архаический восточный колорит быта. В средине Авлабара была большая площадь — майдан. Туда как местные купцы-торговцы, так и крестьяне из деревень привозили товары на продажу и на обмен. На этом майдане можно было встретить не только грузин, но и армян, татар, русских, греков и представителей других народов.

К стр. 279. *Махата* — гора на восточной окраине Тбилиси.

Еще в первой половине XIX столетия на Махатской горе и у ее подножья устраивались различные народные игры, состязания, развлечения. Там же русские власти в XIX веке публично вешали осужденных на казнь. Это делалось «в назидание народу». Несомненно, Илья Чавчавадзе имел в виду показать всю мерзость и бесчеловечность такого мероприятия царских властей.

«НИКОЛОЗ ГОСТАШАБИШВИЛИ»

К стр. 296. Гл. II. *Георгий XI «Кизилбаши»*.

«Кизилбаши» в переводе значит красноголовый (слово тюркское). Так называли в XVII веке, при династии Сефевидов, иранцев, потому что состоявшие на иранской службе тюркские войска ходили в красных шапках. Кизилбашами называли также грузин, перешедших на сторону шаха Ирана или находящихся у него на службе.

Георгий XI — царь Грузии, точнее — Карталинии (части Восточной Грузии), жил в конце XVII и в начале XVIII вв. Грузия в это время находилась под сильным влиянием Ирана. На грузинский престол вступал тот, кто удостоивался доверия иранского шаха. На иранском же престоле в это время сидел шах Гусейн, государь слабовольный, патологически-чувственный, проводящий все время в гареме и не обращающий никакого внимания на государственные дела. Иран при нем склонился к упадку. Внутренним разложением и слабостью Ирана воспользовались некоторые его провинции и подняли восстание. В особенности опасный характер для Иранского государства приняло восстание афганцев под руководством жестокого, но талантливого и храброго Мир-Вейса. Под его руководством восставшие афганские племена начали угрожать целостности Ирана. Правительственные войска в борьбе с повстанцами несколько раз потерпели поражение. Тогда только шах Гусейн спохватился и начал искать достойного военачальника для иранских войск, чтобы сломить Мир-Вейса. Выбор Гусейна остановился на Георгии XI, который во главе иранских и грузинских войск разбил восставших. Однако вскоре Георгий XI был предательски убит (в 1709 г.), так как иранцы и афганцы опасались усиления Грузии. После смерти Георгия грузинские отряды были уничтожены.

Проф. *М. Зандукели*

СОДЕРЖАНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ!

СООБЩИТЕ ВАШ ОТЗЫВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ УКАЗАВ СВОИ ВОЗРАСТ, ПРОФЕССИЮ, ГДЕ РАБОТАЕТЕ И АДРЕС

Государственному издательству, «Художественная литература»

Массовый сектор

Москва, Центр, ул. 25 Октября (бывш. Никольская), 10/2

Редактор В. Гольцев
Техн. редактор Р. Ольхин
Корректора Ю. Носова и Л. Боткина
Художник Г. Рифтин

Сдано в производство 23/V 1936 г.
Подписано к печати 23/II 1937 г.
Изд. № 253. Х-50. Тир. 10.000. Уполномоч.
Главлита Б—11979. Формат бум. 82×110 1/32 —
26 3/4 печ. л., 19,35 уч. авт. л., 16,12 авт. л.
Отпечатано на бумаге Окуловского
бумкомбината. Заказ тип. № 91.

11-я тип. Мособлполиграфа
Москва, 2-я Рыбинская, 3

Цена 4 р. 75 к. Переплет 1 р. 25 к.

